

М. Веллер

ЗВОН ТЕНЕЙ



М. Веллер

ЗВОН ТЕНЕЙ



Издательство АСТ
МОСКВА

УДК 821.161.1
ББК 84 (2Рос=Рус)6
В27

*Оформление обложки Александра Кудрявцева,
студия «FOLD & SPINE»*

Веллер, Михаил.

В27 Звон теней / Михаил Веллер. — Москва: Издательство АСТ, 2018. — 416 с.

ISBN 978-5-17-113322-1

Новая книга Михаила Веллера «Звон теней» открывается впервые публикуемыми повестями и рассказами «Легенда о кадете», «От Пушкина до Путина», «Рыдание аккорда» и других, заканчивается же автобиографической повестью «За слова ответишь».

В книгу включены и прежние бестселлеры: «Ножик Сережи Довлатова», «Кухня и кулуары».

УДК 821.161.1
ББК 84 (2Рос=Рус)6

ЖИЗНЬ СОЧИНТЕЛЯ

ЛЕГЕНДА О КАДЕТЕ

Социальное происхождение

Его отец был выпущен после четырехмесячных курсов артиллерийским лейтенантом и в августе сорок четвертого командовал взводом сорокапятков. Вся его война состояла из одного выстрела в бою под Яссами. После этого немецкий танк уложил снаряд точно в его огневую, и лейтенант очнулся уже в госпитале.

Он лечился восемь месяцев и перед Победой был комиссован из армии по инвалидности.

А мать была из семьи раскулаченных и сосланных в голую казахстанскую степь. За полгода до ее шестнадцатилетия отец отдал дочери все семейные деньги, ей собрали лучшую одежду и отправили в город — устраиваться на работу. Чтобы через полгода, когда придет срок получать паспорт, она могла скрыть свое происхождение и не быть лишенкой — пораженной в правах. Иметь возможность жить где хочет и поступить в техникум или институт. Одна из всей большой семьи она получила высшее образование.

Вот в Алма-Ате девятнадцатилетний инвалид в лейтенантской форме и учительница, заочница пединститута, и познакомились. И поженились. И сняли каморку, и родился ребенок, и отец работал в мастерских, а мать закончила институт и получила прибавку к зарплате.

Отец хворал после ранений часто; он умер, когда сыну не было трех лет.

Ленинград

А Ленинград после блокады обезлюдел. И по всей стране открыли вербовку — городу нужны люди. Молодые, естественно — чтобы работали и не болели. А какие после войны люди? Мужиков нет. И девки потянулись в Ленинград — в строители и в телефонистки, на фабрики и заводы, вагоновожатые и учительницы. Они получали койку в общежитии и прописку от предприятия, и гордость грела их — ленинградок. Счастье большого города сияло им. Через сорок лет Ленинград станет печальным городом старух, и только в аптеках и молочных отделах гастрономов будет видно, сколько девчонок было здесь в послевоенные времена.

И вот сюда приехала учительница из Алма-Аты с трехлетним Алькой. И вскоре преподавала уже не в школе, а на вечерних курсах, потом в институте, и ей предлагали писать диссертацию, и она думала, как забрать к себе из Казахстана старую мать, уже одинокую. А сын ходил в детский сад.

А баба она была собой видная, молодая энергия лучилась, и чертики плясали в глазах. И вышла она замуж за хорошего, образованного и домовитого мужика.

У хорошего мужа обнаружилась только одна отрицательная черта: выпив, он норовил мордовать пасынка. Так-то еще сдерживался. Но пил часто. Это бы и не такой грех, где ж непьющего возьмешь, да после войны, да сама не девочка и с ребенком. Но Алька отчима, тыловую крысу, возненавидел. За что и был регулярно лупцован. И стал кусаться и царапаться, а потом хватал кухонный нож или молоток.

С фингалами его не выпускали из дома, чтоб не позорил, но он ухитрялся сбежать, когда они уходили на работу, и являлся такой на уроки. Следовали вопросы, сканда-

лы и порки. Отчим лупцевал все безжалостнее, и мальчик мрачно клялся, что всадит ему нож в печень или разобьет висок молотком. Мать плакала и в отчаянии обнимала обоих: она любила мужа и кляла свою долю.

После третьего класса Альку сдали в суворовское училище.

Суворовец

Десятилетних мальчишек гоняли как солдат. Училище давало полную школьную программу, плюс военные дисциплины, плюс усиленная физическая подготовка, плюс строевая. Внешний вид, подворотнички, начищенная обувь и отбой-подъем по секундам. Командиры рот — майоры, начальник училища — генерал. Спартанский дух воспитания демонстрируют случаи типа:

Рота в столярных мастерских на занятиях по ручному труду. Командир роты, показывая работу с циркулярной пилой, отпиливает вместе с бруском указательный палец. Брызги крови, опилки, гудение пилы на холостом ходу, молчание. Командир, прижав рану платком, поднимает другой рукой отпиленный палец и, кратко им жестикулируя, отдает приказ:

— Я в санчасть. За меня — суворовец Стрижак. Продолжать занятия.

Занятия продолжают. Уважительный мат перемежается хохотом.

Труднее всего было с недосыпом. Что детскому организму при таком режиме нагрузок необходимо часов десять сна, никто не думал. Кормили прилично, содержали в чистоте и приучили этому на всю жизнь, а вот спать хотелось постоянно.

Тяжелее всего было перед парадами, особенно ноябрьскими, темной осенью. Поднимали в четыре ночи и гнали на Дворцовую репетировать. Шеренги часами отработывали равнение, парадные коробки били строевой шаг единой ножкой, ботинки сбивались о брусчатку.

Везением было, если репетиция приходилась на банный день. Тогда прямо с площади шли мыться. Горячая вода и яркий свет гнали усталость. Среди кадетских приключений была: «Помылся — как выспался».

Потом, 7 Ноября и 1 Мая, народ умилялся парадному расчету суворовцев, а дети с горделивым молодчеством чеканили шаг перед трибуной с представителями Партии и правительства. А кадетами они стали называть себя с самого начала, с создания училищ, с 43-го года, когда вернули в армию вместе с погонами слово «офицер».

...Тех, кто не тянул нагрузок, отчисляли. И таково было достоинство кадет, что когда в процессе хрущевских реформ пробовали заменить командиров взводов с офицеров в капитанских-майорских званиях на сержантов срочной службы — их в грош не ставили и подчиняться отказывались. Я прослужил пять лет, а ты, салага, полтора — ты что нюхал? ты кто такой? Да это я тебя службе учить буду!

«Открываем сезон охоты на сержантов!» И на головы несчастных летели груды снега, ведра с водой и табуреты на швабрах. Пацаны жестоки, и жестокой была их школа. Сержанты дергались, смирялись и искали мирных путей решения всех вопросов.

Борец за мировой коммунизм

Ленинградское суворовское училище располагалось в бывшем Воронцовском дворце, за парковой решеткой на Садовой напротив Гостиного Двора. Сто лет до революции там был Пажеский корпус. А при советской власти — пехотная школа комсостава, она же позднее Ленинградское пехотное училище. Конкретно для нашей повести это означает, что богатую и специфическую библиотеку Пажеского корпуса в блокаду не сожгли. Приказа не было теми книгами отапливаться. Казенное имущество и значится по описи, материально ответственные лица отвечают согласно законов военного времени. Военная дисциплина для курсантов.

Ну, а поскольку в пажемском корпусе обучались господа дворяне, то библиотека была в основном на французском. Дворянском языке. Что также ее обезопасило, не вызвав интереса красных курсантов. Вот книги на русском были просмотрены и уничтожены согласно инструкции Надежды Константиновны Крупской, которая успела поруководить библиотеками, приводя их в соответствие с пролетарской идеологией.

Но мальчик Олег, суворовец Стрижак, отличался повышенной энергией и любознательностью. Застекленные дубовые шкафы вдоль коридоров уходили под потолок. Ряды и тысячи старинных книг остались музеем другого мира, и погасшее золото корешков проступало запретными тайнами. Ключи же от запертых дверей сгинули по причине ненужности в незапамятные времена.

Вот между шкафом и стеной пролезала детская рука, взятым в столярке ножиком подковыривался и отгибался фанерный задник, и тяжелый том в тисненном переплете выползал и перекочевывал за пазуху. Их роту, видите ли, в качестве иностранного учили французскому языку. Для общего аристократизма офицерского корпуса, был когда-то такой амбициозный замысел.

Суворовец Стрижак выучил французский сверх чайный преподавателей, и стал читать то, что выковыривалось с краев полок. Он не понимал ничего, и над ним посмеивались. Что было непереносимо. Для ясности — кличка у него в кадетке была «понтер». Упрямства и самолюбия мальчик был немереного.

Короче, к пятнадцати годам он осознал и усвоил Прудона, Штирнера и Бланки. Такой уж шкаф попался. И юный комсомолец Стрижак воспламенился идеями мировой справедливости. А это была эпоха романтической советской любви к революционной Кубе. Там, к сожалению, революция уже успешно закончилась. Но кое-где в мире борьба продолжалась! И следовало отдать все силы делу освобождения трудящихся всех стран! Вплоть до нещадя своей жизни, как и положено.

Но коммунисты всегда осуждали тактику индивидуальной борьбы и выступали за политику организованных движений. А в характеристиках суворовца Стрижака отмечались его волевой командный характер и организаторские способности.

Я хату покинул, пошел воевать

И в пятнадцать лет воспитанник Стрижак был исключен из комсомола и отчислен с волчьим билетом из Суворовского училища за создание подпольной антисоветской террористической группы, нападение на дежурного офицера, нападение на дневального, взлом оружейной комнаты, кражу оружия, самовольное покидание территории части (училища) и переход на нелегальное положение — с целью: нелегально перейти финскую границу, вопреки действующим международным правовым нормам добратся без виз и билетов до Латинской Америки — и присоединиться в Боливии к партизанскому соединению Че Гевары, чтобы участвовать в войне за освобождение боливийских крестьян и насильственную смену государственного строя иностранного государства.

Реальность

Их было пятеро — просвещенных и сагитированных зачинщиком. Ночью они заткнули рот дежурному майору, свалили и связали. Затем так же обезвредили дневального. Замок с оружейки свинтили ножкой табурета, всунув ее в дужку. Забрали два «калашниковых» — учебных, с просверленными затворами. Лучших не было, а эти решили починить, заварить. А поскольку специально выждали для побега ночь потемней и дождливую — от дождя надо было как-то укрыться и пересидеть до света и суха.

Майор через пятнадцать минут распутался и поднял тревогу не боевую, а просто страшнее атомной. Двое суток ленинградское КГБ стояло на ушах и перерывало

весь город. Группа профессионалов-автоматчиков в городе! — вы что, это же подарок по службе, рост карьеры, не зря хлеб едим, а то все думают, что нам после Сталина и делать уже нечего!

К концу вторых суток их взяли, сонных и пьяных, на квартире матери одного из пятерых. Дождь не кончался, идти было пока некуда, гражданской одеждой еще не разжились, а выпить и отдохнуть на воле хотелось. Ну и, по портвешку.

При Сталине их бы шлепнули. Старше четырнадцати. Но тут — недавно сняли Хрущева, либерализм, равенство, гуманизм. Кроме того — Министерство Обороны надавило на КГБ: не надо шума, товарищи особисты, вы что — хотите марать армию, ронять авторитет защитницы Родины? И Партия решила: наши суворовцы, комсомольцы, гордость, юная смена, да у нас вообще такого быть не может! Так что — тихо всем.

И дело спустили на тормозах. Ну, выгнали: идите гуляйте, засранцы.

Юный гегемон

Возвращаться домой Альке было невозможно: он входил в силу и отчима убил бы в первый день. А брат хоть копейку от матери, которая поднимала двух дочерей, не позволяла гордость. Не для того он бежал из училища.

И вдвоем с товарищем по подвигам и несчастьям они устроились на кухню столовки — «ученик подсобного рабочего», то есть поломойка и судомойка. Тяжело, но не противней наряда по кухне, зато сыт. Сняли вдвоем каморку в полуподвале, жили. А перекантовавшись и получив на шестнадцатилетие паспорта, отправились на завод: «ученик слесаря». А там скоро второй разряд и здоровенная для пацана, самостоятельная, взрослая зарплата.

Рабочий-металлист — это стеновой хребет пролетариата, и отношение к нему советской власти было поощрительное. Юного слесаря заботливо оформили в «вечернюю

школу рабочей молодежи». А также привлекли к комсомольской работе. Бурное прошлое он скрыл, сказав, что был отчислен за неуспеваемость. И по новой вступил в комсомол.

В восемнадцать лет слесарь четвертого разряда Стрижак был комсоргом бригады, зарабатывал сто восемьдесят рублей в месяц — и окончил вечернюю школу с золотой медалью. Его фотография висела на Доске Почета.

Я больше никогда не слышал о выпускнике вечерней школы с золотой медалью.

Карьера морехода

Он подал документы в Макаровскую мореходку, на судоводительский.

«Училище — это ты на всем готовом. Жилье, питание, одежда, койка с бельем. Да еще стипендия на карманные расходы. И система не военная — никто тебя так не дрючит, жить легче, в город выйти спокойно. А потом ты будешь штурманом и капитаном — увидишь мир, загранка, отдельная каюта. Да я мечтал об этом! Идеальный вариант».

При поступлении медалисту достаточно было сдать на отлично профильный экзамен. Алька с его золотой медалью сдал на пять математику, был зачислен и вселился в кубрик. Тяжкий период жизни кончился, и он прошел его с честью. Впереди была хорошая жизнь. Пока другие сдавали оставшиеся экзамены, он отсыпался, ел и гулял.

Это были счастливые четверо суток. На пятые сутки его вызвали к замначальника факультета по режиму.

За столом сидел человек в костюме, а на столе лежала раскрытая тонкая папка.

— Ты что же вздумал, Стрижак, — зловеще сказал он, — отчисление из суворовского училища — в автобиографии скрыл? Исключение из комсомола — скрыл? Создание вооруженной преступной группы — скрыл?! Нападение на офицера при исполнении им служебных обязанностей!! Побег!! Попытка перехода границы!! И по-

сле этого!.. в штурмана!.. капитаны!.. что, думал — замаскировался? как ты еще на свободе ходишь, ты же враг! доверить судно!.. за рубежами родины!..

В лицо вытянувшегося курсанту полетели школьный аттестат, заводская характеристика, справки с печатями и без, бумажки порхали в урагане мата:

— Решил, что органы ничего не узнают?!

Через полчаса бывший курсант, в собственной одежде и со своим чемоданчиком, слав казенное имущество и поставив где надо подписи, вышел на улицу, и ворота захлопнулись.

Нокдаун

«Идти было некуда. Пошел я в свою комнату, еще хозяйкой не сданную. Запасные ключи я давно сделал и на всякий случай себе оставил. Купил пару бутылок, деньги еще оставались, выпил и лег на свой диван. Когда проснулся — пошел купил еще, выпил опять и лег на диван. А что делать?

Но долго лежать не приходилось. Потому что деньги кончились, а платить за комнату надо договариваться, пока не выгнали.

Вернулся на завод. Особо там не расспрашивали. Не поступил и не поступил, кто там вникать будет.

И стал ждать призыва в армию. Хрен ли мне эта армия после кадетки. Пусть кормят».

Флот

Здоровьем и силой бог не обидел, и в военкомате определили его на флот. «На флоте я отсыпался! Работать не надо, учиться не надо, жратвы хватает, служба фигня! А койка набита пробковой крошкой — оч-чень способствует качественному сну». Со своей медалью, характером и неоконченной кадеткой он тут же выслужился

в старшины. Из которых был мгновенно разжалован за буйство и неподчинение непосредственному командованию.

Отсидел на губе, вышел, был надежен, как стальной двутавр, восстановлен в звании и должности старшины корабельных акустиков. Разжалован за буйство и неподчинение непосредственному командованию и определен к двум месяцам гауптвахты с отяжкой решения насчет суда и двух лет дисбата.

На этой второй губе он понял службу. Вдруг стал по памяти переводить с французского Превера. Начал сочинять стихи. Продиктовал их под запись дневальному для корабельной стенгазеты. На словах (а относились к нему матросы хорошо, твердое наглое буйство льстило их классовому чувству) передал просьбу помполиту послать их во флотскую многотиражку. Из воспитательных соображений и демонстрируя собственные успехи в воспитании личного состава, помполит стихи послал; и сопровождал звонком и личной просьбой.

Стихи напечатали, и дважды разжалованный старшина второй статьи Стрижак прославился. Он написал благодарственное и покаянное письмо помполиту, которое тот хранил всю службу как высшее достижение своего воспитательского таланта. Отбыв заслуженное наказание, перековавшийся матрос взял на себя повышенные социалистические обязательства повысить классность и воспитать двух новых специалистов из молодых. Писал заметки в стенгазету, стихи во флотскую многотирагу и выступал на комсомольских собраниях. Его снова восстановили в звании и приводили в пример.

Старшина первой уже статьи Стрижак выразил желание после службы продолжить учебу и поступить в институт. И отец родной помполит поспособствовал оформлению на заочные подготовительные курсы в Ленинградский университет. На журналистику. Как автора заметок и стихов.

Когда на учениях его акустики первыми засекали шумовую цель, а корабельная шлюпка, в экипаже которой он был левым загребным, победила на флотских гонках — ему предложили вступить в партию. По левому за-

гребному, кто вдруг не знает, равняется в такт вся шестерка гребцов; тут нужна сила, резкость и чувство ритма. А насчет кандидата в партию он подумывал после тех шестидесяти суток.

Журфак

Он ушел в запас главстаршиной, ушитая суконка в значках и широкая лычка поперек погона. И поступил на журналистику Университета. На заочный. Потому что надо было где-то работать, чтобы кормиться.

На работу его взяли в газету не Северного уже, где он служил, а Балтийского флота — «Страж Балтики». Он принес пачку вырезок и справку с журфака. Доказал класс за два месяца испытательного срока. И стал младшим корреспондентом. Без высшего образования — восемьдесят рублей ставка. Гонораров там не платили.

Студентом он был не совсем обычным. На заочном — не пять курсов, а шесть, обучение растянуто для людей работающих. Алька кончил шесть курсов за три года — по четыре сессии в год.

Его красный диплом мы обмывали шумно и весело — конец июня, белые ночи, бутылки не умещались на столе. В деканате он взял большую выписку — ведомость всех экзаменов за все годы — и прилепил на стену. А так. На нее брызгали водкой из стаканов — обмывали. Там было несколько столбцов пятерок — и ни одной другой отметки.

Редактор

В «Страже Балтики» он стал полноправным корреспондентом, старшим корреспондентом, завотделом, выпускающим редактором и замредактора. И через два года ушел, умоляемый остаться и сопровождаемый небесной характеристикой. И такое бывало.

А стал он, молодой член партии, из рабочих, служил на флоте, образование неоконченное высшее журналистское

университетское, русский, женатый уже к тому времени, — младшим редактором издательства «Лениздат». Историко-партийной редакции.

Сейчас уже не поймут, какое это было серьезное место, идеологическое, политическое. Партийные и военные мемуары тут просеивали, редактировали и издавали. И анкеты редакторов должны были соответствовать серьезности требований. Поэтому все анкеты были отличные, а большинство редакторов были полное дерьмо, ибо ни от кого нельзя ждать совершенства.

Так что пришелся им даже еще не двадцатипятилетний, юный, можно сказать, Олег Стрижак с анкетой чище горного снега ну исключительно ко двору. Работоспособен, энергичен, исполнительен, землю роет и план подготовки рукописей перевыполняет.

И тут он оказался для авторов Олег Всеволодович. И впервые ощутил уважение к себе не только подчиненных и корешей. Его книги отмечались как хорошо оформленные и в срок сданные, а на вручении издательству переходящего знамени он нес и держал его, как мужчина со строевой выправкой.

Потом он стал просто редактором, потом старшим редактором, а на столе у него стоял вымпел «Лучший редактор», и ему все еще не было тридцати. И контрастировал он всегда в коллективе свежестью и отглаженностью, выбритый до сияния, и стол был чист от бумаг, перед отходом он протирает его влажной тряпкой, плеснув из графина; и никогда я больше не видел, чтобы так же протирали телефонную трубку. «Она же сальная от ушей и рук, к ней прикасаться противно», — удивлялся он.

Драматург

Он писал стихи, а потом принялся сочинять короткие пьесы. Одноактные. И носить их по театрам. Завлиты пьесы заворачивали, но автор шел вновь на таран. И ему советовали семинар молодых драматургов-одноактни-

ков при Ленинградском Союзе писателей. Он с ненавистью слушал комплименты звонким от глупости стильным дамам, читавшим свой бред про картофельные бурты и раскаленные заготовки: они познавали жизнь в домах творчества.

А потом был Всесоюзный семинар молодых драматургов, который решили устроить на Соловках. Характерный географический подтекст. И в первый день, представляя сонм юных дарований обществу, маститый и знаменитый тогда Игнатий Дворецкий возвещал:

— Это Андрюша Треполев. Автор прекрасной пьесы «Дикий табун». Это Эльвира Крутикова, очень перспективный наш молодой автор ряда чудесных произведений. Это Павел Венгеров, у него готовится к постановке водевиль в Театре комедии. Это Олег Стрижак, — Дворецкий положил коротенькую ручку на плечо сидящему в ряду прочих Стрижаку и на миг задумался... — Он бывший матрос.

Стрижак побледнел от унижения. Кто-то тихо хмыкнул.

Общий ужин после открытия состоялся в зале Соловецкого монастыря, и самым интересным в ужине был десерт. Употребив на десерт литр водки, в стороне от общей беседы, Стрижак задрал свитер, вытянул из брюк флотский ремень и намотал на кулак. Встал, посек воздух бляхой и сказал молодым драматургам все, что о них думает. Сказал он чистую правду, и не было в той правде ни одного печатного слова.

Самый крупный драматург мужского пола возразил. Его Стрижак погнал по монастырскому коридору первым. Коридор был длинный, а выход один и узкий, такая монастырская архитектура. Драматург бежал в конец и обратно, народ возмутился, и через два челночных пробега Стрижак гонял ремнем вдоль коридора уже весь семинар. Дворецкий вспомнил молодость и решил пресечь безобразие.

— Ну что, враг народа недодавленный, чмо лагерное, объяснить тебе разницу между матросом и главстаршиной, — процедил Стрижак ему в глазенки, но бить не

стал. Бестактное напоминание о несчастьях молодости ошеломило Дворецкого.

Сосед по камере, то есть келье, в смысле комнате, тихий рассудительный эстонец, увел уставшего погромщика отдыхать.

— Теперь надо отдохнуть — справедливо рассудил он. Обнял за плечи и увел.

Семинар отдышался и стал громко негодовать.

А в комнате хозяйственный и аккуратный сосед-эстонец достал кофеварку, бутылку «Вана Таллина», налил кофе в чашечки, а ликер в рюмочки, и они выпили за здоровье. Закурили, он спросил, хочет ли Стрижак еще рюмочку, и выпили по второй.

«Третья рюмочка не предлагается!» — с ненавистью вспоминал Стрижак. Закрытая бутылка стояла на столе и вернулась в тумбочку.

А назавтра началось обсуждение пьес. Автор читал вслух свою рукопись. Остальные слушали. После вчерашнего банкета глаза у них закатывались, и тела кренились со стульев. Там была длинная история с особым приемом. Муж, жена, взрослые дети и сослуживцы спорили, выясняли в квартире отношения, смысл жизни и будущее страны. А за стенкой, в соседней комнате, умирал человек, приезжали врачи — контрапунктом, изредка вставной кадр. В конце конфликт разрешился, и все стало хорошо. А вот неизвестный сосед умер. Такая неоднозначность жизни философская.

— Ну, кто хочет высказаться, товарищи? — очнулся от летаргии Дворецкий. Под глазом у него оказался синяк.

Стрижак встал и посмотрел на автора с мрачным вдохновением.

— Отличная пьеса, — сказал он. — Но можно еще лучше, и даже проще. Представьте: сцена. Посередине, под лампой — кровать. И на ней два часа умирает человек, вы понимаете — умирает он, это же трагедия! А за стеной два часа — вот вся эта мутотень!..

Больше его ни на какие драматургические сборища не приглашали.

Навигация: четыре темы

Так называлась его первая книга. О флоте, на котором он служил, о корабле, о друзьях-старшинах одного призыва, о шлюпочных гонках на празднике Дня флота, об учебке в Лазаревских казармах Севастополя и холодном океане Севера.

На дворе стояла середина семидесятых, и куря как-то на скамейке Банковского садика, мы сказали друг другу:

— Мрачное эн-летие уже наступило...

До нас начинало доходить. Гайки были уже закручены. Пути перекрыты. Старики боролись за свое место у корыта. Молодых душили на корню. Все эти «Съезды молодых писателей» были боковым каналом, из которого стареющих молодых отводили от редакций и издательств и сливали потом в никуда.

Первую повесть из четырех, составляющих книгу, ему удалось напечатать в коллективном ежегодном сборнике «Молодой Ленинград». Пусть не целиком, но большой кусок. Места не хватало, желающие плакали и жаловались. При том, что Стрижак сам был редактором «Лениздата», свой!

А потом книгу приняли, и поставили в план, и она выходила меньше трех лет — это было очень быстро, это было прекрасно, классики типа Гранина ждали выхода два года — то был генеральский уровень! И по семь лет выходили ведь книги, таково было плановое советское издательство.

А потом ему был назначен редактор. И прозвучала сакральная фраза, за которую их всех хотелось бить и гнать гнить пожизненно на осенние поля: «Ну, давайте работать над книгой!» Тупая, никчемная, усредненная во всем тварь среднего пола самоутверждалась.

Первым делом она категорически похерила название: мол, непонятно, неверно, четыре темы — это только в музыке. И просто слово «Навигация» тоже нельзя, это же не книга по морскому делу, должен быть эпитет, определение.

Человек, который пишет: «Барабанная дробь дрожала в ясных стеклах» — умеет писать. Текст был шлифован, стиль щеголеват. И мотать ему нервы, правя и требуя не «попьет водички из кранов» — о шатающемся ночью в тревожной бессоннице матросе, а из «крана»: «Олег! Ну при чем здесь множественное число? Это же неправильно!» — ей что, устройство корабля и расположение умывальников рассказывать, и сколько времени та бессонница продолжалась и шатания?

А право у советского писателя пред лицом редактора было только одно: забрать рукопись и уйти вон. Больше никаких прав не было. А редактору на автора было глубоко плевать, если только не начальство литературное. Прибежит, родимый, куда он денется, в затылок очередь жаждущих дышит.

И все-таки книга вышла. И было Стрижаку в те поры всего тридцать один год. Для семидесятых — мальчишка, выскочка, самородок.

И когда ему говорили друзья:

— Алька, ну все-таки оченно она у тебя эта вся книжка советская, и главный герой твой Шурка этот Дунай такой вообще отличник боевой и политической подготовки. —

Он отвечал, светло улыбаясь:

— Дураки, верхом на Шурке Дунае я въеду в большую литературу, как на белом коне!

И добавлял:

— Не читали вы книг о современном флоте, не тонули в розовых соплях. Замполита на вас хорошего не было.

КГБ

Ты мог не интересоваться КГБ, зато оно всегда интересовалось тобой.

Историко-партийная редакция «Лениздата» — объект очень идеологический. Там проходит и сортируется поток неоднозначной информации.

Ветераны войны с нездоровым умом и вывихнутой памятью несли мемуары, и за стаканом редакционного чая перевирали государственные тайны. Что в сорок первом году иногда сдавались целыми полками, строем и с развернутым знаменем. Что разведгруппа могла в полном составе уползти к немцам и сдать. Что в сорок пятом в Восточной Пруссии могли танком проехать по колонне беженцев, а немцы насильничали только так. Что СМЕРШ пытал и расстреливал невинных — а по тупости, по инструкции, или для примера — чтоб боялись. Валили это все из доверия, как своим, не для печати.

Так что редакторы, люди проверенные и советско-правильные, невольно проникались через излишнюю информацию некоторой излишней широтой взглядов. И начинали подумывать что не надо и почитать чего не велено. Наживали профессиональное двуличие.

Вот так Алька получил на прочтение «Зияющие высоты» Зиновьева, которые мы вместе читали у него на кухне и ржали от наслаждения. От него я получил на сутки «Лолиту» издательства УМКА-Press и «Архипелаг ГУЛАГ» на ночь.

Вскоре его и пригласили на Литейный побеседовать. Кто что говорит в редакции, да не носит ли кто книжечки антисоветские, да может кто из авторов придерживается в душе взглядов не наших? То есть стук был, но конкретики не предъявили.

Мы с его женой ждали дома. Он приехал сероватый и влажноватый, выпил стакан «Столичной» залпом, закурил и сказал:

— Ну что, — сказал он. — Все мы, конечно, здоровые ребята со стальными нервами, но когда доходит до дела, что я скажу. И улыбчивый такой парень сидит, немного меня старше. И все знают, суки! Такое ощущение, что стучат у нас все. Выпил я графин воды, выкурил пачку беломора, перебрал все варианты, что я буду делать, когда откинусь с зоны, больше пятерки за хранение и разговоры вряд ли дадут, и вышел через два часа в мокром пиджаке. Уж больно было неохота опять со дна

подниматься. Даже бутылку взять сразу не сообразил, домой поехал.

Он выпил второй стакан, закурил и сказал:

— Так что я, герр лагерфюрер, и после второй не закусываю. Аппетита нет.

И только тогда мы начали ржать.

Союз писателей

Сейчас союзов писателей много, и ни один на фиг никому не нужен. А при Советской власти это было ого-го. Ало-вишневые корочки с золотым гербом хранятся у меня на память, там подпись генерал-майора КГБ Юрия Верченко — второго, рабочего секретаря Союза писателей СССР.

Член Союза имел право нигде не работать, а стаж шел: он был официальный творческий деятель. Его рукописи лучше принимались в редакциях: официальный писатель, а не «самотек» с улицы, который отпинавали. Для него было издательство «Советский писатель» с отделениями в республиках и некоторых облцентрах. Прочие издательства тоже предпочитали исключительно их. У них были выше и гонорары. И таких членов было в Союзе 11 000 человек.

Элита их — верхние две сотни в Москве, два десятка в Ленинграде и по полста в национальных республиках — процветали. Их переиздавали и оплачивали высшей ставкой не за качество книг, а согласно рангу. Они ездили за границу, жили в дачах-коттеджах, все это за казенный счет. И получали деньги за элитность: участие в разных комиссиях, членство в редакциях, поездки на совещания и прочая всевозможная хренотень.

Но главное — статус. Реноме. Престиж. Социальный уровень. Член Союза писателей — это был уровень генерала, профессора, директора, секретаря райкома партии. Не считая маститых — которые шли по уровню маршалов, министров и членов ЦК, типа Шолохова или Сергея Михалкова.

В 1934 году по приказу товарища Сталина этот Союз, фактическое министерство литературы, создали — и приняли туда кучу народу. Потом были отстрелы и лагеря, война, алкоголизм и болезни старости, кто дожил до старости. И к XX Съезду Партии, к хрущевской оттепели, письменников осталось на раз-два — а где молодежь? благодарная Никите за хорошую правильную жизнь?.. И с 56-го по 65-й гребли частым гребнем, по одной книге, да что книге — по двум рассказам принимали в Союз, бывало; случалось и по рукописи!

А в 70-е сработал «закон трамвая»: уже тесно, куда прете, закрывайте двери! Первая книга — к тридцати пяти, прием в Союз — к сорока.

С неопишуемой наглостью автор первой и единственной книги Олег Стрижак — русский, коммунист, из рабочих, редактор с грамотами и благодарностями, журналист, образование высшее университет, семейный, — подал заявление о приеме. Ему едва исполнился тридцать один год! Рано, товарищи! Анкета — это еще не все. Пусть поработает, проявит себя, выйдет вторая книга, тогда посмотрим. Поспешный успех может погубить молодой талант.

Но к тридцати одному году пообтершийся в жизни и присмотревшийся к писательской среде молодой талант отточился в деле цинично и зло. Уважаемых коллег он в грош не ставил, и мнения их в гробу видал. Книги нужных людей оказались продвигаемы в «Лениздате» быстрее очереди. С нужными людьми было пито. Нужным людям была вылита цистерна лести — правильной, грубой, в глаза. Связей и покровителей у него не было — одиночка, выскочка, гордец.

Со второго раза его через год приняли. И на всех совещаниях ставили это себе в заслугу: вот как мы работаем с молодыми, товарищи, растим юные дарования, продвигаем перспективных юношей.

Еще долго он был самым молодым в этом клубе старперов. Не считая одного секретарского сына.

Рейс к свободе

Вступив в Союз, он занялся вступлением в Литфонд, а это не автоматически. Потому что Литфонд распределял конкретные блага — поездки, воспоможествования, дачи, а главное — писательские квартиры: это была площадка беспощадной внутривидовой борьбы. И вступив, стал выбивать квартиру.

С женой он расстался тяжело, все ее осуждали, дом держался на Альке, все делал он, статный сероглазый блондин с характером и талантом должен был жениться на кинозвезде; видимо, ему на всю жизнь не хватило материнской ласки в детстве.

Он скитался по углам и писал роман. И в конце концов выбил однокомнатную квартиру на Васинском, в Гавани.

И тогда он огляделся и перевел дух.

У него было собственное жилье — впервые в жизни. У него была книга и публикации в периодике. Удобная престижная работа. Он был член Союза писателей и Литфонда. Имел отличный послужной список и массу связей. И был он молод, здоров, распираем энергией и хорош собой. А на полке стояла рукопись романа. Она была собрана в десяток толстенных папок, а конец еще не виделся.

Он был аккуратен, к водке относился ровно и привычки сорить деньгами не мог иметь по жизни. На сберкнижке были деньги, а в редакции регулярные платные рецензии.

И он ушел с работы. Уволился. Имел право.

Хорошая жизнь

Впервые в жизни он проснулся утром — и ему не надо было ни о чем заботиться и никуда идти. У него был свой дом. И деньги на жизнь. И положение в этой жизни. И возможность делать все, что угодно.

Кончался май, и он пошел на пляж. Дремал и жарился на солнце, пока не сгорел. Дома заварил чай и сел вечером за письменный стол. И с наслаждением работал до утра, и лег спать утром, не заботясь о том, что днем идти на работу и по делам.

У него все было. Впервые в жизни. Все свое. Заслуженное и заработанное. И каждый день можно ничего не делать. И завтра. И через месяц. Никаких обязательств ни перед кем.

Это ошеломляло.

Роман

Роман назывался «Мальчик». «— роман в воспоминаниях, роман о любви, петербургский роман в шести каналах и реках...» Был он легок, текуч, бесконечно извилист и прозрачен (так и хочется сказать: «как ледяной родник», но ведь банально будет) — но и одновременно глубок, нагружен, увесисто-мошен в своей глубине; ну в общем вы поняли, что я пытаюсь сказать. Кто не верит — легко заглянуть в Сеть.

Уже гремела Перестройка, приблизился конец Союза, взлетели миллионные тиражи, издателей интересовало белогвардейское, антисоветское, лагерное, а также модернистское и жестко демократическое. Стрижаковский роман никто не брал.

В журнале «Радуга», я жил тогда в Таллине, я напечатал три отрывка из него. Больше не позволял наш крошечный объем.

...Книгу выпустил «Лениздат» и только в 1993 году — году раздрызганном, голодном, жутком и растерянном. И ее заметили, отметили, оценили высоко, и с колес перевели на французский, и она получила премию «Литературного салона Бордо», и второе место на международном конкурсе Медичи; и приглашенный во Францию автор пожал свой урожай лавров, признания, похвал.

Это была лишь первая книга романа из задуманных и организованных шести. И было Олегу сорок два года, и стоял он на вершине; путь был открыт, ход набран, и сил было много.

Конец

Ему было сорок два — акме, возраст вершины, встреча еще молодой энергии с уже зрелой мудростью.

И у него было все. И венцом этого всего — возможность не делать ничего. И жить, и быть собой: наработанное положение, имя и статус были как шатер с флажком на куполе. Или призрачная сфера.

И тогда в нем — неожиданно и неошутимо — оказалась сломана пружина. Вялая, бессильная, отсутствующая... И перестал работать взрыватель; не вспыхивал порох; туго сжатый пар не толкал поршни.

Веселая, неукротимая, жадная, злая жажда жизни — постепенно и тихо перестала быть.словно вышел воздух и медленно тускнел и гас в нем былой огонь. Он вдруг стал толстеть, тучнеть, грубеть, тяжелеть. И год за годом веселье оставляло его, он мрачнел, его независимость переходила в нелюдимость.

Обнаружились болезни и стали одолевать, невроз разрушал все планы, одолевала бессонница, приходилось лечить сердце, усугублял все болячки диабет.

Изнуряла бедность. Он, всегда умевший заработать и гордившийся этим, любивший зарабатывать деньги и готовый к любому труду — стал жаловаться на вечное безденежье.

Членство в распавшемся Союзе писателей и погоревшем Литфонде перестали что-либо значить, оплаты рецензий не хватало на батон, анкетные данные стали пустым местом. Инфляция съела не деньги, а все ценности жизни, ее победы и смысл. Хозяевами мира были бандиты и бизнесмены, русскими книгами издатели не интересовались.

Его путь вверх был покорением горы, на которую не взойдешь дважды. И вот на этой вершине свобода оказалась пустырем при разбитом корыте.

О, в мутной воде девяностых он мог сделать состояние, создать свое издательство и разбогатеть, раскрутить любой бизнес и подняться в любой карьере. Ему хватало умения, характера, уверенности в себе, хватки. Но силы кончились. Он прошел всю дистанцию в высоком темпе и выиграл забег — но начать новый уже не мог. Отпущенный ему заряд энергии и стойкости жизнь уже съела.

Конечно, психоневропатолог классифицирует это как депрессию и назначит лечение: медикаментозная схема, режим, спорт и оптимистические развлечения. И будет прав. Ибо депрессивное состояние есть болезнь.

Но есть одна вещь, мешающая избавиться от депрессии. Синдром достигнутой цели в сочетании с разрушением жизненной ориентации. То есть ты получил в этом мире все, чего хотел, но этот мир рухнул, и твоя жизнь больше никому не нужна, а ты уже израсходовался. Возраст, энергия, нервы, здоровье — уже не те. И цена успеху не та. И тебе не та цена. И сам уже не тот.

Один мой знакомый сказал гораздо проще:

— Надорвался.

Я часто вспоминаю рассказ Джека Лондона «Отступник». Про мальчика из бедной семьи, тяжело и старательно трудившегося на заводе с раннего детства, кормилец братьев-сестер и опора матери. В шестнадцать лет, изнуренный и изуродованный трудом, потеряв все чувства от огупляющей усталости, он ушел в бродяги. Он мечтал о сказочном счастье ничего не делать и отдыхать сколько хочешь. «Поезд тронулся. Джонни лежал в темноте и улыбался».

Что потом

Он уже не имел сил и напора продолжать и закончить роман. И любые попытки помочь, пристроить, издать от-метал с большим раздражением, разговоры эти были ему

неприятны. Обреченно возражая, что все равно ничего не будет, что никому ничего не нужно, что пустые это все разговоры, и он просит их прекратить, зря не травить ему душу.

...Так прошло двадцать пять лет. За эти четверть века он выпустил брошюру о Балтийском подплаве, статью об организации Октябрьского переворота царскими генералами и два очень тонких сборника стихов.

Он хлопотал о пенсии, у него не было компьютера, не было приличной одежды, он категорически отвергал любую помощь, подолгу не выходил из дома, не хотел видеть даже друзей по кадетке.

Он умер в шестьдесят семь неполных лет. Время спустя был найден в пустой квартире. И похоронен на Серафимовском кладбище.

Я помню

Я помню, как он свистит под моим окном во дворе на улице Желябова и поднимается по лестнице — в отутюженных бежевых брюках, снежно-белой гипюровой рубашке, в темных очках, с бутылкой в редакторском портфеле. Как мы курим на скамейке в Летнем саду и знакомимся с девчонками. Как в четвертом часу ночи, допив энную бутылку, он извлекает из парфюмерного набора жены модный одеколон сезона «Горная лаванда», я разливаю его в две чашки, сую в свою палец и душусь, и этот мерзавец сует свой палец в мою же чашку, и мы ржем и допиваем этот дижестив. У нас была хорошая совместимость — никогда не пьянели, если пили вместе.

Как он шлепает на стол «Молодой Ленинград» и гордо предъявляет сто девяносто рублей гонорара. Как приезжает к нему в гости из Краснодара сослуживец Ваня, здоровенный бугай, и уважительно говорит: «Алька у нас на шлюпке левым заребным был», — чего я раньше и не знал.

И беломор, и коричневое пальто с меховым воротником, и как 9 Мая мы встаем и он говорит: ну, за наших отцов.

О времени, месте и поколении

В молодости видишь только детали, а с возрастом они все больше собираются в пазл. Жизнь он называется. Или даже история.

Мы оба с ним принадлежали к поколению, о котором я тридцать лет назад, на излете Советского Союза, написал «Дети победителей». Мы оба вошли в жизнь в начале семидесятых — как мордой в дверь.

В Ленинграде была своя литературно-андеграундная тусовка, из которой помнят сейчас Наймана, Рейна, Довлатова, Лену Шварц. Юру Гальперина забыли, Витю Кривулина помнит только литературный круг, Монастырский был человек специфический, Боря Дышленко исчез с горизонтов. Ну, Сайгон — это отдельная летопись.

Вот всех групп и Алька, и я чуждались. Не то главное, что из всей культуры там воспринимался исключительно Серебряный век и гонимые советской властью. Групповой код-ограничитель. Но было там нечто морально ушербное. Там (имманентно, сказал бы я в философическом анализе) присутствовала некая непомытость, непостиранность, неопрятность, некрасивость в пьянке и убранстве, впечатанная второсортность в дружбе и сексе. Там не могло быть подвигов во имя любви красавицы, и красавицы быть не могло, и заступиться в мужской драке там тоже быть не могло. Там бездарно спивались, бездарно трахались, и говорили друг другу, что они гении. Неинтересно. Не ярко. Без куража. Не было этого: «С весельем и отвагой!»

Мы оба полагали: хочешь писать — пиши. А когда печататься настолько трудно, а в литературе уже было столько гениев — писать имеет смысл только предельно хорошо, на грани, на износ, любой ценой. А богемная неопрятность и бессмысленная атрибутика — это для комплексующих неполноценностью. Достоинство профессионала — отсутствие внешних указателей. На понтах только дешевка. Будь обычен с виду.

И никогда не ной! Не жалуйся ни по какому поводу. Никто не смеет тебе сочувствовать. Никто, никогда, ни в каких условиях не может сделать тебя несчастным. Не озлобит, не сломает, не сделает жалким.

Ты нищ? Но на людях должен распространять небрежное благополучие. Тебя прижало? Всем должно быть видно — все тебе по фигу.

Такими мы и были в те семидесятые ленинградские годы. Чем озлобляли ревнивых коллег.

У меня в голове иногда звучат сами собой старые детские стихи: «Чайки кружились у них за кормой. Чайки вернулись домой. Но не вернулись домой корабли — те, что на север ушли. Только один мореход уцелел. Был он отважен и смел. Шхуну доверив движению льдин, цели достиг он один. Он и донес, тот отважный пловец, весть до родных своих мест: повесть про сказочный остров Уд-рест, пристань отважных сердец».

Мы не вернемся в дом нашей юности — семидесятые годы, но и не уйдем из него. Он был прекрасен, потому что юность, и его красота была внутри нас самих. И он был жестоко туп, стремление жить в нем походило на тот самый заплыв в серной кислоте. Это он съел и убил Высоцкого и Трифонова, вышвырнул Солженицына и Аксенова, замуровал страну гипсом. Ну и нам перепало.

Противостоять ему было так трудно, ребята, так трудно. Вот андеграунд и пил, и опускался в депрессии, и умирал раньше срока — а все-таки работал! А все-таки зад не лизали, и гимны коммунизму не писали, и делали свое всей силой, отпущенной Богом. Многие — с переломленным хребтом, не вынесшим давления эпохи.

А есть другой вариант держаться и делать свое. Никому не показывая слабость и боль. Смеясь и процветая назло судьбе, начальству и политическому строю. Но спину держать прямой! Вот только под непереносимыми нагрузками в спине этой крошится и непоправимо разрушается позвоночник. И предел наступает сразу, непоправимо, со стороны неожиданно. Спина еще пряма — а нести уже нет мочи даже тяжесть куска хлеба. Собственной головы.

И по завершении земного пути судьба друга моего яснеет как судьба времени, эпохи, страны, поколения. Судьба борца, таланта, романтика, гордеца и человека, который сам себя сделал. Судьба советского писателя послевоенного поколения, ленинградца, не вписавшегося в постсоветскую Россию. Слишком яркого и самолюбивого, чтобы вливаться в любую стаю. Но воздух для него был тот же, и груз тот же, и причины судьбы те же.

Да, высказывалось мнение, что под конец жизни он впал в андеграунд — только одинокий, нищий и непримиримый ко всему. Необычная очередность этапов жизни.

Мраморный памятник на его могиле простой — лежащая книга.

ОТ ПУШКИНА ДО ПУТИНА

1. Однажды в журнале «Русский пионер» Дмитрий Быков опубликовал маленькую статью о Довлатове. Вызвавшую большой скандал. Статья выбивалась из хора отсутствием должного восторга. В ней упоминались обыватели с их вкусом, не первый ряд литературы и скромные литературные достоинства. Литературная, да и околотелитературная общественность совокупно с читательской сочли это оскорблением. Волна вскипела, и раздражающую статью убрали с сайта журнала.

Понимание явления начинается с правильной постановки вопроса. Постановка была: как он смеет возводить поклеп на нашего любимого писателя?! Но истина требует и постановки вопроса с другой стороны:

С чего вы взяли, что ваша эстетическая оценка есть не просто истина в последней инстанции, но и обладает значимостью моральной максимы? И — почему вы с такой непримиримой категоричностью требуете единомыслия и единовкусия от несогласных? Почему иная точка зрения для вас оскорбительна?

Читатели Довлатова — люди как правило сравнительно образованные, читающие, сколько-то думающие и культурные. Они не в восторге от правительства, ругают телевизионное зомбирование, и вообще образ мыслей имеют во многом критический и даже местами оппозиционный. Они благородно поминают приписываемую Вольтеру фразу: «Я не согласен с тем, что вы говорите,

но готов бороться насмерть за ваше право говорить это».

Но!.. Фраза эта вложена англичанкой в уста француза. У них своя история. А мы здесь все русские с непредсказуемым коктейлем в крови. У нас парламент не место для дискуссий.

То есть вы понимаете: как ты смеешь говорить, будто тебе не нравится то, что нравится нам! Мужик — ты меня уважаешь? Что — не уважаешь? Не так я говорю? Не согласен со мной?

Ты не можешь быть оппонентом. Тебя лишают право выбора! За тебя уже решено — что хорошо и что плохо. Что должно нравиться, а что не должно. И если ты против устоявшегося мнения уважаемых людей и большинства — ты не просто глуп, особенно если доказал, что не глуп. Ты враг. Да-да — именно враг! А вы как думали?

Враг эстетический. Враг интеллектуальный. Но через то — враг моральный и общественный. Ты плюнул на то, что мы любим и признали нашим дорогим достоянием. Ты достал нас лично. Это больше, чем эстетическое разногласие.

Внимание. Любимый объект искусства служит солидаризации группы и сакрализуется. Над эстетической значимостью надстраивается социопсихологическая: объект становится знаком в социокультурном пространстве, его оценка — маркером «свой — чужой».

А если я не люблю Чайковского, Репина и Гоголя? Урод и чужой? А если люблю Прокофьева, Григорьева и Лермонтова? Сkosten обвиняемому полсрока по смягчающим обстоятельствам?

Дамы и господа — а ведь у вас тоталитарное мышление. Тоталитарное мировоззрение и мироотношение. Вы нетерпимы и категоричны. Вы воспринимаете инакомыслие — со знаком минус, и не только в умственной, но порочное и в моральной плоскости. И уж подавно не воспринимаете оппонента как равного в праве на собственное мнение.

И никакие вы не либералы, и не демократы, и уж подавно не интеллигенты. Вы ведь признаете две точки

зрения: свою и неправильную. Это КГБ-лайт. Инакомыслие как скверна.

(Ага. Я освобождаю вас от химеры, именуемой правом на критику. Критика — это обсуждение достоинств в борьбе хорошего с лучшим. Круг допустимых оценок очерчен заранее. Оценка за рамками предусмотренного — нарушение приличий и правил, очернительство, плевки. В лучшем случае — провокация и эпатаж.)

Вот один интеллектуал-прихлебатель в Петербурге на вопрос о качестве прозы Довлатова ответил исчерпывающе: «Довлатов классик. И точка!» И не о чем спорить и судить.

2. Слушайте. Есть Десять Заповедей. Есть ценности вечные и базовые: честность, доброта, трудолюбие, храбрость, верность. Есть вещи абсолютно недопустимые: бить детей, обкрадывать нищих, предавать родину. Но где, черт возьми, сказано, что такого-то писателя (поэта, художника, композитора) необходимо любить, иначе это плохо? Что это за Список Обязательных Любимых? Что это за морально-эстетический диктат: или тебе это нравится — или ты плохой?

...Вот эта тяга к единообразию мыслей и вкусов — она изначально не насаждается сверху. Она рождается из психологии масс — и уже потом поднимается на уровень государственной пропаганды. Все должны думать как я, потому что так думаем мы все (не все так многие), все разумные нормальные люди. И понятно же: то, что нравится нам и нами признано хорошим — оно и есть хорошее, и должно нравиться всем нормальным людям. А прочие — выродки. Ну, хотя бы частичные выродки, ну, слегка вывихнутые — раз они не понимают того, что понятно нам всем.

Традиция и ее единообразное соблюдение обеспечивает устойчивость социума. Потребность в единообразии мнений — это аспект социального инстинкта, присущего человеку. Но. Важно! —

В современном обществе размытых моральных и политических критериев, в обществе толерантности и ценност-

ного релятивизма — этот социальный инстинкт единообразия мнений принимает дикие порой формы. Типа: абсолютный запрет курения везде, или обязательное одобрение гомосексуализма, или защита антибелого расизма как достоинства. Ибо — людям необходимы общие точки зрения, чтобы социум не рассыпался в аморфную массу!

В России, где авторитарность и цензура были всегда — сфера литературы есть та область, в которой инстинкты народа (через образованный его слой) проявлялись в области идеального, не вещественного, конкретно строю не опасного. Отношение к литературе заменяло образованным русским политическую и социальную самостоятельность. Служило игровой формой свободы мысли. В виртуальной действительности сублимировали и кипели настоящие страсти. Литература в России была игрой в жизнь больше, чем где-либо на Западе.

3. И вот в этой игре мы проявляли свою тоталитарную сущность.

Характерна реакция на выход «Эпистолярного романа с Игорем Ефимовым». Ефимов посмел опубликовать переписку со своим старинным другом Довлатовым. Не везде там Довлатов предстает в лучшем свете. Образ являет и злословие, и мелочность, и массу разъедающих жизнь черт. Без пьедестала.

Как посмел Ефимов сделать такую подлость, попытаться приволочь в литературу грязь! — был приговор. Это против воли вдовы, это моральное падение!

Не было только одного аргумента: что это неправда. Нет, это все правда. Причем: никаких интимных подробностей личной жизни, никаких скандалов и пьяных безобразий — ничего, что можно было бы назвать «компроматом», там не было. Ничего неприличного или непристойного, ничего тайного или подсудного. Так, отношения с людьми и суетные детали литературно-эмигрантской жизни.

Но! Было сочтено, что это попытка замарать и принизить высокий и светлый образ писателя! И никого не волновало, что последние письма — это итоговая исповедь

и автопортрет несчастного человека, ощущавшего себя неудачником с тяжелой жизнью, что в этих последних письмах Довлатов открывается умнее, печальнее и беззащитнее, чем в своих рассказах; глубже, значительнее и человечнее он тут являет себя.

Однако вывод прост. Нам не нужна правда, которая нам не нравится. Которая представляется нам лишней и искажает тот образ, который мы себе уже создали. Мы сами определяем, какая правда желательна, а какая недопустима.

То есть. Речь о честности, объективности и терпимости не идет. А имеет место желание заклеить и заткнуть ту правду, которая не вписывается в нашу информационную модель явления. Эта правда нарушает нашу картину мира, задевает наши групповые интересы (эстетические, интеллектуальные, психологические). Открывающего такую правду — осудить и по возможности нейтрализовать.

Так чем вы отличаетесь от Кремля и Федерального телевидения? У вас цели разные, а метода одна: инакомыслие осудить, заклеить и воспретить.

4. Но любовь к литературе и истине влечет нас к сияющей вершине.

Пушкин! Наше все! Недостигаемый гений.

Любовь к Пушкину вменена в моральный и патриотический долг. Это главнейший в русской культуре маркер «свой — чужой». Единообразие поклонения Пушкину может различаться лишь оттенками восторга.

Нелюбовь к Пушкину — это моральная и почти государственная измена. Это постыдно и подлежит суровому презрению и осуждению товарищей, рука которых пусть покарает меня. Признающийся в нелюбви к Пушкину, пусть частичной и в чем-то, совершает каминг-аут, переходящий в аутодафе.

Кто такой ОН — и кто такой ты?! Кто ты, чтобы судить Гения нашей литературы? Как ты вообще смеешь? Да для тебя не то что авторитетов нет — для тебя вообще ничего святого нет. Ты мразь. Тебе надо запачкать самое

светлое, что людям дорого, что все любят, что во всем мире признано как высочайшая вершина литературы, двести лет все изучают, народный праздник в день рождения Пушкина, конференции всемирные, — а ты что?..

Так. Я уже согласен. У меня остался только один вопрос. Маленький и личный. Имеет ли право человек на собственное мнение? Если это мнение не призывает к насилию, воровству, лжи, разврату? Если это мнение по отвлеченному, теоретическому вопросу?

И выясняется, что любовь и преклонение перед Пушкиным — категорический императив русского социокультурного пространства.

5. Вот в школе начинают проходить Пушкина. Учитель дает установку: кто это такой и как мы к нему относимся. В этом отношении никаких сомнений нет и быть не может: Пушкин самый великий. А Земля вращается вокруг Солнца, Волга впадает в Каспийское море, фрукт — яблоко, лайнер — серебристый, зверь — волк, поэт — Пушкин.

В школьном преподавании вообще и Пушкина в частности — есть одна принципиальная черта: непререкаемость. Она же категоричность. Все, что совершил Пушкин в литературе и жизни — прекрасно. Любимый друзьями и женщинами. Сей ветреник блестящий, все под пером своим шутя животворящий.

Школа целенаправленно формирует у детей культ Пушкина. Поклонение этому культу есть естественное состояние всякого культурного русского человека и патриота. Этот культ благ, бесспорен, непререкаем.

Пушкин — это хорошо и даже прекрасно.

А вот культ — это плохо. И всегда чревато. С Пушкиным школа внедряет единомыслие. Инакомыслие школьника насчет абсолютной гениальности и идеальности Пушкина — не допускается, даже не подразумевается как возможное. То есть: самостоятельное мнение запрещено. Предписанное мнение обязательно.

6. Единомыслие и конформизм, культ обожещаемой личности — не может существовать в сознании сам

по себе, но неизбежно входит в систему представлений об устройстве мира и отношении к нему.

Единомыслие и приятие культа личности — становится одним из важных принципов мировоззрения: есть отдельные гении, великие люди, вознесенные над общей массой, и значимость их непререкаема. Это — что? Это важная мировоззренческая модель в социальной психологии. Великий стоит над всеми и вне критики — это хорошо и нормально. Устроенный так мир — правильный. Тот, кто это понимает и признает — хороший, правильный человек.

7. Что было вначале: царь или царизм? Яйцо или курица? Царь присвоил трон силой и внушил всем правильность такого положения — или представление людей о наилучшем и правильном устройстве общества возвело избранника на царство? Э, — это две сферы проявления единого сущего, сказал бы Плотин и многие философы еще.

Германские ярлы нагнули под себя племена славянские, а также финно-угорские и прочие.

Принятие Великим Князем христианства на Руси было величайшим актом внедрения культурно-государственного единомыслия.

Монголы сделали Московию и окрестности организованным улусом величайшего мирового государства — где безоговорочное подчинение приказу начальства было не просто законом, но моральным императивом.

Иван Грозный, объявив себя наследником Орды, довел культ начальника до безумного кровавого абсолюта — внушая при этом законность и благость своих дел.

Романовское самодержавие категорически отметало любые поползновения ограничить власть самодержца — пока не стало поздно.

Реформаторы взяли власть, революционеры ее у них отобрали, большевики передушили всех прочих революционеров — и начался самый страшный кошмар России во всей ее истории. Под лозунгами свободы!

Парадокс в том, что даже воспевание свободы и борь-

ба за нее носили тоталитарный характер морального императива.

8. Дамы и господа. Всем ли давно понятно, что от переименования князя, царя, генсека и президента модель государственного самоуправления народа не меняется?

Русскому народу свойственно, будучи предоставленным самому себе при падении твердой власти, быстро расслаиваться, структурируясь в жадное, сильное, беспринципное меньшинство сверху — и бесправное, слабое, работающее и подчиненное большинство внизу. Верхнее меньшинство обирает нижнее большинство, не ограничиваясь законами, но только в меру своих возможностей.

Но при этом! В народе живет потребность — даже на всех этапах реформ! — возносить лидера над собой. Хоть Ельцина, хоть Путина, хоть черта в ступе. Возлагать на него надежды, делегировать полномочия и буйно или безропотно ждать действий по улучшению своей жизни.

Над Брежневым смеялись! — но все приближенные лизали тупо, журналисты матерились и плакали, но возносили, остряли и ругались — а портреты на демонстрациях несли. Не верили? А в Ленина — «самого человеческого человека» — верили? Как верили в Сталина! Сажал и стрелял? А вот возвращались из лагерей — и среди них тоже верили.

9. Социальный инстинкт повелевает человеку организовываться с окружающими в самые рациональные (с точки зрения дел и свершений) социумы — от бригады до государства.

При этом необходимо понимать и учитывать. Сильные и вооруженные организовываются не так, как слабые и безоружные. Трудолюбивые и храбрые — не так, как ленивые и трусливые. Рабы — не так, как свободные.

Либерал-социалистические бредни об универсализме политико-экономических моделей в любом этносе, при равных внешних условиях — это агрессивная идеология новых коммунистов, еще не прошедших через собственные концлагеря.

Качество бетона зависит от марки цемента и количества песка.

Только свободные люди могут построить свободное общество. Ну, более или менее реально демократическое государство, справедливо устроенное к удобству и благу трудящегося большинства.

Но! Для свободных людей — культов не существует! Кроме Всевышнего, Заповедей и моральных основ общества. Свободный человек отвечает за себя сам. За свои поступки, свои ценности, свои мысли и чувства.

Без свободы мысли никакое справедливое, продвинутое, процветающее, счастливое общество — невозможно.

10. И если кому в России не нравится культ Президента, сопутствующий бедности народа, произволу и отсутствию перспектив — вспомните, что если человек полагает вообще-то чей-то культ нормальным и хорошим делом, то с этим представлением о принципиальной правильности культа он Пушкиным не ограничится.

Вы ему только внушите, что есть прекрасные и правильные кумиры выше критики и сомнений. И уж он вам кумиров наставит, наплачетесь.

11. Вы ведь врете ему в школе о литературе той эпохи — где на деле недосыгаемо выше прочих почитался в заслугах великий Карамзин; где воспитатель царских детей и академик Жуковский парил на таком заоблачном Олимпе поэтической славы, что мог комплиментарно писать молодому Пушкину о лаврах первого поэта России; где самым знаменитым писателем и журналистом был Булгарин, а за ним Загоскин; и никакой народ у подъезда раненого Пушкина не толпился, тиражи Пушкина были одна тысяча экземпляров, а книги стоили жутко дорого, только для состоятельных людей, народ если и читал, так Матвея Комарова, а о Пушкине знать не знал, светская жизнь для него была другая Вселенная; вы создаете миф, условно идеализированную информационную модель Пушкина, отсекая одно и приписывая другое.

12. Культ личности Начальника Страны создается по тем же лекалам. И не в том беда, что услужливыми под-

ручными и холопами создается. А в том беда, что культ создаваемый — востребован! Русскому народу нужен царь! Свежая максима, да? Нет, не всем и не в равной степени. Но! Не только историей сформирован народ, взыскующий сильной руки.

Этот народ воспитан нашей прекрасной школой, нашими замечательными учителями литературы, нашими доходчивыми учебниками.

Прошу понять. Пушкин тут — это прекрасная золотая фигура. А культ личности — сквозной арматурный штырь, упрятанный внутрь, как несущий стержень всей информации. Нанизанная на этот культ, как на шампур, фигура информации держится цельной, логичной, красивой, мощной. Но!!! Когда человек поворачивается к другим проблемам жизни и фигурам пейзажа — фигура слетает, как листва, а стержень остается! Потому что стержень этот — мировоззренческий принцип. Уж не о Пушкине судят — а все чертеж кумира наложен на пространство.

И когда я слышу, как со слезами в горле и на глазах, умиленные святостью своего чувства до нервического приступа и религиозного экстаза, поклонники и фанаты полируют слоем еляя Пушкина как образ Нашего Всего — меня охватывает безнадежность.

13. Поклонение Богочеловеку Пушкину сравнимо только с поклонением Сталину времен культа: нерассуждающий экстатический восторг. Не повод задуматься?

14. Потому что если в людях сильна потребность в кумире и поклонении ему — они себе кумира устроят, и уж он-то их потребность удовлетворит.

И если они не допускают, что свобода мысли необходима, что незыблемых утверждений нет — будет им научный прорыв. Сейчас. Только по приказу генсека! А так — давить всех умников. Вот и давят, всю историю.

И если свобода слова, когда истина не совпадает с их убеждениями, их оскорбляет и приводит в негодование — то за скорой цензурой дело не станет.

15. Если не воспитывать в детях свободу мысли и слова, но загонять их в жесткие предписанные рамки, не

воспитывать в них уважение к своему уму и способность доказывать свою точку зрения, но учить повторять за учителями-начальниками, если прививать им представление о культе как естественной и похвальной особенности миропонимания — то вы всегда будете жить в авторитарном государстве. Бессмысленно сетуя, отчего же это так.

16. Они свергают человека. Они говорят об изменении системы. Но они не касаются коллективного мировоззрения. Не думают о перестройке закрепощенного, авторитарного, конформистского сознания и подсознания — на свободное, самостоятельное и ответственное. Потому что самому оценивать и принимать решение и самому подтверждать и защищать его — это и есть свобода и ответственность в одном флаконе.

Кормя людей готовыми рецептами и требуя их соблюдения, настаивая на их единственной правильности и допустимости — это и есть истоки тоталитаризма. А риторика — левая или правая, культурная или бытовая — здесь не важна.

Не важно, кто твой кумир. Важно, что он есть. Структура твоего подсознания искажена и прогнута под него: он отпечатан в тебе, как водяной знак. И внешний объект займет в твоем подсознании предназначенное (предуготованное) место, куда бы ты ни обратил мысленный взор.

Кумир бы и хорош — да плоха кумирня: поставь пьедестал — и он сам потребует себе статуи.

Поклонение как мировоззренческий стереотип, принцип.

АККОРД ЕЩЕ РЫДАЕТ

1. НОЖИК

СЕРЕЖИ ДОВЛАТОВА

Литературно-эмигрантский роман

В Копенгагене я сделал сделку. Заработанные лекциями деньги сунул в свою книжку, а книжку подарил журналистке из газеты с трудновоспроизводимым названием. После чего пошел по магазинам.

Одна из кожгалантерейных лавок прогорала в дым, судя по ценам. Роскошный кейс с номерным замком, стоивший напротив полторы тысячи крон, здесь предлагался за сто пятьдесят. Я вспотел, час пытаюсь обнаружить суть подвоха. Жалко тратиться на подарок себе самому, разве что ты на этом здорово экономишь. Бедный пластмассовый дипломат мне омерзел. При малейшем недосмотре он вдруг делал «Сезам, откройся!», вытряхивая барахло под ноги прохожим. В Венеции он раскрылся на мосту, и фотоаппарат прыгнул из него в канал, только булькнул. Ненавижу Венецию.

Магазин закрывался. Я принял решение. Продавщица сломала ноготь, выставляя мои любимые числа. После чего я достал бумажник и показал ей, что там пусто. В более темпераментной стране меня бы убили.

Вялый народ эти датчане. Недаром викинги перед дракой нагрызались мухоморов.

Редакцию все давно покинули. Журналистка отправилась проводить уик-энд на яхте. Вы видели фильм «Торпедоносцы»? Так яхт там чертова прорва, все берега заставлены.

Пароход у меня уходил в восемь утра! А через наш банк получишь лишь соболезнование о валютных трудностях державы. В кармане брякала мелочь, сигареты кончались. Хотелось жрать. Хотелось выпить и отвести душу.

Я побрел найти немного понимания к московской знакомой, недавней эмигрантке. Она жила в центре, зато без горячей воды. Мы выпили водки, закусили бананом и обматерили Данию. Одна из образцовых...

Последним ее впечатлением о родине было знакомство с Александром Кабаковым. Это сильное и приятное впечатление еще не изгладилось, оно подпитывало ее интеллектуальный патриотизм.

Пока она по частям мылась холодной водой, я стал читать «Сочинителя». Автор наслаждался мужской любовью интеллигента к женщине и оружию. «Он с треском вспорол брезент швейцарским офицерским ножом с латунным крестом на рукояти».

Если швейцарские офицеры соответствуют своим ножам, то их можно ловить сачками. Я начал открывать дипломат, и меж блокнотов и книг вылетел под ноги замерзшей хозяйке именно швейцарский офицерский нож. Он размером в палец. Со множеством складных штучек для облегчения офицерской службы. Им можно нарезать колбасу, открыть бутылку, провертеть дырочку для ордена и вырвать волосок из носу.

Случайно, стало быть, на ноже карманном найди отметку дальних стран.

Этот ножик подарил мне Довлатов. В таллинском журнале «Радуга» мы напечатали впервые в Союзе его рассказы, и он переслал редакции подарки: пробный флакончик французских духов, что-то пишушее и складной ножик с латунным крестиком на вишневой пластмассовой щечке. Редакция была дамская, ножик взял я. Приложенная в футляре инструкция на пяти языках, включая китайский, просвещала: «Швейцарский офицерский нож! Из наилучшей стали!» Китайский язык объяснялся местом изготовления: там дешевле.

Теперь-то мы извели качества дешевых китайских товаров. Возможно, оно основано на надежде свести продолжительность, и без того краткую, нашей жизни, и без того горестной, к веку воробья, истребленного рисоводческим кооперативом. Страдающие недостатком жизненного пространства китайцы умны, терпеливы и настойчивы. Их зоркие, прицельной суженности глаза вежливо смотрят через Амур. Восток научился проникать удаленность времени и пространства задолго до скудоумных итальянцев с примитивом их линейно-геометрической перспективы. И в дальней перспективе, где держава перетекает и делится, как амеба, никуда мы не денемся от передела территорий. Пьеса о территориальном суверенитете написана давно и называется «Собака на сене».

Когда-то я жил на китайской границе, на Маньчжурке. Рубежная станция Забайкальск называлась тогда Отпор! Доотпирались.

И китаец звучало у нас символом честности и трудолюбия. Несравненное качество китайского ширпотреба памятно старикам. Равно как и победоносная борьба с мухами, воробьями и гоминдановцами. Смелый, как тигр. Двадцатизарядный маузер Ли Ван-чуня не могло заклинить.

Восторгающие «Пионерскую правду» любовь и уважение к братским китайцам не мешали пацанве травить бурятов. То, что буряты жили в этой степи спокон веков, было их личным и никого не колышущим горем. Бурят было словом ругательным. Синонимом его было слово дундук.

Много лет спустя, студентом ленинградского университета, практикант в журнале «Нева», я с недоверчивым удивлением узнал от завпрозой, покойного Владимира Николаевича Кривцова, писавшего тогда роман о первом российском после в Китае отце Иакинфе Бичурине, что до революции, при изрядной малограмотности в России, мужчины — монголы и буряты были грамотны поголовно и весьма. Мальчиков отдавали на воспитание в дацаны, откуда они возвращались обученными и причастившись

восточных мудростей. Это мы им потом дацаны закрыли, лам перешлепали, а прочим ввели кириллицу: Маша мыла раму.

Вот в том же отделе прозы я впервые услышал фамилию Довлатова. Я вообще услышал там много нового и интересного. Например, что Октябрьская революция — ну и что, сделали лучше? Я клацнул от неожиданности своими белыми комсомольскими зубами; что же касается ответа, так это сейчас, двадцать три года спустя, все стали умными и храбрыми.

За эти двадцать три года задавший мне этот вопрос с ехиднейшей и ласковой улыбкой Самуил Аронович Лурье, старший (и тогда единственный) редактор отдела, ах Джон, а ты совсем не изменился. Неизменно — худ, лыс, сутул, узкоплеч и очкаст: гуманитар-интеллигент, разве что зав в том же отделе. Нужно было пережить застой, перестройку, распад, полдюжины главных и ответсекров, непотопляемо пройти скандалы и суды, сдать роскошные покои фирмам нуворишей и ужаться в боковые комнатки, обнищать и уменьшить формат на скверной бумаге, чтоб открылось: что сутулость скрадывает высокий рост, из растянутых рукавов свитера торчат ширококостные волосатые запястья, в объятии Саша Лурье жилист и тверд на ощупь, и хорошо познается в способности твердо принимать любое количество спиртного, отличаясь изящнейшим умением по мере возлияния интимно изливать гадости тому, кто платит за выпивку. Учитывая должность и реноме лучшего ленинградского критика, поставить ему хотели многие. Справедливость требует отметить, что из этих многих у очень малых доставало умственных способностей вычленить суть витиевато-иронических фраз, которые с тонкой ухмылкой накручивает им на уши поимый собеседник.

Лурье и пересек меня с Довлатовым забавным образом. Это образ всех его действий.

Я был старательным практикантом. И мою старательность решили поощрить материально. Возможно, к тому отдел прозы подтолкнула совесть. В течение ме-

сяца всю работу в охотку делал я один, освободив зава и редактора для их собственных творческих нужд. Я не перенапрягся. В числе непонятого мною в литературной жизни осталось, чем могут заниматься в ежемесячном журнале больше трех человек. Некрасов был вообще один, не считая как раз Авдотьи Панаевой и ее мужа Панаева: их функции изучены литературоведами и понятны. Мое непонимание встречает у тружеников редакций раздраженный протест.

Меня решили оплатить посредством редакционного гонорара за отшибную внутреннюю рецензию, из расчета три рубля за авторский лист рецензируемой рукописи.

— Миша, — сказал Лурье, вручая мне папку с надписью «Сергей Довлатов. — Зона.», — пусть совесть вас не мучит. Напечатать мы это все равно не можем. Увидите: там зэки, охранники, пьянки, драки — Попов (главред) этого не пропустит в страшном сне. А если чудом решил бы пропустить — снимет цензура. А если не снимет — то снимут нас всех. Но этого, к счастью, произойти не может, потому что Попов дорожит своим креслом, и если встречает в тексте слово «грудь», он подчеркивает его красным карандашом и гневно пишет на полях: «Что это?!». И это после нашей редакции. А если он увидит слово, например, «сиськи», его просто свезут в сумасшедший дом. Так что — пишите. Сами понимаете. Обижать человека не надо, хороший парень, я его знаю, в общем, все равно это не литература... сочините что-нибудь такое изящное, отметьте достоинства, недостатки, посетуйте в заключение, что «Нева» не может это опубликовать. И обязательно пожелайте творческих успехов автору. Страниц пять, больше не нужно. Дерзайте: я не сомневаюсь, что у вас получится.

Вспоминая о Хемингуэе, Джек Кейли пишет: «При первом знакомстве Хемингуэй произвел на меня впечатление туповатого парня, и не раз производил такое же впечатление впоследствии». Таким образом, «Зона» не произвела на меня впечатление литературы. К моему облегчению, не пришлось даже кривить душой. Я всего

лишь подошел к решению задачи с предварительным умыслом и готовым ответом. Позднее я узнал, что это называется журналистским профессионализмом.

И все-таки «Зона» без нажима запоминалась. Она была не похожа на прочее, идущее в журналах.

Первая в моей жизни рецензия была лестно оценена талантливым ленинградским критиком и редактором Лурье и принесла мне тридцать рублей. Именно и ровно. Первый в жизни гонорар памятен, за что получен — памятно менее, а уж ничего не значащая фамилия автора, послужившая лишь предлогом к гонорару, изгладилась из воспоминаний быстро и начисто за событиями более интересными и значительными. С утра до ночи один в отделе я сортировал рукописные завалы, писал письма, правил гранки и в пределах малых полномочий дипломатично беседовал с посетителями, принимая свежие рукописи и уклоняясь решительных ответов. Предмет моего злорадного торжества составило редактирование идущей в набор повести великого письменника Глеба Горышина про то, как он поехал на Камчатку, землепроходец. На Камчатку двумя годами ранее я на спор добрался за месяц без копейки денег от Питера, и цыдулю Горышина, пользуясь анонимной безнаказанностью внутриредакционной машины, перередактировал вдрызг. Опасался, что маститый автор взбучнет по ознакомлении с публикацией, но позднее не воспоследовало ни звука. Цимес был в том, что проходивший в Ленинградской писорганизации под кличкой «Змей Горышин», обликом более всего напоминая сподвижника Карабаса-Барабаса пьявколова Дуремара, а бездарностью казеиновую сосиску, являлся вышеупомянутой организации третьим секретарем, то есть имел довольно власти испортить кровушку любому.

За этим самозабвенным бесчинством и застал меня друг-однокашник Серега Саульский, трепетно донесший в редакцию свое первое прозаическое произведение. Заготовив фразы к беседе, он постучал под табличкой «Отдел прозы» и водвинулся с почтительным полупоклоном.

— Присаживайтесь, добрый день, — казенно-приветливо бросил я, не отрываясь от художественного выпиливания по тексту.

— А... э... — подал ответный звук посетитель, и я узрел выпученные саульские глаза и отпавшую челюсть. За двухметровым редакторским столом сидел я без пиджака, и смотрел вопросительно.

С полминуты Саул напряженно соотносил визуальный ряд с семантическим. Потом выматерился и закрыл рот.

— Сука, — сказал он. — Пришел на хрен в святая святых. Молодой автор, тля, с трепетом. Первый рассказ на суд толстого журнала. А там Мишка Веллер в домашних тапочках.

— Гадская жизнь, — согласился я. — Когда кадет Биглер становится генерал-майором и лично является беседовать с Богом, то Богом уже работает капитан Сагнер.

— А ты кем здесь работаешь?

— Практикуюсь.

— Я вижу. Так рассказ-то есть кому дать прочесть?

— Есть.

— Кому?

— Мне.

— Тебе-то на хрена?

— Прочту.

— Спасибо. Большое спасибо.

— Пожалуйста. Это наша работа.

— А дальше?

— Могу написать на него рецензию, — предложил я.

— Зачем?

— Для гонорара.

— И много ты уже написал?

— До фига. Одна под рукой — хочешь прочитать?

«Я иногда думаю, — признался Саул много позднее, — что вот это несовпадение ожидаемого и встреченного так на меня тогда подействовало, что именно поэтому я в „Неву“ ничего больше не носил. И никуда не носил. И вообще писать прозу бросил. К счастью. А вдруг, думаю, там опять какая-нибудь знакомая пала

сидит. Разрушил ты, Михайло, хрустальную мечту юной души о храме высокой литературы.»

Мы с ним нажирались тогда в Париже, куда он переселился давным-давно, перебирая славные воспоминания.

— Ты писал хорошо, — сказал я. — Как, впрочем, и все, что ты делал. И бросал. Зря. Жаль.

Эта была правда. Боксеры завидовали его боксу, барды — песням, журналисты — статьям, и все вместе и люто — его успехам у баб.

— Да ну, Михайло, какая на хрен литература, — сплюнул он с гримасой суперменистого киноактера в роли неудачника. — Кому, зачем... Когда Кортасар работал здесь в ЮНЕСКО, коллеги в комнате не подозревали, что он чего-то там пишет. Было время Солженицына всюду продавали на килограммы — его знали. Вот Лимонов надрывался шокировать, как он негру минет на помойке делал — ошарашил: уровень откровенности непривычный; у всех метро продавали. Европейская культура... Хотя французскую любовь придумали, сами они полагают, французы, но если бы Бодлер описал на уличном аргю, как он делает минет Рембо, французы бы сильно удивились.

Еще в СССР еще в миллионнотиражных журналах еще шумела дискуссия о праве на литературную жизнь табуированных слов. С ученым видом поднимаясь над интеллигентской неловкостью, полумаститые писатели и доктора филологии защищали в печати права мата на литературное гражданство, светски впиливая в академические построения ядерный корень. Сыты лицемерием, хватит, свобода так свобода. Урезать так урезать, как сказал японский генерал, делая себе харакири. Уж отменять цензуру — так отменять, значит.

Из скромности я помянул, что первым в СССР табуированные, они же неприличные, нецензурные, матерные, грязные, площадные, заборные, похабные, слова напечатал ваш покорный слуга зимой 88-го года в таллинском журнале «Радуга». Мы в трех номерах шлепнули кусок из аксеновского «Острова Крыма» и, балдея от собственной

праведности, нагло приговорили: мы не ханжи, из песни слова не вырубешь топором, автор имеет право. В набранном тексте матюги торчали дико. Глаз на них замедлялся и шелкал. Главный скалил зубы и подначивал: «Давай-давай!». Союз трещал, Эстония уплывала в независимость, главный был из лидеров Народного фронта, уже никто ничего не боялся — с на полгода опережением российских событий, свобод и самочувствий: мат был волей, реваншем, кукишем. В этом опережении России скромная «Радуга» первой в Союзе дала и Бродского, и Аксенова, и «Четвертую прозу», и до черта всего. Смешное время; веселое; знали нас, знали, в столицах выписывали. Что мат.

Материться, надо заметить, человек умеет редко. Неинтеллигентный — в силу бедности воображения и убогости языка, интеллигентный — в неуместности статуса и ситуации. Но когда работяга, корячась, да ручником, да вместо зубила тяпнет по пальцу — все фонемы, что из него тут выскочат, будут святой истиной, вырвавшейся из глубины души. Кель ситуасьон! Дэ профундис. Когда же московская поэтесса, да в фирменном прикиде и макияже, да в салонной беседе, воображая светскую раскованность, женственным тоном да поливает — хочется послать ее мыть с мылом рот, хотя по семантической ассоциации возникает почти физическое ощущение грязности ее как раз в противоположных местах.

Вообще чтобы святотатствовать, надо для начала иметь святое. Русский мат был подсечен декретом об отделении церкви от государства. Нет Бога — нет богохульства. Алексей Толстой: «Боцман задрал голову и проклял все святое. Паруса упали.» Гордящийся богатством и силой русского мата просто не слышал романского. Католический — цветаст, изошрен — и жизнерадостен. «Ме каго эн вейнте кватро кохонес де досе апостолес там бьен эн конья де ля вирхен путана Мария!» Вива ла република Эспаньола.

Экспрессия! Потому и существует языковое табу, что требуются сильные, запредельные, невозможные выраже-

ния для соответствующих чувств при соответствующих случаях. Нарушение табу — уже акт экспрессии, взлом, отражение сильных чувств, не вмещающихся в обычные рамки. Нечто экстраординарное.

Снятие табу имеет следствием исчезновение сильных выражений. Слова те же, а экспрессия ушла. Дело ведь не в сочетании акустических колебаний, а в информации, в данном случае — эмоционально-энергетической, которую оно обозначает. Дело в отношении передатчика и приемника к этим звукам. Запрет и его нарушение включены в смысл знака. При детабуировании сохраняется код — информация в коде меняется. Она декодируется уже иначе. Смысл сужается. Незапертый порох сгорает свободно, не может произвести удар выстрела. На пляже все голые — ты сними юбку, обнажи жопу в филармонии. Условность табу — важнейший элемент условности языка вообще. А язык-то весь — вторая сигнальная, условная, система. С уничтожением фигуры умолчания в языке становится на одну фигуру меньше — а больше всего на несколько слов, которые стремительно сравниваются по сфере применения и выразительностью с прочими. Нет запрета — нет запретных слов — нет кошунства, стресса, оскорбления, эпатажа, экспрессии, кайфа и прочее — а есть очередной этап развития лингвистической энтропии, понижения энергетической напряженности, эмоциональной заряженности, падения разности потенциалов языка. Обогащаясь формально, язык обедняется по существу. Дважды два. Я так думаю, сказал Винни-Пух.

Ладно: писатели неучи, филологи идиоты, — обратились бы к Лотману за разъяснениями; сдались они ему все, у него жена болеет...; Зара была еще жива, и Лотман был жив.

Ага; вот поэтому в самых половых сценах писаний Лимонова или его жены Медведевой эротического чувства, со-возбуждения для читателя не больше, чем для старого гинеколога — в сотой за прием раскоряченной на кресле старухе. Ну, есть такое место, такие движения,

и что. Обыденность слова сопрягается с обыденностью фразы и сцены. Возникает импотенция текста. Что связано с импотенцией, кстати, телесной, это вполне испытали на себе просвещенные раскрепощенные французы. Чего волноваться — обычное дело кушать, выпивать, зарабатывать деньги и совмещать свои половые органы. А волнение — это избыток чувства, энергии, а если ничем никогда не сдерживать — не будет избытка, а отсутствие избытка — слабосилие, упадок, конец. Вам привет от разврата упавшего Рима. Закат Европы. Смотри порники: там же никогда ни у кого толком не стоит. Работа такая.

Сим макарон к концу второй бутылки обнаружив, что литературная тема беседы естественно и плавно перетекла в сексуальную, мы ностальгически поспешили приключения ленинградской молодости, помянув и лихой заезд с портфелем «Рымникского» к двум красивым подругам, оказавшимся ночью злостными лесбиянками, чему предшествовала та встреча в редакции.

— Читаю я твою рецензию: ни хрена себе, думаю, сидит Мишка тут и решает, кого печатать, а кому отказать, а ему еще деньги за эти отказы платят! И только собираюсь предложить — напечатай, мол, а гонорар вместе пропьем, как он и говорит: будь моя воля, я бы это, конечно, из интереса напечатал. Эге, думаю, парень, да тебе печататься легче чем ему ровно на одну инстанцию — на себя самого. Так что теперь — настала твоя воля?

— Воля моя, воля... Наливай да пей.

— Сейчас тут Довлатова всего издали. Вижу — «Зона»: вспомнил, дай, думаю, куплю — о чем хоть речь-то шла. Ты его знал? — спросил Саул.

— О, провались он пропадом, — сказал я. — И в Париже, в Венсенском лесу, под луной, нет мне покоя!

Много лет Довлатов был кошмаром моей жизни.

Кто ж из нынешней литературной братии не знал Сережи Довлатова? Разве что я. Так я вообще мало кого знаю, и век бы не знал. Он со мной общался, как умный еврей с глупым: по телефону из Нью-Йорка. То есть

просто все мои знакомые были более или менее лучшими его друзьями: все мужчины с ним пили, а все женщины через одну с ним спали, или как минимум имели духовную связь. Большое это дело — вовремя уехать в Америку.

Он сыграл в делах моих, этом дурном сне, большую роль. Ее нельзя назвать слишком позитивной. Это была роль шагов Командора за сценой. Хотя сам он о том не мог предполагать. Когда я узнал о нем, он уже никак не мог знать обо мне: он уже свалил. Чем еще раз подчеркивалось его умственное превосходство.

В ту эпоху звездоносный генсек Брежнев придал новое и совершенно реальное значение метафоре «ни жив ни мертв». Реанимация напоминала консилиум над телом Буратино. С неживой невнятной речью и неживыми ошибочными движениями он выглядел кадавром столь законченным, что из года в год представлялся все более бессмертным. То есть разум понимал, что ему полагается умереть, но эта в любой момент возможная и ожидаемая, но никогда не наступающая смерть в конце концов стала столь же неопределенно-отдаленной абстракцией, как тепловая смерть вселенной. Его состояние на грани иного мира стало константой общественного бытия.

В этом общественном бытии моим рассказам места не было. На чем настаивали все известные мне журналы и издательства. Мое сознание не хотело определяться бытием. Сделай или сдохни.

Эстония в Ленинграде славилась изобилием и либерализмом. Бытие и сознание здесь были подточены поздним приходом советской власти и приемом финского телевидения. Ветерок дотягивал в щель форточки забитого окна, которое Петр прорубил в Европу. Светил какой-то шанс.

В издательстве «Ээсти Раамат» рукопись одобрили в принципе.

— Но есть одно условие. Мы издаем книги только местных авторов, живущих здесь постоянно.

Ясно. Естественно. А то поднапрет разных, захлестнет вал. Да я буду жить в Кушке, в Уэллене, в Дудинке, толь-

ко оставьте шанс. Не уверенность, не гарантию: хоть запах реального шанса.

— Таллин режимный город, — сказали в паспортном столе. — Для прописки нужно ходатайство с места работы, оно будет рассматриваться. А на какую площадь вы хотите прописаться?

В республиканской газете «Молодежь Эстонии» посмотрели мои старые вырезки из многотиражек:

— Мы вас возьмем. Есть штатная вакансия. Но, конечно, нужна прописка. Вы уже переехали в Таллин?

И я проволочка сквозь все круги обыденного бюрократического ада, коридоры, очереди, заявления, выписки, справки, резолюции, подписи, печати, милиции, паспорта, жилконторы, очереди, записи, очереди, и переехал в Таллин.

И первое, что меня спросили в Доме Печати:

— А Сережку Довлатова ты знал?

— Нет, — пожимал я плечами, слегка задетый вопросами о знакомстве с какой-то пузатой мелочью, о ком я даже не слышал. — А кто это?

— Он тоже из Ленинграда, — разъяснили мне. Я вспомнил численность ленинградского населения; три Эстонии с довеском.

— Он тоже писатель. В газете работал.

— Где он печатался-то?

— Да говорят же: вроде тебя.

Это задевало. Это отдавало напоминанием о малых успехах в карьере. Я не люблю тех, кто вроде меня. Конкурент существует для того, чтобы его утопить. Я не интересовался салонами, компаниями и «внутрилитературным движением рукописей»; слово андеграунд еще не употреблялось, как и слово тусовка.

— Серенька был, можно сказать, первое перо Дома Печати.

Мое перо, трудолюбивый и упрямый ишак, не хотело писать для Дома Печати. Мне было тридцать, и пять лет я не делал для заработка ни строчки. Халтура — смерть. Но для книги требовалась прописка, а для прописки

авторитетная работа. В детстве доктора говорили, что у меня повышенный рвотный рефлекс.

Над первым материалом, заметкой о знатной учительнице, я потел и скрежетал неделю. Я добивался глубин мысли, блеска стиля и изысканной лаконичности — при сохранении честности. Я был ишак.

В результате истачал маленький газетный шедевр. Главный редактор, человек добрый настолько, что редакция жрала его поедом, не давась отсутствующим хребтом, Вольдемар Томбу, тактично подчеркнул несколько строк:

— Вот вы пишете: ибо во многой мудрости много печали... Разве на самом деле это так? Вы правда так думаете?..

— Э... — замылся я. — Но ведь это, в общем... фраза известная, расхожая, так сказать... из классики.

Томбу помолчал. Спросить откуда не позволяло его положение. Про Экклезиаста я, по понятным причинам, акцентировать не стал. Склонность к цитированию Священного писания не могла быть поощрена органом ЦК комсомола, хотя бы и Эстонии.

— Ну, — мягко улыбнулся Томбу, — мы ведь с вами понимаем, что в общем это же не так?.. Давайте лучше напишем: «Ибо во многой мудрости много пищи для размышлений». Согласны? Вот, — добрым голосом заключил он.

Драли с тех пор меня многочисленные редакторы, как с сидоровой козы семь шкур, но и поныне пикантнейшим из воспоминаний остается первое сотрудничество с эстонской прессой: как редактор «Молодежки» отредактировал царя Соломона.

Да. Оптимизм — наш долг, сказал государственный канцлер.

Через месяц, поставив руку, я строчил, как швея-мотористка. В работе газетной и серьезной плуг ставится на разную глубину. Наука это нехитрая: как оперному певцу научиться снимать голос с диафрагмы, чтоб тихонько подвывать шлягер в микрофон. По мере практики голос, без микрофона, начинает «срываться с опоры», «качаться» — и оперному певцу хана. Писание на Бога и на газе-

ту — при формальном родстве профессии принципиально разные, смешивание их дает питательную среду для графомании и алкоголизма.

Однако в штат меня ставить не торопились. Говорили комплименты, с ходу печатали все материалы, исправно выдавали гонорар, а вот насчет штата Томбу уклончиво успокаивал, просил обождать недельку. Шли месяцы.

Много лет спустя я узнал, что добрый и честный Томбу раз в неделю ходил в ЦК и устраивал тихий эстонский скандал.

— Человек специально приехал из Ленинграда, — разъяснял он. — Журналист высокой квалификации. Была предварительная договоренность. Я сам его пригласил на место. Обещал. Место пустует. Брать некого.

— Что значит некого. Почему же вы не готовите кадры.

— У нас не журфак и не курсы повышения квалификации. У нас республиканская газета. Вас волнует уровень вашей газеты?

— Нас волнует истинное лицо сотрудников нашей газеты. Просто так из Ленинграда не уезжают, знаете. Чего он уехал?

— Полмиллиона русских приехали сюда из России, — кротко отвечал Томбу. — Вы хотите поднять вопрос, почему они уехали из России?

— Он нерусский, — сдержанно напоминали в ЦК. — У нас в русских газетах и так работает половина евреев.

— Так что мне теперь, в газовую камеру его отправить? — не выдерживал Томбу.

— Не надо шутить. А если он возьмет и уедет в Израиль?

— Если бы он хотел поехать в Израиль, то почему он поехал в Эстонию? Перепутал билетную кассу?

— Вы можете ручаться, что он не уедет?

— Да, — говорил Томбу. — Я ручаюсь.

— Толку с вашего речательства. А историю с Довлатовым вы помните? — приводили решающий аргумент в ЦК. — Тоже ручались: прекрасный журналист, все в порядке, надо взять, — а чем это кончилось?.. Нам второй раз такой истории не надо.

— При чем здесь Довлатов? — не соглашался Томбу.

— Как при чем? Тоже: писатель, талантливый, из Ленинграда... а потом — скандал, КГБ, рукописи, и эмигрировал в Америку!

— Он его вообще не знал! — отмежевал меня Томбу от бывшего замаскированного врага.

— Одного поля ягоды, — реагировали в ЦК. — Точно тот же вариант. А не знать его он не мог — вы посмотрите, ведь все совпадает, как у близнецов. А он продолжает настаивать, что не знает. Значит, скрывает. Значит, есть что скрывать. Вы понимаете?

Эта майская песня кончилась в сентябре: меня взяли временно на место, как водится, ушедшей в декрет машинистки. Она уже родила, и теперь по утрам тошнило меня. Бессмысленность работы убивала. Какая «вторая древнейшая»! по сравнению с советским газетчиком проститутка вольна, как Ариэль, и богата, как министр Госкомимущества. Я понял, что такое фашизм: это когда добровольно и за маленькую зарплату пишешь обратное тому, что хочешь. В пыточные камеры мне был определен отдел пропаганды. Над столом я прилепил репродукцию картины Репина «Арест пропагандиста». Глядя на живопись, я поступал в жандармы, крутил руки за спину завотделом пропаганды Марику Левину и, тыча ножнами шашки под ребра, гнал его в сибирскую каторгу. Я стал нервным.

— А вот Серега Довлатов, он запивал иногда, что ты, — поведывали коллеги. — Потом однажды похмелялся, сидел с утра, и т-такое выдавал — пачками! Для газеты одно, для себя другое.

Мое для себя другое тем временем ташилось сквозь издательские шестерни. Мельница Господа Бога мелет медленно, успокаивал редактор. История повторялась, как кинодубль с другим составом статистов. Закулисная механика от меня скрывалась.

Умный главный редактор издательства ознакомился с рукописью сам и пошел в ЦК. Пуганая ворона хочет выжечь кусты из огнемета. Или старается договориться с ними лично.

— А почему он уехал из Ленинграда? — спросили его.

— А почему не спросить об этом четверть миллиона русских, которые приехали в Таллин из России? — спросил Аксель Тамм.

— Это хорошая книга?

— Я бы пришел из-за плохой книги?

— Так почему ее не издали в Ленинграде?

— Я не заведу Лениздатом. Я работаю в «Ээсти Раамат». Кто-то мной недоволен?

— У него были там неприятности? Трения, инциденты?

— Что вы имеете в виду?

— Перестаньте. Вы понимаете, что мы имеем в виду.

— Ничего не было.

— Откуда вы знаете? Вы проверяли?

— Нет. Если бы что-то было, я бы знал.

— Это еще надо проверить.

— Проверяйте.

— А почему он приехал именно к нам? Он эстонец?

— Нет, он не эстонец.

— А кто?

— Еврей.

— Так почему он не поехал издаваться куда-нибудь в свою Россию, в Сибирь, в Томск, в Омск?

— Он еврей. Кто его там будет издавать?

— Так почему он не поехал издаваться в свой Израиль? А если он уедет в Израиль?

— Зачем ему ехать в Эстонию, если бы он хотел уехать в Израиль?

— Как знать. Точно так же вы тут несколько лет назад выступали насчет Довлатова. Кого защищали? Алкоголик, диссидент, антисоветчик, арест, посадили: теперь в Америке. Хватит с нас одного.

— Он не имеет никакого отношения к Довлатову.

— Что значит не имеет. Точно то же самое. Не следует ошибаться еще раз.

Машинистка вернулась из декрета. С облегчением и ненавистью я навсегда распрощался с газетной работой. И тут издательство вернуло мне рукопись, сопроводив

похеривающей рецензией. Я впал в непривычную растерянность. Совсем не то обещал мне ярл, когда приглашал в викинг.

Я лишился ленинградской прописки. Поменял комнату в суперцентре, Желябова угол Невского, на хибару таллиннской окраины. Дама ваша убита, ласково сказал Чекалинский. Корнет Оболенский, дайте один патрон. Мне было решительно обещано место в республиканской газете. Редактор уверял, что книга прекрасная и проблем с выходом не будет. В итоге я получил полную возможность поведывать за злым зельем свои печали эстонской кильке пряного посола, закусывая ею из разбитого корыта.

Проклятый мифический Довлатов заварил мне ход. Он выработал Таллинн и свалил. Я шел по его следам, и вся малина на тропе была обгажена. На тропе был насторожен капкан, и я вделся. Я бы его повесил.

— Ну разве не стоит ему за это когда-нибудь въехать? — жаловался я в ответ на очередные легенды о Довлатове. Теперь я помнил хорошо, кого читал и рецензировал в «Неве».

(Ах не фраер Боженька: всю правду видит, да не скоро скажет. Ко мне вернулся мой камушек, из пращи да булдыган в лоб. Много, много лет спустя посетила меня эта суеверная мысль. А вот не шейте вы ливреи, евреи.)

— В нем было два метра росту, — снисходительно говорили мне наши общие приятели.

— Если б во мне было два метра, я бы вообще всех убивал, — злобно цедил я. В боксе есть присказка: длинного бить приятнее — он дольше падает.

Моя биография вдруг стала укладываться в его колею, как складная головоломка, которую мне было не решить.

Куда податься. Для тебя, Веллер, Монголия за граница, сказали когда-то на филфаке, не понимая, за каким хреном и благами я-то влез в комсомольскую работу. Велика Россия, а отступать нам приходится на запад. Некуда мне было ехать. Приехал.

Во-первых, подача заявления на выезд уже автоматически означала, что отец мой вышибается без пенсии из армии, а брат — с волчьим билетом из института. Во-вторых, эмиграция была уже как раз только прикрыта, все, олимпиада прошла, выезд кончился.

А главное — я не мог уехать побежденным. Вот не мог — и хоть ты тресни. Они меня достали. Обложили со всех сторон. Прижали к стенке. И я должен был сделать свое. Не можешь — делай через не могу. Или сдохни. Смысл жизни был прост, как гвоздь в мозгу. Я должен был издать эту книгу здесь, в Союзе. А потом можно валить куда угодно к чертовой матери. Потом точно свалю. Женюсь, сбегу. Но не потому, что они меня победили и заставили. А потому что я сам так решил. Иначе я дерьмо, и так мне и надо. Я не буду неудачником.

Воспитание в далеких гарнизонах и мордобой в хулиганской юности способствуют целеустойчивости.

Оставалось одно. Сидеть на месте и тихой сапой рыть траншею вперед и вверх. А там — хоть это не наши горы, но тихо-тихо ползи, улитка, по склону Фудзи вверх, до самой вершины. Хэйко банзай!

Но раздражение мое нетрудно себе представить. Мало мне своих бед — так еще тень довлатовских подвигов простерлась на меня.

Летом я отправился на Таймыр и завербовался на промысловую охоту. Работа жестокая и грязная, усталость и недосып, гнус жрет, и все переживания мельчали и утрясались: а нет причин для тоски на свете, слушай, детка не егози.

Вот когда в пустыне меня, ловца-салагу, гюрза ударила — о, это было переживание. Ни водки, ни сыворотки, и дневной переход до лагеря. Укус был под локоть, а его накося выкуси, сам себе не отсосешь. Выдавливай надрез да чиркай в него спички.

Я просыпался до срока от наработанной зимней бессонницы, крутил приемник у костерка, вылавливая музыку далеких цивилизаций, ребята постанывали во сне, держа изрезанными руками, и я в привычный за которое уже

лето раз ощущал себя на самом краю земли, и из этого далека все эти несмертельные мои проблемы казались простыми и ясными: есть шанс? паши и не дергайся.

Заработка должно было хватить на прокорм до следующего лета. Вернувшись, я переложил печку в камин, колол дрова, гулял по взморью, писал рассказы; готовил сборник. Сдав его в издательство, спокойно ждал, что и его выпнут, я составлю следующий и принесу его, и в конце концов протаранится, в жизни нужна тактика бега на длинную дистанцию, не рви со старта, не суесться, и удача благосклонна к тем, кто твердо знает, чего хочет.

Пытка неизвестностью придумана давно и действует исправно. Тихо-тихо тянула из меня все жилы издательская машина. Я мог лишь ждать и не сорваться — никто, ничто и звать никак. Пассивный залог в русском языке называется страдательным.

На выход книги я поставил все. Больше у меня в жизни ничего не было. Я покинул свой город, семью, любимую женщину, друзей, отказался от всех видов карьеры, работы, жил в нищете, экономил чай и окурки, ничем кроме писания не занимался.

Никогда не бывает так плохо, чтоб не могло быть еще хуже.

Год шел за годом. Ночами я детально обдумывал поджог дома рецензента, убийство редактора, самосожжение в издательстве. Я бы спился, но пить было не на что. А зарабатывать деньги на пропой, тратя необходимые на писание время и силы, было идиотством.

Позднее вскрылись и донос в КГБ — на что живет? тайные деньги с Запада! — с последующей годичной проверкой, и письмо в Госкомиздат СССР — вредная, чуждая рукопись! — и внутренние счеты и интриги: штатные доброжелатели из литературно-осведомительских структур бдели.

Пронеслось четыре года... Это ново? так же ново, как фамилия Попова, как холера и проказа, как чума и плач детей.

И когда вышла «Хочу быть дворником», клиент был готов. Я лежал. Разделить радость мне было не с кем, да и не было никакой радости. Он один был в своем углу, где секунданты даже не поставили для него стула. Вставал я для того, чтобы поесть, выпить и дойти до туалета. Бриться, мыться, чистить зубы — энергии уже не было. Когда кончались еда и водка, раз в несколько дней брал пару червонцев из гонорарной пачки и плелся через дорогу в магазин, дрожа от слабости, оплывший и заросший. Я мечтал, чтобы вдруг приехал кто-нибудь бодрый и сильный, поднял меня за уши, выполоскал в горячей ванне с мылом, выбрил, передел в чистое и отнес лежать на берег теплого моря. Там через месяц я бы оклемался. Но уши мои так и остались невостребованными.

Кончилась зима, прошла весна, и в нежном трепете июньской листвы я ощутил прилив активной злобы к жизни и презрения к себе. Чувства эти были вызваны голодом. Голод объяснялся невозможностью выйти за жратвой. На мне не сходились штаны. Это были мои единственные штаны. Я попал в западню, как Винни-Пух в норе Кролика.

Я належал килограммов двадцать. Зеркало пугнуло распухшим бомжем. Портрет на фоне Пушкина, и птичка вылетает. Фоном служила ободранная ханыжная хавера, набитая окурками, стеклотарой и грязным тряпьем. Ситуация достигла исчерпывающего предела.

Винни-Пух торчал в норе, пока не похудел до диаметра выхода. Мне повезло больше.

Меня посетила знакомая. Знакомая — это неполная характеристика; неточная. Это был танк, который гуляет сам по себе. По приезде в Таллинн я был взят ею на abordаж с той жесткой стремительностью, которую требовал от своей команды кэптэн Джон Морган.

Чудо, праздник, тайфун. Она распечатала окно, за час привела в чистоту и порядок мою скверную обитель и мерзкую плоть, плюхнула коньяку в сияющие стаканы, перелистнула еще пахнущую краской книжку из штабеля у стены, объявила меня свершившимся гением, расширив

влюбленные глаза, и в качестве высшего признания произнесла голосом, в котором пело эхо горних высот:

— Знаешь, я вдруг подумала, что тебе сейчас столько же лет, сколько было Сереже Довлатову, когда он приехал сюда.

Выздоровление произошло сразу. Взрыватель шелкнул. Я взвился, как пружинная змея из банки.

— Почему Довлатов?! — вопил я, швыряя стаканы в унисон внутреннему голосу, который норовил заглушить меня грохочущим водопадом матюгов. — При чем здесь Довлатов!! Что знал ваш Довлатов?! Он родился на семь лет раньше, мог пройти еще в шестидесятые, было можно и легко — что он делал? груши и баклуши бил? А мне того просвета не было! Он Довлатов, а я Веллер, он не проходил пятым пунктом как еврей, ему не был уже этим закрыт ход в ленинградские газеты, и никто ему в редакциях не говорил: знаете, в этом номере у нас уже есть Айсберг, Вайсберг и Эйнштейн, так что, сами понимаете, не можем, подождем более удобного случая; ему не давали добрых советов отказаться от фамилии под «приличным» псевдонимом! Мать у него из театральных кругов, тетка старый редактор Совписа, литературные связи и знакомства со всеми на свете, у классика Веры Пановой он литсекретарствовал, друзья сидят в журналах! а у меня всех связей — узлы на шнурках! И всюду я заходил чужаком с парадного входа, откуда и выходил, и нигде слова замолвить было некому. Он пил как лошадь и нарывался на истории — я тихо сидел дома и занимался своим. Он портил перо херней в газетах, а я писал только свое. Он всю жизнь заботился о зарплате и получал ее — я жил на летние заработки, на пятьдесят копеек в день. Он хотел быть писателем — а я хотел питать лучшую короткую прозу на русском языке. Что и делал! торжествуяще завопил внутренний голос. И он приехал сюда на чистое место — сохранив питерскую прописку и жилье, взятый в штат республиканской газеты, сразу приняли две книги в издательстве, — а я отчалил с концами, влип в его след, годами доказывал, что я не верблюд, — и он провалил все, а я в конце концов издал

эту книгу! Которая в принципе — теперь уже можно не бояться сглазить! — выйти не могла! Читай: «Свободу не подарят!» «А вот те шиш!» Не могла! И вышла!

Павлина ранили стрелой. Дополнительным оскорблением воспринимался тот тонкий штрих, что Довлатову она досталась на пять лет моложе: и здесь я был как бы опережен и унижен. Жизнь — борьба, а не магазин ценных товаров! Мне подсунули биографию б/у.

То есть наши заочные отношения с Довлатовым превратились уже в некий поединок судеб и заслуг; и к моему совершенному бешенству публика из таллиннской русской творческой интеллигенции (такой русской, хучь в рабины отдавай: Скульская, Аграновская, Штейн, Тух, Рогинский, Малкиэль, Ольман и еще пара-тройка столь же отпетых славян; правы, правы были в ЦК — ишь свилось тут сионистское гнездо из недодавленных в Киевах и Ташкентах) — публика отдавала предпочтение в этом поединке ему. А вот он был им ближе: родственнее; понятнее. А вот он более импонировал, стало быть, их представлениям о настоящем писателе и литературе. Он пил, загуливал, язви́л окружающим и был своим. Будь проще, и люди к тебе потянутся. Я не пил, был вежлив, замкнут, а окружающих мало замечал. И никому не давал читать своих рукописей. Их мнение меня не интересовало: без надобности. Меня интересовало мнение истории. И то лишь в той мере, в какой оно совпадет с моим собственным.

По мере лет, как принято, добрея и глупея, я поддался успокоениям внутреннего голоса, что победил все-таки я, просто читатель у нас, возможно, разный. И еще одно: он был в ореоле запрета. В венце побежденного Рокком и Режимом. В нимбе гонимого. За победителя боги, побежденный любезен Катону. Я бы этому Катону прищемил дверь. И еще одно. Его тут не было. Была легенда о нем. А кто ж живой может соревноваться с легендой. И еще одно. Ах, ты много о себе мнишь? Так не мни много: вот Довлатов, он-то, понимаешь...

— Сергуня Довлатов, он-то, понимаешь, никаким диссидентом, никаким антисоветчиком не был, — объяснял

наш опять же общий приятель Ося Малкиэль, еще не съехавший на социал в Германию, еще макетчик и замответсекра «Молодежки», еще терроризировавший коллег любовной готовностью при малейшем несогласии провести хук правой в печень и прямой левой в челюсть. Ося знал все и затыкал всех, этих всех этому всему уча. Он не принадлежал к породе слушателей, зачисляя в нее всех видимых в зоне досягаемости, по причине несогласия с чем на дружеской пьянке довлатовская гражданская жена по Таллинну и мать довлатовской дочери Тамара Зибунова на правах хозяйки и именинницы после тысяча первого предупреждения треснула таки Осю бутылкой по голове, ибо во всех прочих способах прикрутить фонтан его красноречия уже отчаялись. Я был не в курсе. Ося пришел ко мне поболтать за чаем, небрежно пояснив повязку ранением в афганской поездке. Он был романтик.

— Вот у тебя, Мишка, выходят книжки, тебя приняли в Союз писателей, где-то там печатают, переводят... то есть ты добился статуса нормального советского писателя.

— Какой у нас статус, змеиное молоко, мы сами-то еле живы. И где мне этим статусом статусировать...

— Не скажи. Это все-таки. Официальная печать. Издаваться легче. То-се. Вот Сергуня хотел того же самого: просто писать, печататься, жить на литературные заработки, быть писателем. Но тебе, понимаешь, повезло, а ему вот нет.

— Мне — повезло? — взрыднул я. — Это кто ж такое оно, которое меня везло?

— Какая разница... И вот теперь он в Штатах, все его книги опубликованы, издает газету «Новый американец», известный американский русский писатель. Но там это... В общем, пишет, никому он там не нужен. Жалко его.

Я сидел не в Штатах, а в Эстонии, и тоже был никому на хрен не нужен, как, впрочем, и сейчас. Зеленовато-желтый и непривычно-миролюбивый, тихий Ося осторожно потрогал повязку. Бывают моменты, когда достает слеза: что бы ни делал человек в России, а все равно его жалко. И мои родственные отношения с Довлатовым при-

обрели вдруг сочувственный характер. Никому мы не нужны по обе стороны океана, и нет для нас другого глобуса.

Хотя Штаты были как раз другой планетой. Туда брали билет в один конец, прощались навсегда, и улетали, чтоб уже никогда не возвратиться на родную землю, как космонавты на Андромеду.

Это антиподство сыграло с нашими эмигрантами известную шутку. Кухонный вольнодумец — призвание экстерриториальное. Штаты были анти-СССР. Все, что здесь глупо и плохо, там было разумно и хорошо. Уезжантов допекло до невроза: здесь было плохо все — следовательно, там все было более-менее хорошо. Приписывая большевикам эксклюзивное право на все гадства мира, диссиденты тем самым возвеличивали их до бесконечной степени негативной гениальности. Обнаружив имманентность глупости и порока на другой планете, диссиденты впадали в свое естественное состояние — депрессию на кухне. Поистине, стоило влезать в торговлю камнями, ходить с вальтером-ПП подмышкой, трястись с контрабандными изумрудами через таможи, лететь в Штаты, чтобы в Денвере у газетного киоска напороться на однокурсника Юру Дымова, рассматривающего мою рожу над рассказом в журнале «Алеф», приходить в себя за бутылкой от сюрреализма ситуации, и ночью на его кухне выслушивать эти открытия.

— Вольному воля, — заключил Юра, разведя руками и кренясь с табуретки, как перегруженный альбатрос.

Воля моя пресловутая и мое открытие Америки настали гораздо раньше: когда я, в эйфории наглой безнаказанности, заказал с редакционного телефона Нью-Йорк, и через пятнадцать минут меня спокойно соединили с другой планетой: намертво невыездной, еврей беспартийный разведенный образование высшее безработный всю жизнь, я испытал нереальное, неземное чувство, уже забытое бывш. сов. людьми: чувство первого шага за границей... О... Хрен ли ваши цветущие яблони на Марсе. Кэптэн Блад очень любил как это? яблонь в цвету. Это очень романтишно... ха-ха!

— Слушаю, — ответил мрачный и сиповатый русский голос без всяких признаков американской гнусавости и картофельного пюре во рту.

— Сергей Донатович? — осведомился я.

— Совершенно верно.

— Эстония беспокоит. Таллинн.

— Хо-о! — сказал Довлатов.

— Такой русский журнал «Радуга».

— М-угу.

— Мы тут хотим напечатать ваши рассказы. В общем просто обязаны. Как-никак Таллинну вы человек не во все чужой.

— Уж как же!..

— Так если вы не против...

Ответ был в том духе, что не против. Кто б мог подумать.

— Чувствую, что у вас перестройка.

Я назвал. Он ответил, что слышал и читал. Это было приятно. Хотя неясно, чего он мог слышать и откуда читать. Я подрос в своих глазах. Все-таки он жил в Америке.

— Откуда у вас мой телефон? Хотя — у нас наверняка должны быть в Таллинне общие знакомые.

В Таллинне все знакомые — общие. На протяжении ста рублей (восемьдесят седьмого года) я рассказывал, как они (список см. выше) живут. Злорадно глядя на часы. Фирма заплатит. Наш главный с международного телефона не слезал, бешеные тыщи без звука списывались издательством как издержки международной поддержки Народному фронту в борьбе за независимость.

— Да, но возникает вопрос, как я перешлю вам тексты. У вас есть мои книги?

— Сергей Донатович...

— Просто Сергей.

Ну слава те Господи. Я с самим маршалом Фрагга разговаривал, не тебе чета, и тот с третьего раза велел: без званий и на ты, курсант. Я имел дело с интеллигентным человеком. Вопрос обращения по отчеству заслуживает отдельного социопсихолингвистического изучения. Русско-советское хамство начиналось с комсомольского

свойского «ты» и сквозь все слои и структуры общества восходило к публичному «тыканью» Генсека членам Политбюро. Но снизу вверх полагалось на «вы» и по отчеству. Это было самоутверждение холопов во князьях. У лакея свое представление о величии. В офицерском корпусе разграничивалось просто: на звездочку старше — «вы», на звездочку младше — «ты». В российском, даже купринском «Поединка» захоластном армейском полку — представьте «тыканье» штабс-капитана поручику. Среди «интеллигенции» задеивалось различие в должности и возрасте. К редактору, скажем, книги или публикации автор даже постарше и помаститее его обращался взаимно по отчеству. Автор моложе и немаститый отчества в ответ не получал. А уж в неформальном общении десять лет разницы казались старшему полным основанием обращаться к младшему по имени, слыша в ответ свое имя-отчество. Это вошло в естество, иное представлялось даже и странным, как бы искусственным, наигранным: обращаться по отчеству к младшему, пусть даже немного младшему, пусть даже под пятьдесят, если только он не был значительной, влиятельной фигурой. Это способствовало самоуважению старших. И не могло зачастую не унижать младших. Поразительно, что в «интеллигентах»-шестидесятниках почти поголовно отсутствует само ощущение того, что неравенством обращения он унижает собеседника, тем самым унижая некоторым плебейством манер себя. Хомо советикус.

— Ваши рукописи есть у Тамары Зибуновой. Если такую помните, — добавил я, тут же ощутив глупость своего комментария: не то укор мужскому равнодушию, не то комплимент донжуанству старого рубаки.

В трубке помолчали в веселой тональности.

— Как же, — согласился он. — Ну, тогда хорошо.

— Мы можем отобрать по своему усмотрению, или у вас есть пожелания?

— Пожалуйста — можете выбрать сами.

— Встает вопрос об оплате. С долларами здесь напряженка.

- Кажется, я еще помню.
- Но гонорар в рублях — гроши, конечно, полтора-ста за лист, — это дело святое.
- А вы это можете заплатить Тамаре?
- Без проблем.
- Нужно какое-то письмо от меня, доверенность?
- Ничего. Так сделаем. Никаких сложностей.
- Прекрасно.
- Когда мы отберем — я вам позвоню. Через недельку.
- Буду очень рад. И вообще звоните. Да... немало воспоминаний с Таллинном связано.

Мы расшаркались с нежными нотами в голосе.

Здесь полагается расписать, что идея печатать Довлатова принадлежала всецело мне одному: восстановление справедливости, отдать долг прошлому, братское сочувствие, возвращение большого писателя; тому подобное. У успеха много отцов. Нет: идея была не моя, ее родили редакционные дамы, а я так, сбоку сидел. Гордо заведовал отделом русской литературы, состоящим из меня одного. В этом есть свои преимущества: когда хоть где-то русская литература состоит из тебя одного. Хотя, если знакомые, большого ума благородные доны, желая отрекомендовать меня лестным образом, представляли как «лучшего русского писателя Эстонии», мне оставалось только раздраженно пояснять, что, конечно, в любой луже есть гад, между иными гадами иройский.

Вообще журналчик «Радуга» мог издавать один человек, по первым понедельникам месяца, перед обедом, под холодную закуску. Но редакционные дамы, как свойственно всем дамам, ставшим редакционными, пили кофе и строили интриги в убеждении, что коллектив работает напряженно, а штат явно неполон. Занять каждого своим делом, чтоб ему было некогда соваться в чужие, удалось только Фигаро, и то ненадолго.

Жизнь «Радуги» — отдельный роман. Впрочем, все есть роман — при наличии у автора ассоциативного мышления. Условием чего служит вообще наличие у автора мышления. Достопамятные дискуссии о смерти романа ошарашивают.

вали безмозглостью. Ежли роман — зеркало, с которым идешь по большой дороге, — то ли дороги укоротились, то ли ножки у дискуссантов ослабли, то ли слабая ленинская теория зеркального отражения трещину дала.

То мог быть роман о ячейке Народного фронта, который привел Эстонию к независимости, а своих зачинщиков, творческую интеллигенцию, к помойке. Что роман — эпическая трилогия! И жизнь каждого сотрудника — тоже роман, философский, энциклопедический, сентиментальный и местами матерный. Психологический триллер о том, как схарчили замглавного редактора. Сага о художнике, заболевшем аллергией на все виды красок, лечившемся год, не вняв знаку Господню, и упрямо продолжившем свою богопротивную деятельность. Или как собрали десяток идиотов, страдающих профессиональной непригодностью во всех областях занятий, и поэтому часто их меняющих, что должно было компенсироваться недержанием речи и синдромом реформаторства на фоне вялотекущей шизофрении, и объединили их в демократический дискуссионный клуб прогрессивной русской интеллигенции. Клуб дискутировал по четвергам, и головная боль у меня проходила к вечеру субботы.

Но по легенде, которая всегда совершеннее действительности, Довлатов уже написал подобный роман. О том, как он работал в ленинградском «Костре». По этой легенде роман назывался «Мой „Костер“». Раз в неделю, в ночь на субботу, его поглавно читали по «Свободе». Главы назывались: «Корректор»; «Завпоэзией»; «Ответственный секретарь». Произведение было лаконичным и сильным. Довлатов отличался наблюдательностью и юмористическим складом ума, поэтому каждый понедельник прославленного в свой черед сотрудника редакции вызывали на Литейный и после непродолжительной беседы увольняли с треском. Редакция бросила работать. Всю неделю с дрожью ждали очередной передачи, а в субботу, нервно куря и закусывая водку валидолом, крутили приемники, чтобы узнать, кто из них приговорен к казни на этот понедельник. Русская рулетка. Ряды редели. Смертельный удар был

нанесен главой «Жратва». Редакция помещалась недалеко от Смольного, и в качестве органа Обкома комсомола обедала в смольнинской столовой. Не в том зале, конечно, где боссы, и не в том, где инструкторы, и не в том, где машинистки, а вместе с шоферами и наружной охраной, но все равно — кормушка святая святых, экологически чистые деликатесы по дешевке, закрыто для простого народа. Довлатов описал столовую.

В следующий понедельник редакцию навсегда открепили от столовой Смольного. Ненависть к Довлатову, запивающему сейчас бигмаки кока-колой, достигла смертельной степени и приобрела священный классовый характер. Можно простить увольнение отца, но не потерю спецраспределителя.

Однако по прошествии лет, утечении вод и перемене масок и декораций явствует из довлатовской деятельности в «Костре» совсем другая история, закулисная, непреложно реальная и неизбежно умолчанная. Достаточно перечитать главу «Костер» из книги «Ремесло». Пригласил его Воскобойников. Позднее выяснилось, что мягкохарактерный Воскобойников работал на ГБ. Довлатов прав в догадках: в журнал обкома комсомола никаким образом не могли взять человека с нечистой анкетой, беспартийного, без круто волосатой лапы, обратившего на себя внимание конторы в связи с политическим процессом, автора сочтенных неблагонадежными рукописей, уволенного по указанию ГБ из газеты, книгу приказали рассыпать, сам под колпаком. Лишь тот, кто ничего не знает о структуре и системе информации и надзора за печатью и функциях отдела кадров, может думать иначе; для прочих сограждан это однозначно, как штемпель в паспорте. Замазанного человека возьмут только с каким-то умыслом. Теоретически первое — сотрудничество, на которое дается номинальное согласие. Зачем осторожнейшему лояльнейшему Воскобойникову такой подчиненный? После скандала в Таллинне? А вот пред патроном надо изображать деятельность: привлечение новых лиц, расширение сферы работы. Патрон требует; от патрона

только такая инициатива и могла исходить. Второе, что вероятнее: Довлатов мог быть полезен как источник информации и связей в среде ленинградской «диссидентствующей» творческой интеллигенции. Нехай будет под присмотром, поближе к глазу Большого Брата. Об этом его и извещать не надо. В любом случае объективно оказался совершен неплохой и даже добрый поступок, в чем вполне можно с Довлатовым согласиться.

С ним вообще трудно не соглашаться, таков был характер его дарования. Он не написал, в некотором смысле, ничего спорного. Все просто и внятно. А если ты с чем-то все-таки не соглашался, легко соглашался он. По жизни он был миролюбивый человек. Я тоже.

И когда я стал редактировать его рассказы, несогласие вызвали только два места... Тут паленая-драная память срывается с веревки: редактирование — это поэма особая, о тридцати трех песнях, девяносто девяти сценах. Моя любимая сцена в советском редактировании — это когда классик советской литературы и знатный алкоголик-миллионер — нет, не Шолохов, но Федор Панферов тоже ничего — был наряжен руководить Всесоюзным совещанием редакторов. Открытие имело произойти в десять утра в большом зале Дома литераторов. В десять редакторы празднично расселись. Они не были классиками, а многие из них не были алкоголиками, многие вообще съехались из провинций на халявное столичное удовольствие, чего ж им в десять не рассестись. Но Панферов, повторяю, как хорошо было известно всем его знавшим, в десять утра если и садился, так только с целью принять стопарь на опохмел, жалобно выматериться и лечь обратно. Итак, ждут. Ждут... И в самом деле, к одиннадцати появляется Панферов. Недоопохмелившийся и недополежавший. Злой, как цепная сука. Транспортируют его под руки из-за кулис, как адскую машину на взводе, и устанавливают на трибуне. Кладут перед микрофоном текст приветственного слова. Панферов икает, отпивает воды, текстом вытирает губы, потом потный лоб, потом сморкается в него и убирает в карман. С бычьей ненавистью

смотрит в зал. И, наконец, тяжело произносит:

— Всех редакторов... я бы перевешал, как шелудивых собак! Но... поскольку это не в моих силах... пока... особенно сейчас... ох... Всесоюзное совещание редакторов объявляю открытым! вашу мать...

Когда первый автор после моего редактирования заплакал, я с этим делом завязал. Исправлял лишь редкие явные огрехи — с согласия. Над самим всю жизнь измывались — фиг ли теперь самому других мучить. Ссылки на учебник русского языка меня бесят. А откуда, интересно, взялись в академической грамматике все ее правила? Очень просто: кто-то взял и вставил. На основе уже существовавших ранее текстов. Спасибо за усреднение и нивелировку. Зачем я должен доказывать скудоумным, что синтаксис есть графическое обозначение интонации, коя есть акустическое обозначение семантических оттенков фразы, а нюансы-то смысла и возможно на письме передать лишь индивидуальной, каждый раз со своей собственной задачей, пунктуацией? Ученого учить — только портить. Я понимаю, что редактору сладка властная причастность к процессу творчества, он рьяно отстаивает в этом смысл и оправдание своей жизни. Так пусть не самоутверждается за счет моего текста. По законам, понимаешь, современной аэродинамики шмель летать не может. Не должен, падла, летать! А он летает... сука насекомая неграмотная. Так не умеешь летать сам — не мешай шмелю. Не учи отца делать детей. Я себе заказал типографский штамп, и теперь шлепаю его на все рукописи: «Публикация при любом изменении текста запрещена!». Хотя лучше шлепать в лоб. Что по лбу.

Поэтому Довлатова я «редактировал» мягко. Я позволил, обсудил разницу в климатических и временных поясах, потребительскую ситуацию и политические прогнозы, и перешел:

— Тут у вас написано: «шестидесятизарядный АКМ».

— Гм, — выжидательно произнес Довлатов.

— У калашникова магазин на тридцать патронов. Шестидесятизарядных магазинов к автомату нет. Это в Афгане стали связывать изолентой два рожка валетом, для

скорости перезаряжания. Но это нештатная модернизация, в армии запрещено. Возможно, дело просто в том, что наряд получает по два рожка с боевыми патронами, всего шестьдесят штук: один рожок примкнут, второй в подсумке. Но автомат все-таки тридцатизарядный.

— Гм. Возможно. Знаете, это так давно все было... я мог уже и забыть. Пусть будет тридцатизарядный. Хорошо.

Я чувствовал свою бестактность. Все-таки в охранных войсках служил он, а не я. От неловкости был многословным: падла-редактор как бы оправдывался.

— Дальше, — спросил Довлатов без излишней приветливости.

— Второе и последнее, — поспешил заверить я, и готовно добавил: — Здесь я не буду настаивать. Понимаете, ненормативная лексика — вещь такая, спорная... Но мне кажется, что слово «гондон» правильное писать через «о», а не через «а». Как бы образование разговорного просторечия по аналогии литературному «кондом», который через «о». Это, конечно, дело слуха, в препозиции стоит редуцированный, но в принципе формальное расподобление при сохранении внутренней семантики идет именно по такому пути...

Я наворачивал все, что помнил из филологической терминологии. Я старался выглядеть сильно ученым и не сильно заразой.

— Возможно вы правы, — с веселым добродушием прогудел Довлатов, и я представил, как в Нью-Йорке ранним утром он задумывается над нюансировкой правописания русских ругательств.

— Это все, — поздравил я его со своим либерализмом. — Больше у меня никаких вопросов нет, текст идет в полной неприкосновенности.

— Прекрасно. Когда выйдет?

— В первом номере за восемьдесят восьмой год. Несколько экземпляров я вам пришлю.

— Да, спасибо, я хотел попросить, интересно все-таки. Где тут достанешь, ваш журнал как-то не доходит пока до нас.

И рассказы благополучно вышли, и еще на телефонный столик я поздравил его с первой, легка беда начало, публикацией на бывшей родине, и отправил пяток экземпляров, приложив к ним из тщеславия, узаконенного профессиональной этикой, собственную книжку, снабдив ее надписью, составленной из всяких хороших слов, насчет читателя-почитателя и младшего последователя по эстонскому маршруту.

Дарение авторами своих книг сродни гордости курицы за собственноразно снесенное яйцо. Не бог весть какое достижение, зато лично мое, сказал полковник. Обычно тебе дарят, а ты думаешь, на кой черт, все равно читать незачем: сам бы никогда не купил. А не дарят — легкое унижение: обошли знаком почтения, вроде и не по чину на тебя, дурака, добро тратить. Когда мне говорят за мою книжку «спасибо», мне чудится фальшь ситуации: тоже, восьмитомник Шекспира с золотым обрезом. Я зря похаял редакторов: один меня поучил. Издательство у нас большое, сказал он, а квартира у меня маленькая, и я раз в год чищу библиотеку: выношу всякий дареный мусор на помойку. После этого я выкинул почти все дарственные книги, а последующие перестал носить в дом, выкидывая непосредственно по расставании с дарителем. Особенно мне памятно выкидывание в Бильбао: я подарил переводчику свою книжку, маленькую, легкую и хорошую, на понятном ему русском, а он мне — двухтомник своих переводов: огромный, тяжелый, из авторов, которых я и по-русски читать не стал, и на испанском. Час по сорокаградусному солнцепеку я таскал и проклинал эти два кирпича: их было некуда выкинуть. В Бильбао нет урн — баскские террористы любили подкладывать в них мины: на злоумышленника, пытающегося где-то оставить какой-то предмет, смотрят бдительно и враждебно. Я специально зашел в кафе, взял холодного вина, сосредоточенно листал, попивая, и еле смылся.

Присланную в ответ Довлатовым его книжку «Не только Бродский» я, в числе немногих раритетов, выкидывать не стал. Он переслал ее с оказией в пакете мелких благодар-

ственных презентов редакции. Позднее выяснилось, это была не единственная форма реакции. Тогда я впервые и увидел швейцарский офицерский нож, который тут же принес пользу в открывании бутылок и нарезании колбасы.

Характер у меня легкий, зато рука тяжелая. В смысле наоборот. Как это по-русски?.. Сам себя не похвалишь — ходишь как оплеванный. Потому что Довлатова стали потом печатать в Союзе все наперебой. Конечно, после этого не означает вследствие этого, с юстиниановым правом мы тоже знакомились не по Гегелю, но кто-то должен был прокукарекать первым: рассветало с запада, вот уж кретинская метафора. После чего завохтели наперебой. «Иностранка» и «Звезда», «Октябрь» и «Литературка»; его классифицировали как блестящего писателя, одного из лучших писателей, лучшим писателем русского зарубежья в конце концов называли. Одновременно лучшими были объявлены: Горенштейн, Войнович, Максимов, Севела, Тополь с Незнамским и Незнамский без Тополя, Аксенов, Лимонов, Владимов и примкнувший к ним Зиновьев... память слабеет, но кучка была могуча. Стране открывали ее героев, и каждый был самый.

Привычка грамотного человека к чтению часто есть форма мазохизма. Критика меня влечет. Одна из целей критики — заставить читателя усомниться в своих умственных способностях. Я усомнился и стал читать Довлатова и пришел к выводу, что такую прозу можно писать погонными километрами. Мне есть очень мало дела до всего вашего семейства, сказал Коменж. У всяк своя компания, чего читать, тут и свои друзья осточертели. Я уже читал в детстве такую книжку, она называлась «Где я был и что я видел». Где ты был, ничего ты не увидел, хрен с тобой. Дали боги дожить, и стало спартанцам не до чужих бед, своих хватит.

В числе многого, чего я лишен, мне не дано постичь прелесть и смысл салонной жизни. Убожество «внутрилитературной тематики» во вторичности предлагаемого к потреблению продукта: если литература — производная от жизни, то разговоры о ней — производная от литературы.

Пресловутое «литературное общение» есть поза подмены деятельности суетой: казаться вместо быть; форма паразитирования при искусстве; род субкультуры для причастных к клану. Хотя также — способ устройства своих дел: маркетинг и реклама — тоже нужны... но надобно ж и разграничивать. Представьте Дон-Жуана проводящим ночи в попойках с друзьями за философскими обсуждениями женских подробностей и особенностей и подчеркиванием роли своей личности в мировой сексуальной революции, а по бабам ходящего в редкие просветы свободного времени и протрезвления. Вот и у пчелок с бабочками то же самое.

Хочешь писать — сиди пиши. Хочешь печататься — расшибайся в лепешку печатайся. А вот если кто хочет именно быть писателем — то есть выступать перед читателями, не ходить на службу, жить на гонорары, захакивать в редакции на чай и коньяк, ездить по миру, вести беседы в домах творчества, прокуренные ночи рассуждать с коллегами о проблемах литературы, небрежно доставать из кармана писательский билет — провались он пропадом со своей обгорелой тетрадкой и сушёной розой. Ущемленное самолюбие и знак причастности к литературному процессу. Пар в свисток — сублимация: почему же почему так обрезали ему.

Примерно такой оценкой творчества Довлатова, понижая голос, с опасливым недоумением, в светских выражениях, я поделился с его старинным другом Лурье. Лурье большой скептик. Особенно по части литературных репутаций. Он пессимист. Когда штат «Невы» сократят до одного человека, а помещение — до одного чулана, там будет сидеть Лурье, иронично блестеть лысиной и очками, с язвительным обаянием врать по телефону, издеваться над завалившими стол и стены рукописями и жаловаться на жизнь.

— Господи, да конечно все это полная ..., — радостно сказал Лурье. — Ну, сделали имя, играют в эти игры, сами, понимаете, в это нисколько, конечно, не верят, а если кто и верит — так это уже просто полные Мы-то с вами прекрасно понимаем, что никакая это не

литература, разная, понимаете, ... о своей жизни, так кто из нас не может бесконечно писать таких историй.

Опять же есть у кого остановиться в Нью-Йорке, выступить по «Свободе», получить за это какие-то доллары, — так надо ж быть свиньей, чтобы не отблагодарить человека. Заодно и оправдание командировки.

Но жизнь менялась стремительно, и литература менялась вместе с ней. Представления о литературе профессиональных критиков, как и полагается, менялись последними или не менялись вообще. И когда умный и образованный Вик. Ерофеев публично констатировал конец советской литературы — это было подхвачено, но не понято.

С литературы спали функции философии, социологии, журналистики, глашатайства, и чего угодно — как с самолета сбрасываются подвесные баки, и в измененной аэродинамике он теряет стабилизацию полета. Оказывается, подвесной бак составлял его большую и главную часть. Произошла литературная паника. Гвардейская королевская рота обнаружила себя голой. Она запела со святыми упокой литературе, на что хотелось утешить: умерла — закопаем.

Книг стало больше, а читать нечего. Фо хум хау. В круговороте крушения Империи русская литература тоже вступила в рыночную схватку между формой и содержанием, и этот базарный мордобой содержание выиграло безоговорочно. Это победа материала над отношением к нему автора. Руки над перчаткой. Победа безусловных фактов над условностью их изложения.

А ведь вся художественность формы — именно и есть авторское отношение. Хитромудрая композиция, пейзажные красоты и аллегории, извивы духовных бездн, стилистическая изысканность и философические размышления — понадобились читателю во вторую очередь, а большинству и вовсе не понадобились, ибо даже соловей, по справедливому замечанию классика, поет оттого, что жрать хочет. Ему возразили, что соловей хочет размножаться, на что был бездушный ответ, что не пожрешь — не размножишься. Когда читателю нечего жрать, он бро-

сает размножаться, что мы и наблюдаем: это безусловные факты.

Рафинэ не в кайф сечь, что сочинительство, беллетристика, фикшен — еще не исчерпывает литературы и даже не является главным, основополагающим и исконным в ней. Основа прозы — факт. Основа поэзии — чувство. Великие события и великие чувства лежат в основе литературы. «Илиада» — это отчет художника об экспедиционной кампании героев. «Улисс» — это отчет художника об одном дне из жизни микроба. Джойс объемнее и эстетически богаче Гомера. Всем изощренным арсеналом наработанных средств литература въелась в маленького человека: он тоже — глубок! интересен! велик! герой! Да: но тоже. Двести лет назад обращение к маленькому человеку и обыденному событию было открытием, поворотом, актом справедливости. Подзорную трубу повернули другим концом: какое богатство мелкой флоры и фауны! вот на каком уровне, оказывается, заложено бытие! И Акакий Акакиевич заслонил Вещего Олега, а чаепитие заглушило грохот сражений. Наступил новый этап.

На этом этапе литературе рекомендовали обыденность: персонажей и событий, чувств и языка. А в чем искусство? А в сознании тонкой системы многозначных условностей, в том вкусе и красоте изложения, которые базируются на овладении традицией.

Началось внутрисебясамопереваривание: в замкнутом ограничении пространстве предметом литературы стало развитие литературных средств. Что естественно привело к внутрисебясамопотреблению. Ах, как это написано: новое слово. Об чем слово-то, граждане? Белого Дракона все одно не переплюнешь.

Верните мяч в игру, вздохнул старый авантюрист. Вы можете конгениально и сверхискусно изображать теннис без мяча сколько угодно, но на Кубке Дэвиса вас не поймут. Это ваши личные игры в бисер.

Героев, стр-расти, простоту и сенсационный материал оставили масскультуре: ваш телескоп примитивен, у нас свой микроскоп.

То есть, как существует наука чистая и прикладная, образовались литература чистая и литература прикладная: одна для профессионалов, другая для всех потребителей.

А про чего всегда влекло человека узнавать? Великие герои и отъявленные злодеи, грандиозные катастрофы и необычайные приключения, любовь и преступление, тайны государства и тайны мироздания. Это стало достоянием массовой литературы. Но коммерческий успех книги об этом еще не свидетельство ее художественной неполноценности. В вину ей ставят: а) она привлекает своим материалом, а не художественностью; б) она вообще нехудожественна, т.е. арсенал средств изложения не оригинален и беден. Ты не из нашей корзинки, дешевка.

Говоря об истории литературы, наука признает шванк, фацетию, анекдот, хронику, сагу. Говоря о современной литературе, наука обязательным ее условием ставит выдуманность и соблюдение условных критериев «искусства». Не поступимся принципами. Тем хуже для «науки». Если можно таковой счесть критику. Об этой критике кратко и исчерпывающе сказал Денис Горелов. Жму ему руку через разделяющую нас госграницу.

Критик должен быть готов и способен в любой момент и по первому требованию занять место критикуемого им и выполнять его дело продуктивно и компетентно; в противном случае критика превращается в наглуемую самодвлеющую силу и становится тормозом на пути культурного прогресса. Если вам нравится сентенция, получите и автора: доктор Йозеф Геббельс.

Где Трифонов? Где Рыбаков? Где Гроссман? Где Айтматов? Какие люди были, блин, какое время было, что ты. Дети, крепитесь, с вашим дядей Авелем произошло несчастье.

А бестселлерами с лотков идут справочники по оружию, флоту, авиации, танкам, что делать в постели и как нажить деньги, биографии великих, история по Гумилеву, война по Суворову и золото партии по Буничу. Ближе к жизни, ребята! По этой причине «Новый мир» печатал

«Одлян» и «Желтых королей»: чего там в жизни делается? да скажите вы просто и внятно; а без вашего эстетического отношения к словесности мы обойдемся. Гений успеха Радзинский: книга об убиении царской семьи. Муза успеха Васильева: книга о «кремлевских женах».

Солженицын написал великую книгу — «Архипелаг „ГУЛАГ“». Все прочее им написанное не стоит выделенного яйца и стало никому не нужно и не интересно раньше, чем кончило печататься. Шаламов был лучшим писателем, чем автор «Одного дня Ивана Денисовича». Из того, что «Архипелаг» не соответствует канону художественной литературы, явствует условность и ограниченность канона. Читателю, искусству и истории плевать на каноны. Они меняются.

И сейчас канон меняется на наших глазах. Обычное дело. Часть «масслитературы» канонизируется в «элитлитературу». Нормально. Подпитка. Высоцкий. Жванецкий. Живая жизнь. Тоже было: «низкий жанр».

Да что: Пикуль остался, и Штирлиц остался, и уже второе поколение читает и цитирует «фантастов» (низкий жанр!) Стругацких — и хоть бы одна зараза ради разнообразия призналась, что выросла на Леониде Леонове.

А театры плачут по зрителю и ставят «Филумену Мартурано». Кто такая филумена? кому она что мартурано? Поставьте пьесу, трагедию поставьте, про Героя Советского Союза Руцкого в разносимом танковыми пушками парламенте России! про превращение затурканного интеллигента в главвора страны! про карьеру искусствоведа на панели! Нет: на изюм получите педерастическую версию классики: шарман, шарман! Не хотите? Тогда Пинштейн из Мексики или как его там будет кормить народ мыльной оперой «Просто богатая рабыня» или как ее там: он бездарен и умен, а вы талантливы и глупы. А у народа потребности.

Когда мужик не Блюхера и не милорда глупого, а весь союз писателей по кочкам понесет? Фантастика — не литература, дамский роман — не литература, уж Теккерей забыт, а Шерлок Холмс им все детектив, а не литература. Им

бы, умным, что-нибудь такое около эколо. Как в ересь, в неслыханную простоту, которая грешнее воровства. И вот с незамысловатым юмором автобиография конечно читается интересней все-таки Нарбиковой или Харитоновой с их онанистическими потугами на мудрую эдакость ни об чем и об всем на свете. Ну что ты, говорит, Левушка, конечно Довлатов лучше. Тут он трах ее дубиной по лбу! И с тех пор во всем полагался на ее литературное мнение.

И я положился на литературное мнение Довлатова, с которым меня эстетически, так сказать, примирил Вик. Ерофеев. В глазах коллег у Вика Ерофеева должны быть два гадских порока: он много знает и много понимает. А кто ж, батюшка мой, любит того, кто его умней. А поскольку знаменитость под пером собеседника предстает умной в меру разумения этого самого собеседника, то в «Огоньке» в беседе с Виком Ерофеевым в рубрике «Поверх барьеров» Довлатов предстал умным, а также честным и невеселым.

— Я свое место знаю, — сказал усталый и битый Довлатов. — Я — эмигрантский русский писатель в Америке; не из первых; но и не из последних. Где-то посередине. Есть высший класс в литературе — это сочинительство: создание новых, собственных миров и героев. И есть еще класс как бы попроще, пониже сортом — описательство, рассказывание — того, что было в жизни. Вот писателем в первом смысле я никогда не был — я бы назвал себя рассказывателем.

Это было сказано с достоинством и скромно. Слава уже пришла.

Я ожидал услышать (прочесть) иной ответ. И впервые ощутил к нему нотку печальной любви. Я был тогда сто-процентно согласен с такой самооценкой. А сейчас согласен чуть больше — в сторону увеличения. Мне это понравилось до чрезвычайности.

Я хранил эту любовь года два. Особенно она увеличилась, когда Довлатов уже ушел... Пока однажды зимой не позвонил из Ленинграда приятель с радостной новостью:

— Здорово. Как живешь?

— Ага. Сегодня я тоже подстригал мои розы.

— Тут, значит, выходит у нас такая многотиражка, «Петербургский литератор».

— Слышал. Так что?

— Вот тут у меня последний номер... Не видел?

— Откуда.

— Весь посвящен Довлатову. Разные там его письма, воспоминания о нем и прочая муть.

— Ну.

— Про тебя тут тоже есть.

— Забавно. Польщен. В связи с чем, собственно?

— Хочешь послушать? Сейчас... Вот:

«Что делается с сов. литературой? У нас тут прогремел некий М. Веллер из Таллинна, бывший ленинградец. Я купил его книгу, начал читать и на первых трех страницах обнаружил: „Он пах духами“ (вместо „пахнул“), „продляет“ (вместо „продлевает“), „Трубка, коя в лавке стоит 30 рублей, и так далее“ (вместо „коия“, а еще лучше — „которая“), „снизошел со своего Олимпа“ (вместо „снизошел до“). Что это значит? Куда ты смотришь?..

= Ваш С. Довлатов».

— Что скажешь? — спросил приятель.

— Экая скотина был покойник, — сказал я.

— Письма к Арьеву.

— Лучше бы он купил себе словарь.

— А зачем? Так интереснее. Да послушай соседний абзац:

«Посылаю тебе две копии — во-первых, из хвостовства, а во-вторых (я как-то отвлекся и ушел в сторону) — как материал для твоей обо мне заметки, коя меня заранее радует...» Вот тебе твоя коя трубка и его коя заметка. Вы вообще знакомы были? Ты ему что, чем-то насолил?

К тому времени господин Мольер имел полную возможность убедиться, что слава выглядит совсем не так, как ее обычно себе представляют, а выражается преимущественно в безудержной ругани на всех углах.

— Насолил... — сказал я, скрывая огорчение. — Первым напечатал в «Радуге».

— А. Так тогда понятно, что ж ты хочешь. Ни одно

доброе дело не бывает безнаказанным. Про «Радугу» тут тоже есть... в соседнем письме:

«У меня есть ощущение, и даже уверенность, что в СССР скоро начнут печатать эмигрантов... — так, — Я ждал 25 лет, готов ждать еще... — Вот: — Но если да, то возникают (уже возникли, например, в таллиннской „Радуге“) проблемы». Что за проблемы-то?

— Правописание слова «гондон», — сказал я. — Интересно, там даты нет на письме?

— Про «Радугу» — 2-е декабря 88-го года.

— Ощущение и уверенность у него возникли после моего звонка, что мы его в первом номере печатаем.

— Информация — основа интуиции.

— А про трубку?

— Минутку... 13-е мая 89-го.

— Покупатель. Книгу он купил. Библиофил. Эту книгу я ему сам послал.

— Поздравляю, — сказал приятель. — На хрена?

— Да вместе с журналами, где были его рассказы.

— А вот меньше надо выпендриваться и раздаривать свои книги. Он ведь хотел получить напечатанными свои рассказы, а вовсе не твои.

Подобный неожиданный привет из другого измерения может на полчаса подорвать веру в людей, если у кого есть вера в людей. Я вытащил с полки «Не только Бродского» и прочитал: «Михаилу Веллеру с уважением и благодарностью. С. Довлатов. 2/5/89. Нью-Йорк».

Летом в Ленинграде я позвонил Арьеву. Мы не были знакомы. Таким образом, нас познакомил Довлатов. Не могу сказать, с какой целью я звонил. Тем более этого понять не мог Арьев.

— Вы хотите напечатать опровержение? — спросил он.

У меня все-таки хватило ума ответить:

— Упаси меня Боже дискутировать с умершим. Просто я вижу сомнительную ему услугу в публикации этого письма.

— Понимаете, у него иногда было довольно своеобразное чувство юмора, — объяснил Арьев мягко. — Здесь содержится такая некая ирония.

— Я попытаюсь понять, — пообещал я. Ирония — оно конечно.

Арьев оказался приятным и скромным человеком и наблюдательным критиком. Из одной его статьи я узнал, что в сочинениях Довлатова все слова во фразе обязательно начинаются с разных букв. И никогда еще ни один литературовед не делал замечания более верного. Можете проверить. Я не знаю, какой смысл в этой особенности, но за ней, видимо, таится большая скрытая работа, являя посвященному за внешней простотой свидетельство настоящего искусства. Правда, все фразы очень короткие.

Если обратиться к литературным аналогиям, это более всего напоминает искусство лейтенанта Шайскопфа из «Уловки-22». Огромной и скрытой работой он добился от кадет своей роты церемониального шага с руками, неподвижно прижатыми к бокам. И когда на параде изумленное невиданным зрелищем командование вопросительно воззрилось на Шайскопфа, он звенящим от торжества голосом известил:

— Смотрите, полковник! Они не машут руками!

Продолжение этой истории одной лошади было вполне в духе довлатовских произведений. Годом спустя я обсуждал с художником оформление книжки «Легенды Невского проспекта».

— На заднюю сторонку обложки дадим выброски, — решил художник. Он любил и умел делать прекрасные гравюры на заглавие, в общем самоценные, а в остальном предпочитал идти по кратчайшей линии наименьшего сопротивления. И подкрепил позицию заботой о моей пользе: — Книга должна выглядеть рекламисто. У тебя есть всякие там рецензии о тебе?

Он унес папку с вырезками и через неделю ознакомил меня с эскизом.

Верхняя из четырех беспощадных цитат гласила:

«У нас тут прогремел М. Веллер из Таллинна, бывший ленинградец. — С. Довлатов. Нью-Йорк». Угадайте, чья фамилия была обведена скорбной рамочкой.

— Ну как? — довольно спросил он.

— Слушай, — сказал я, — там, вроде, было еще одно слово, в оригинале. Дай-ка поглядеть... вот: «некий М. Веллер».

— Не просто чекой, — сказал художник. — Я понимаю. Вышеупомянутой чекой. Отзынь. Мы не в армии, ты не сержант.

Художники требуют подхода. Я налил и рассказал историю.

Художник выслушал историю и пришел в негодование.

— Что значит — «некий»? Ху из ху! Какого хрена? Во-первых, он отлично знал, кто некий, а кто какой. Во-вторых, справедливость должна торжествовать. В-третьих, Довлатов тоже ленинградец, на ленинградской книге это очень уместно: я долго думал. В-четвертых, с паршивой овцы хоть шерсти клок. Отходы — в производство. В-пятых, он бы оценил, я думаю, изящество ситуации.

Он задумался и заржал. За пределами искусства все художники циники.

Я тоже задумался, но ржать не стал. Я люблю циников. Я сам циник. А циники сентиментальны.

Меня вдруг, что называется, пронзила печаль. Я представил ощущения Довлатова, писавшего это письмо. Чужой в Америке. Без языка. Эмигрантский круг. Признание на родине еще не пришло. А кто-то, моложе, приехал после него из того же Ленинграда в тот же Таллинн, и издал книги, печатается, принят в СП, удачливый ловкач, и звонит ему в Нью-Йорк, и публикует его в таллиннском журнале, и пьет с его бывшими друзьями, откуда взялся, стал там своим, и посылает свою книжку, вышедшую в издательстве, где двенадцать лет назад, в прошлой неудавшейся жизни, должны были издать его... — так мало того, еще и в Нью-Йорке, в его теперешних кругах, этот самый еще и чего-то прогремел... Все мы все понимаем, а все-таки горько бывает, господа...

О покойниках — правду или ничего. Если кто что-то значил в твоей жизни, ты продолжаешь относиться

к нему как к живому, просто отсутствующему. Продолжаешь говорить о нем как и раньше, и шутить, и разговаривать с ним, и спорить. Только он уже не скажет тебе ничего нового. Поэтому оставлять за собой последнее слово в споре с тем, кто уже не сможет возразить, нехорошо.

Черт. Я оставил за собой последнее слово. И ржать мне тут было нечего.

Но я зря так надеялся. Случай оказался не тот. У меня был когда-то рассказ, где покойник на похоронах последнее слово оставляет за собой.

И тут ведь последнее слово осталось за ним!

Говорю недавно по телефону с Генисом. Лотман-Букер, Таллинн-Нью-Йорк, ля-ля — шарк-шарк, общие знакомые: узкий круг и тонкий слой. Довлатов!

— Мы с Сережей были близкие друзья.

— Вот как.

— Он мне о вас говорил. Очень высоко отзывался.

— Гм? Не знал.

— Да, причем чтобы Довлатов, который очень редко, почти никогда не отзывался хорошо о прочитанных вещах, знаете...

— М-угу...

— А вы не читали, в газете «Литератор» опубликовано его письмо Дару? он вас там очень хвалит, просто очень.

— Дару? — опасливо переспросил я. — Нет... не знаю. Я знаю было опубликовано письмо Арьеву, где он обо мне упоминал.

— Нет, Дару. Вы знаете, есть такой — Дар?

— М-м, слышал, конечно.

— И вот там, в «Литераторе»...

— В каком «Литераторе»? Есть «Петербургский литератор» (если он еще выходит, они ведь в Питере погорели всем домом), был «Московский литератор»...

Мою реакцию на сообщение можно было назвать непритворной заинтересованностью.

— Ей-Богу точнее не помню, мне недавно привезли из России чемодан литературы, еще не все в картотеке рассортировано.

Слышимость с Нью-Йорком отличная, но вразумительности не прибавляла: я подозревал игру в испорченный телефон. Уточнил:

— Давно это было?

— Н-не помню точно...

— Года два назад?

— Не-ет. Месяца два-три.

Такие дела. Я тщился уяснить: новый поворот, мотор не ревет... еле лапками колышет: сдох. Свет погасшей звезды. Клевещешь, Перси, на него: клевещешь! Но представляю мнение Гениса о моем взыгравшем тщеславии после этого занудства.

На этой новости мы и распрощались, два иностранца, два русских литератора еврейской национальности и нероссийского местожительства.

— Тере-тере, — сказал он.

— Бай-бай, — сказал я.

Иностранцем становишься постепенно.

Постепенно перестаешь обращать внимание на мелочи: что автобусы почище и в них не толкаются, что улицу переходят только на зеленый, что при этом идущая с поворота машина всегда тебя пропускает, а давая тебе дорогу на «зебре» тормозит трамвай, что все спокойные и нигде не лезут без очереди; привыкаешь в такси здороваться с шофером, привыкаешь к сдержанности общения и к пунктуальности встреч, что новогодние елки ставят чуть раньше, на римское Рождество, с ним можно поздравить, сделать подарок; привыкаешь к климату: погода бывает разная; привыкаешь, что в гостях не кормят обедом, что часто слышишь нерусскую речь, что вместо таблички «переучет» — «инвентура».

Как привыкаешь к новой моде, и вот она уже естественна глазу, естественны пограничники и таможенники в поезде и аэропорту — обычные люди за мелкой процедурой, как автобусные ревизоры; естественно постоять за визой (раньше было — за водкой, за хлебом, за носками, какая разница), зато в очереди за билетами стоять не надо, чисто и свободно. Естественно, что время идет,

и далекие друзья приезжают к тебе все реже, и язык местных русских газет становится понемногу провинциальным, а российские газеты есть в киосках не всегда, редко, иногда. Сокращается время телевещания, долго поговаривают об отключении, ну нет уже петербургского канала, и российский исчез, остался останкинский по вечерам; к приему финского телевидения привык давно, а здесь появляются новые каналы, гонят в основном американские сериалы, и в их звуковом фоне начинаешь различать, понимать американскую речь, а эстонская обычна; что с того.

Какая, в сущности, разница, что деньги считаешь на кроны, уже не сбиваясь по инерции назвать их рублями, что переезжаешь на финские йогурты, датское пиво и американские сигареты: тот же пейзаж за окном, те же люди, разве что машины меняются, так это везде так. Однажды замечаешь, что перестал выносить мусорное ведро: весь мусор спихивается в яркий пластиковый пакет из-под очередной покупки, и сам этот мусор нарядный и пестрый: баночки, коробочки, бутылочки, не имеющие ничего общего с когдатошними помоями. Замечаешь при очередных российских катаклизмах свое приятное ощущение безопасной непричастности: твоей семьи это не касается, тебе лично не грозит. На Рождество получаешь стандартное поздравление Президента Республики, на четырех языках, русского нет, нет в документах и на вывесках. Хлопаешь шампанским под звон новогодних курантов Кремля в телике, звонишь родным и друзьям в заграницы с пожеланиями, а здесь еще только одиннадцать, и через час хлопаешь еще раз, по местному времени, и звонишь в Белоруссии и Израили, там время то же.

Ты просто живешь здесь, а мог бы жить в другом месте, что из того; внутри тебя ничего не меняется: человек есмь; страсти, мысли, убеждения, привязанности и интересы — все прежнее... Хау! мы с вами одной крови — вы и я.

Россия — остается своей: ты приезжаешь — здорово, ребята! Смотришь в лица, прочее мелочи. И по дороге от лица до лица — шизеешь: от грязи и бьющей в глаза,

нерадивой и бесстыдной нищеты, естественной окружающим: от обшарпанных прилавков, вонючих лестниц, колдобистого асфальта; от дебильной медлительности касирш и неприязни продавцов, от грубости равнодушия и простоты жульничества, агрессивной ауры толпы, где каждый собран за себя постоять, туземной раздрызганности упресованного телами транспорта, нежилой неуютности кабинетов и коридоров, от неряшливой дискомфортности редких кафе и убогой пустоты аптек. Таксист хам, редактор враль, слово не держится, в метро духотища, водка отрава, вязким испарением прослоена атмосфера, тягучий налет серости на всем, и от этой вселенской неустроенности устаешь: сам процесс жизни делается тебе труден неизвестно отчего.

Вдруг замечаешь, что ты не так одет: негладящиеся штаны и рубашки вольных европейцев, интеллектуалов и профессуры, неуместны среди двубортных костюмов старших банковских клерков, словно ты фрондируешь из бедности, а сьют при галстукe не вписывается меж растянутых свитеров и несвежих клетчатых рубашек. Не понимаешь выражения глаз и голоса при официальном знакомстве: тебя изучают, оценивают и взвешивают, чтобы избрать стиль общения согласно твоему положению: единой и равной для всех дистанции официального общения не существует, а ошибочная нелепа. Не готов к тому, что желание выпить по рюмке обычно переходит в намерение неукоснительно прикончить бутылку и взять следующую.

И вдруг обнаруживаешь в себе остранный и отстраненный независимость: ребята, я уже не здешний. Я уже живу за границей. Достоинство и отрада свободы — мягкая улыбка: я ни от кого ничего не хочу, мне ни от кого ничего не надо, я — вне, отдельный: я даже нетвердо знаю, что тут у вас происходит и по каким правилам на какие ставки вы играетe. Обнимаю, искренне ваш.

И не просто хочешь домой: нет, в главном тебе здесь нравится, интересно, здесь твои друзья, здесь решаются дела и судьбы, здесь кипит жизнь — это, вроде, и твоя тоже настоящая жизнь, впечатления, события, новости,

знакомства, планы, все это хорошо, — но при этом одновременно хочется жить дома. Там. И не то чтоб там лучше — нет, там никак, скучно, духовно пусто, одиноко, привычно, нормально: как раньше, как обычно; как всегда. Чуждо. И кажется, будто там для тебя внутренне ничего не изменилось, и будто сам ты внутренне не изменился, — но и здесь чуждо! тяжело; неприятно; непривычно; зависимо. Не твое. Ты был отсюда. Но ты уже не отсюда.

Россия, в которой жил, живет в твоём естестве той, неизменной, живет в рефлексах и ментальности, и по песчинке исподволь меняется вместе с твоей памятью и тобою самим. А настоящая Россия меняется реально. Ты следишь за событиями, переживаешь их умом и нервами — но не кожей. Ты дышишь другим воздухом. И ты замучишься входить в эту воду дважды.

И Ганопольскому в «Эхе Москвы» на вопрос: ну, как тебе Москва? я мог ответить честно только одно: ребята, в этой сверхгигантской куче дерьма оскорбительно и непереносимо все. Кроме одного: но! ребята, вы все здесь...

И давно мне напоминает эта грустная метаморфоза гениальный среди прочих рассказ Брэдли «Были они смуглые и золотоглазые». Как колонисты на Марсе постепенно и незаметно для себя превращаются в марсиан, и уже удивленно не принимают прибывших землян, а ломают головы, где ж колонисты и откуда ж эти марсиане. Метафора эмиграции. Особенно применимая сейчас к русским, безо всяких волевых и сознательных шагов и подготовки оказавшимся в «ближнем зарубежье». Для себя я называю его «межграницье».

«Межграницье» — так я назвал телефильм, который сделал в январе девяносто второго, сразу после распада Союза. О наступившей, сразу еще не осознанной трагедии русских, вдруг проснувшихся иностранцами за границами России, чужими и там и здесь. Фильм не был принят. Прогрессивное Останкино сочло, что он играет на руку красно-коричневому.

Забавно, что сообщил мне это тот самый босс, который раньше устроил показ ленты «Русские в Америке». Фильм отображал жизнь этих мятущихся русских в этой стране контрастов Америке преимущественно двумя красками, белой и черной. Как предписывает произведению искусства закон драматизма, преобладала черная краска. Там одни радовались свободе и бизнесу, таких было меньшинство, а большинство страдало от бездуховности жизни и ненужности русской культуры, носителями которой оно является. Я с замиранием ждал, что здесь обязан возникнуть Довлатов. И наконец — впервые увидел его: не на фотографиях, а так сказать, в движущемся и озвученном изображении. Это не была сцена довольства и успеха. Довлатов был большой, бородатый, низколобый и добродушно-мрачный. Его облик, скупой жест, интонации, внакладку на какой-то серо-бытовой фон, вполне создавали впечатление скептической разуверенности во вчерашнем, сегодняшнем и завтрашнем дне: картина выглядела пессимистично и должна была, видимо, служить мысли, что писателю в Америку ехать не надо.

Но как для России московская прописка всегда была чем-то вроде знака причастности к касте, или качества, или социального статуса (как в самой Москве можно жить, скажем, на Кутузовском, а можно в Чертаново) — так потом в России, и в Москве, американская прописка (в меньшей степени немецкая или французская, но теперь даже израильская) стала тем же свидетельством социального положения. Мол, каков шесток, таков и сверчок. Хотя давно известно: что в России наилучше всего быть иностранцем. Он живет в Америке? — о, значит, этот человек уже чего-то стоит.

Сей трафаретный взгляд не лишен здравого зерна: успех — это ведь место и время, ясно... Куда направлены прожектора, где вершатся главные дела и главные карьеры — там цена всего автоматически повышается: и цена человека, и цена слова, и цена поступка — в глазах тех в первую очередь, кто сам не там. Ультима регис: «Так делают в Париже!» А ежели кто живет на помойке — значит,

по его качествам и стремлениям там ему и место: чего ж он стоит, чего ж от него и ждать. География — наука психологическая. Твое место возле параши? исчерпывающая характеристика.

Сравнение позорное и унижительное: Россия сейчас перемешана гигантской помойкой в сепараторе, где активные элементы с легкой фракцией, сливками и дерьмом, смываются в Америку. Она — значимее. Середняком в Риме, чем патрицием в деревне. Кто раз ощутил себя гражданином великой державы — не будет счастлив в принадлежности к державе второстепенной. Раз человек не остров, а часть материка, то материк должен быть приличный. Не сам по себе, но часть семьи, рода, стаи, команды, армии, страны, и сила и честь страны — его сила и честь. Я римский гражданин!

Топот и стук: пробивают головами стенку в соседнюю камеру. Там пайка больше и прохаря новее: и закон. Правильная хата.

Кому повем мою печаль? Для умного человека все истины банальны. А для себя кто ж не умен настолько, чтоб доказывать их прочим, чьи умственные способности не то чтоб презираешь, но затрудняешься заметить невооруженным глазом, и каковое занятие сродни газетной работе и каторжному развлечению по пересыпанию кучек земли по кругу. Что провоцирует развитие нервных заболеваний.

Поэтому пьют читатели, и поэтому пьют журналисты. Писатели пьют еще и от отсутствия читателей. В питейной биографии Довлатова самое радостное, кажется, место — судя по письмам — это когда в Вене он обнаружил, что ректифицированный медицинский спирт можно купить в аптеке за одиннадцать пфеннингов пятьдесят грамм. Что есть литр водки за шиллинг. Под вопросом, учат ли в австрийских школах арифметике. Тупые австрияки не высчитали этого до сих пор.

В этом удивлении — отличие того, кто становится иностранцем сразу, прыгая с берега в воду, от того, кто делается им постепенно: сыровато, влажно, еще мокрее,

и вот ты уже ни рыба ни мясо, а так, земноводное. На полпути к Луне.

Вышеупомянутыми соображениями мы и поделились с вымытой по частям холодной водой копенгагенской москвичкой, которой благородный дон, за неимением ируканских ковров, показал швейцарский офицерский нож, присовокупив мнение, что очаровавший ее знаменитый Кабаков такого просто не видел.

Этот ножик я всегда беру с собой в поездки. В его рукоятке упрятано все необходимое для застолья и мелкого ремонта всякой всячины. Даже закаленная пилка с обратным ходом, которой можно будет перепилить наручники, когда меня арестуют за нарушение всех норм литературных приличий и вообще нравственности.

Именно им я и нацелился резать закуску в кабинете главного редактора «Московских новостей», когда появился именно Кабаков. Первым делом я ткнул пальцем в нож и процитировал известное место из «Сочинителя». Кабаков извернулся красиво. Он вытащил из кармана точно такой же и положил рядом.

— Для пары, — сказал он. — На память от меня.

Тем самым он убедительно возразил, что ему так известно, как выглядит швейцарский офицерский нож. Только этот был сделан не в Китае, но именно в Швейцарии. Не такой попался мальчик, чтоб таскать в карманах дешежку.

— Это нельзя рассматривать иначе как повод, причем уважительный, — сказал он. — Есть предложение начать пить.

Но пить мы начали позже, и за литром кукурузного самогона обсудили не только сравнительные достоинства и характеристики карманных ножей, но и ценные особенности прочего холодного и огнестрельного оружия, обнаружив массу общих пристрастий и интересов. Писатель, оружие и пузырь — перспективное сочетание.

Это был чистый реваншизм. В советское время интеллигенту и гуманисту полагалось считать, что оружие — нечто безусловно плохое, любят его труссы, негодяи

и люди вообще порочные. Хотя по этой логике армия должна быть последним прибежищем трусливых негодяев — одновременно идеалом человека провозглашался солдат, а вершиной любви — любовь Дзержинского к маузеру. Отрицая Дзержинского, вольнодумец плевал в маузер. Человек звучал гордо. Обезьяна, вставшая на задние лапы, взяла в передние палку совсем не для того, чтобы ею подтолкнуть марксиста Энгельса к созданию истмата. С тех пор оружие явилось естественным продолжением мужской руки, и по этим рукам призывалось дать, и крепко дать. Достать чернил и плакать. Где господствует мораль — там нет места истине. К несчастью или к счастью, но щек на свете меньше, чем желающих врезать по ним дважды. Поэтому естественная и природная функция любого нормального мужчины — защищать себя, свою семью и дом. От кого? Была бы шея, а любитель по ней дать всегда найдется. Почему? Потому что человек создан изменять мир, и никогда не удовлетворится существующим. Агрессивность — это аспект избыточной энергии, имманентной в человеке, благодаря которой он и переделывает мир. Хапок, захват, сражение — простейшая форма передела мира. Оружие — инструмент передела: инструмент жизни. Это сила власть: самоутверждение: я хозяин жизни, я переделываю ее по своей воле и разумению, я действую — и значит я живу. Не говоря уж проще о разных критических, пограничных ситуациях, когда оружие решает вопрос самого твоего существования (а честь? а достоинство? а справедливость?..).

Поэтому джигит может быть оборванец, но чтоб оружие в серебре. И коллекции оружия всех эпох — тому подтверждение.

Оденьте матадора в тренировочный костюм и дайте ему в руки колун — что скажут испанцы о моменте истины?

Один даст съесть пуд соли — другой возьмет в разведку. Человек познается в пограничной ситуации: на пределе опасности и напряжения. И неизбежно — стремится к ним: реализовать все заложенные в нем силы и возмож-

ности. Где ж жизнь острее, чем в бою, и мрачной бездны на краю.

Поэтому военные и блатные песни Высоцкого. Адекватный материал: накал и риск борьбы на грани смерти — обнажение сути.

Поэтому трещит, бомбит, взрывается голливудское муви.

Поэтому грохочут кольты и базуки у Кабакова, а московские девушки у Пелевина рассуждают о калибре авиапушек люфтваффе.

Писатель, авантюрист в накале нервов и вершения миров за своим столом, влеком инфернальной красотой оружия как знаком сильной страсти, решительных поступков, крупных событий: всемогущества и крутизны в своем воображаемом, созданном мире.

Естественная сублимация. Без нужды не обнажай, без славы не вкладывай.

И когда в Эстонии сделали свободную продажу оружия, я сверился с любимыми справочниками, выправил справку, что я не псих, и справку, что был охотником и умею стрелять, и пошел в магазины покупать «Гризли». Это .45 кольцовская машина под патрон «винчестер-магнум», которая должна выкидывать нежелательного посетителя обратно на лестницу прямо сквозь дверь. Хотя вдвое дешевле обходился несравненно безотказный «Вальтер ПП», 9 мм которого вполне достаточно, чтоб устроить любой сборной по карате прослушивание Шопена лежа.

Хотелось пощелкать пистолетом и пострелять, но я был безоружен и нетрезв, а Кабаков подписывал номер: здесь с легким креном мы подошли к концу забористого бурбона «Катти Сарк», Нэн — короткой рубашки, с непревзойденной в истории скоростью парусника гонявшей через ревушие сороковые, свист и пена, в ту самую Австралию, откуда теперь тоже приходят письма от старых друзей, где тоже переводят с русского и платят деньги за чтение лекций по современной русской прозе. Боги, боги мои.

— А ведь я хотел уехать в Австралию, Бисмарк.

— Глупости, Мольтке! Что б вы делали в Австралии?

— Разводил бы. Розы.

- Зачем?!
- На продажу...
- Ерунда! Там не растут розы.
- А что там растет?
- Овцы.
- Ну, разводил бы овец...
- Зачем?!
- На продажу...

В самолете австралийской линии я наслаждался мемуарами Бунюэля. Чтобы в двадцать седьмом году сделать «Андалузского щенка», надо быть действительно гением; это вам не Бергман. Когда в восемьдесят втором этот фильм демонстрировался в Доме кино, то на аннальном кадре, крупным планом бритва половинит глаз, в зале раздался вскрик и звук упавшего тела. Нервный вскрик и тяжелое тело принадлежали одному из лучших довла-товских друзей Евгению Рейну. Ку дэ мэтр!

А лучшее место в мемуарах Бунюэля — это как он читал мемуары Дали. Закадычные земляки, они решительно разошлись после знакомства с Гала. Она предпочла Дали, а Дали предпочел ее, Бунюэль же сам хотел предпочесть их обоих, в чем ему было отказано.

Объективность и такт не числились среди достоинств Дали и не входили в его задачи. Бунюэль ознакомился в мемуарах, среди прочего интересного, кое с чем о себе: и несколько огорчился. Он огорчился, снял телефонную трубку и позвонил Дали, который в это время был в Париже.

— Здравствуй, Сальваторе, — сказал он. — Это я, Луис.

— Здравствуй, Луис, — ничуть не удивившись, сказал Дали. — Очень рад тебя слышать.

— Я подумал, почему бы нам не встретиться.

— Действительно, хорошо было бы встретиться.

— Почему бы нам не посидеть, не выпить вина...

— Это было бы прекрасно, Луис...

И вот, двадцать лет не видевшись, знаменитый Бунюэль и еще более знаменитый Дали встречаются в кафе.

Они обнимаются, вздыхают, сколько лет сколько зим, печально и любовно оглядывают друг друга: садятся под тентом на бульваре, Париж, пьют белое вино, курят; вспоминают молодость, говорят о жизни и об искусстве. И наконец Бунюэль приступает:

— Сальваторе... Я тут недавно прочитал твои мемуары. Прекрасная книга. Замечательная! Я получил наслаждение. Но, признаюсь, хочу спросить тебя, все-таки мы с тобой старые друзья, вместе когда-то начинали, вместе бедствовали... скажи — ведь это ни по сюжету необходимо, ни смысловой нагрузки... не улавливается: зачем тебе нужно было так меня обосрать? Это так обязательно? или тебе было приятно? не могу поверить...

На что Дали глотнул вина, затянулся сигарой, напустил дым, подкрутил иголочки своих золоченых усов, и с нежностью ответил:

— Луис! Ты ведь понимаешь, что эту книгу я написал, чтобы возвести на пьедестал себя. А не тебя.

Золотые слова. Есть у меня раздражающая привычка выражать простую мысль заходом столь дальним, как стратегический бомбер за 200 км входит в посадочную глиссаду, целясь на полосу. На прудах колышутся неньюфары, потому что пишутся мемуары. Эту мартыновскую строчку я понял, только прочитав Ростана, как там неньюфары распускаются в темной глубине — а всплывают уже являя себя благоуханными и белоснежными: поэты, значит, так же. И тут я — весь в белом. Насчет благоуханных и белоснежных никто сейчас не уверен, конечно, — некоторые наоборот долго там в глубине себя барахтаются, чтоб всплыть готовой какашкой, дабы привлечь внимание почтеннейшей публики резким контрастом цвета и запаха среди оных лилий. Лютики-цветочки. Не ходи в наш садик, очаровашечка. Каждый пишет как он слышит. Медведь те на ухо. О время мое, украшают тебя мемуары, как янычары пашу: я не хочу писать мемуары, но фактически я их пишу. Соло для фагота без ан сам бля.

Эти стихи я пытался переводить старому немцу, с которым мы на аэродроме в Сиднее сидели и на кофе

налегали. Немец был мудр, самовлюблен и прозорлив. Ему нравилось обобщать.

— Трагикомизм нашего положения в том, — пожаловался он, — что мы добиваемся признания в глазах людей, чье мнение презираем.

И понес строить:

— Поскольку мы имеем дело не с предметами, а с нашими представлениями о них, всякая честная философия неизбежно должна быть идеалистической!

— И реализм в литературе — на деле идеализм без берегов?

— Натюрлих!

Я чувствовал, что тупею. Потому и попытался переключить разговор на более знакомый предмет русской литературы.

— Я читал Довлатова, — сообщил немец и в испуге уставился на мое лицо.

Спас меня подоспевший Мишка Вайскопф. С опозданием на три часа он все-таки приехал меня встречать. Однажды в Таллинне я встретил его с рижским поездом, и через три дня он приехал из Киева. Он перепутал направления и потерял паспорт, а деньги у него украли. На него нельзя сердиться. В семьдесят третьем году он пошел добровольцем на израильско-арабскую войну, и угодил под трибунал за путаницу в документах и утерю личного оружия в общественном транспорте. Я его люблю. В Сиднее он спас меня от инфаркта.

— А ты знаешь, что Борька Фрейдин тоже здесь? — первым делом сообщил он, трогая машину. — В компьютерной фирме работает.

За окном мелькал зелено-белый пейзаж: слепил.

— Так далеко от Таллинна, а вполне приличный город, — сказал я. — Не скучно?

— Ты что, — оживился Мишка. — Я тут недавно вернулся из Новой Зеландии, так вот это глушь, я тебе доложу. Вообще не сообразишь, за каким краем света находишься: ясно только, что вверх ногами ко всему прочему человечеству. Ужас: одни бараны пасут других баранов.

А у дверей, снаружи, так просто приделаны поручни, как на танковой башне: держаться, когда ураганы: чтоб, значит, на хрен не сдуло. В окружающий Мировой Океан. А тут-то еще — что ты, цивилизация.

— Господи. За каким хреном тебя туда еще занесло?

— Лекции читал. Месяц.

— Ну ты просветитель. Миссионер! Кому, о чем?

— Примерно. По Талмуду. В местной еврейской общине.

— Наконец-то выпускник тартуского университета нашел приличную работу в Южном полушарии.

— А я тебе не говорил? Я теперь работаю в Институте Талмуда в Иерусалиме. Визиточку возьми... Кстати об Иерусалиме: ты слышал, что у Генделева был инсульт?

Как мы стареем.

В девяностом году в Ерушалаиме, на дне рождения Вайскопфа, мы с Генделевым нажрались в хлам, и закончили ночь в пять часов в последнем открытом баре, допив на русскую водку, мексиканскую текилу и израильское вино полдюжины пива «Маккаби». Перед рассветом в закоулках арабского квартала мы были обнаружены патрульным джипом и подброшены в центр.

— С ума сошли так пить? — спросил дружелюбный головорез по-русски с грузинским акцентом. — Ножа захотелось? Недавно приехали? Откуда? Я из Тбилиси.

— Гамарджоба! — ответил Генделев. — Нож — не проблема. — И стал рассказывать, как на операции он, анестезиолог, давая общий наркоз, снотворное дал, а обездвизивающее забыл — и вдруг посреди операции, брюшная полость открыта, больная села на столе. Бригада офанарела от ужаса. Хирурга пришлось буквально откачивать. Генделева выгнали из госпиталя, и больше он врачом работать не стал. Он гениальный поэт.

В доказательство и желая сделать приятное мы спели патрулю старую балладу: Корчит тело России от ударов тяжелых подков, непутевы мессии офицерских полков, и похмельем измучен, от вина и жары сатанел, пел о тройке поручик у воды Дарданелл: чей ты сын? твоя память —

лишь сон; пей! за багрянец осин петергофских аллей, за рассвет, за Неву... Сентиментальное было путешествие.

Эту песню он написал к фильму «Бег» в семидесятом году, когда мы познакомились в ленинградском клубе песни. Музыка сочинил Ленька Нирман. Ленька давно в Тулузе, записывает диски, руководит хором, растит детей, живет в родовом замке жены и раз в три года прилетает в Ленинград пить со старыми друзьями и прошлой женой, которая была влюблена в меня, так он ей наврал, что я гомосексуалист, вот хитрый сука; а теперь она замужем за Серегой Синельниковым, моим же корешем и лучшим другом Сереги Саульского, с которым мы и пили в Париже и пели его старую: Мы привыкаем ко всему — к плохой погоде, к вокзальной давке и к улыбкам ресторанным, мы привыкаем даже если бьют по морде, и даже к ранам — как это странно... ату меня, мой Петербург! ату! И походит эта шизоидная fuga на анекдот про то, как пьяный мочится на цоколь Аничкова дворца, а турист-интеллигент робко интересуется у него, как пройти к Зимнему дворцу, на что пьяный рассудительно отвечает: а на фига тебе Зимний? пидай здесь!

Этим древним питерским анекдотом и напутствовал меня Генделев, когда за неимением Зимнего дворца мы обошлись тахана мерказит, то есть центральным автовокзалом, откуда первым автобусом я уехал на север, в Цфат, где жил у брата. Автобус был набит солдатами, и солдаты были молчаливы. Вчера Саддам Хусейн оккупировал Кувейт, и в Израиле пахло очередной войной. Ракетные бомбардировки начались позднее.

За два часа пересекаешь в длину полстраны. Автобус полез в горы. Водитель в кипе крутил серпантины наизусть. Маленький древний Цфат спасался наверху. От Сирии и Ливана это расстояние гаубичного плевка.

Я отоспался днем, а вечером пришел из госпиталя брат, и мы отправились посидеть и выпить кофе на Ерушалаимскую. Это единственное место в мире. Ни Дизенгоф, ни Ундер ден Линден, ни Бродвей, ни Пикадилли — нет подобных. Недолгая пешеходка вымощена розоватым

галилейским камнем. С темнотой и звездами зажигаются фонари у столиков и навесов, светятся нараспашку лавки и кафе, чередуя негромкую музыку, и все приветствуют, потому что знакомы и сошлись судьбами. Раскаленные за день сосновые посадки на склонах снизу отдают смолистое тепло в остывающий горный воздух. Рубеж Святой Земли, ветхозаветная твердыня художников и богословов: уют и вершина.

— Вали-ка ты отсюда, — озаботился брат.

— Куда? — махнул я.

— Домой.

— Где-с?

— Здесь сейчас поддерг.

— Умирать — так хоть за дело.

— Успокойся. Необученного не возьмут.

— Старший офицер батареи.

— Не смейся. Война кончится быстрее твоей переподготовки. Тут свой масштаб.

А ночью из окна различимо далеко внизу Тивериадское озеро, по контуру берега световая россыпь Тверии, и огоньки Капернаума, где впервые Христос явился рыба-рям. Тишину колеблют приливы приглушенного стреко-танья: патрульный вертолет обходит локаторные и ракет-ные точки ПВО на соседних высотах.

Радио каждые полчаса прерывало еврейские песни последними известиями. Их завершал обзор культуры. «В Нью-Йорке в возрасте сорока девяти лет скончался от сердечного приступа русский писатель Сергей Довлатов».

— Мишка, ты слышал? — сказал брат.

— Я слышал, — сказал я.

Радио трещало дальними помехами. Земля была невидимой и огромной: нереальным множеством миров. Они слали сигналы сквозь пространство.

Жизнь оскольчато преломилась в разные измерения. Странно бередит напоминание, что живешь в них одно-временно.

Мы встали и выпили водки «Кеглевич» на помин души писателя Сергея Довлатова.

И потом, после прощания, когда трехсотместный «Ил» влетел ночью в грозу над Средиземным и стал болтаться и махать крыльями так, что им полагалось оторваться, пристегнутые пассажиры напряженно пошучивали через паузы, и вместо полагающегося на всякий случай подведения итогов прожитой жизни вертелась в поверхности сознания обрывистая чепуха, уж как водится, не курить, а в туалете унитаз выпрыгивает из-под тебя, и не проникала смыслом, но помнилась, уж больно уместна, из Клячкина, с которым еще в его ленинградской молодости я студентом пил за одним столом, поскольку в ЛИСИ они учились в группе с моим дядькой и приятельствовали, строчка его прощальной песни, отлетной: Покидаю я страну, где — прожил жизнь, не разбираю — чью...

Куда мчимся, да? Птица-тройка дает ответ, дышлом да мозги вон, впрягли в бричку лебедя, рака и щуку и задумали сыграть квартет, но мартышка в старости слаба мозгами стала, кибитка потеряла колесо, и докатилось оно и до Москвы, и до Казани, и до Трансвааля, страны моей: земля-то — она круглая, и вертится.

А борт трещал, как пустой орех, вправду и никакой тут символики, лишь однажды в Ан-2 над Кара-Кумами попав в песчаную бурю скакал я в такой болтанке, но здесь при массе и скорости трясло жестче, как бьет на рельсах, и долго, дьявол, бесконечно, я чувствовал себя как балда в проруби, ведь идентифицировать нечего будет: гражданин никакого государства, представитель никакой профессии, болтаясь меж хлябью вод и небесной неизвестно где и желающий неведь чего неведомо зачем.

А я отнюдь не убежден, что кто-то там наверху хорошо ко мне относится.

*В совершенном беспамятстве,
Таллинн — ?*

2. НЕ НОЖИК НЕ СЕРЕЖИ НЕ ДОВЛАТОВА

опыт эзотерики и экзегетики

«Признак высшего стиля — отшлифованная темнота. Человек скользит по загадкам глубины как на коньках по замерзшему озеру. Тот, кто комментирует сам себя, опускается ниже своего уровня».

Эрнст Юнгер

Роман «Ножик Сережи Довлатова» был окончен в марте 1994 года. Первоначальный объем текста в 250 страниц был миниатюризирован до 68. Стояла задача создать «карманный линкор», убрав большую часть содержания в подтекст и избавившись от всего не сугубо необходимого.

Впервые опубликован в журнале «Знамя» №6 за 1994 год. Включен в авторские сборники «А вот те шиш» (Москва, «Вагриус», 1994), «Кавалерийский марш» (Санкт-Петербург, «Лань», 1996), «Ножик Сережи Довлатова» (Харьков, «Фолио», 1997; Ростов-на-Дону, «Феникс», 1998; Санкт-Петербург, «Нева», 1999), «Хочу быть дворником» (Москва, ОЛМА-пресс, 2000). Суммарный тираж более 250 000 экз.

Вызвал резкую полемику в прессе. (В. Курицын, «Поверхность лезвия», «Сегодня», 17 авг. 94 г.; В. Новиков, «Изобретатель», «Общая газета», 25 авг. 94 г.; Т. Морозова, «Я бы его повесил», «Литературная газета», 31 авг. 94 г.; Ю. Тарантул, «Не баечник, но рассказчик», «Независимая

газета», 19 сент. 94 г.; А. Мокроусов, «А вот те шиш!», «Огонек» № 32, 94 г.; М. Золотонос, «Казус Веллер», «Московские новости», 13 нояб. 94 г.; Т. Блажнова, «А вот мне шиш», «Книжное обозрение», 25 февр. 95 г. и др.)

Номинаровался на Букеровскую премию за лучший русский роман года.

Посредством красных глаз слон так хорошо прятался в помидорах, что его там никто не видел.

стр. 45

В Копенгагене я сделал сделку.

В концентрированном шлифованном тексте первая фраза, как известно, несет особую нагрузку. А посему заслуживает внимательного анализа.

Первая же фраза содержит местоимение «я». Что естественно свидетельствует об эгоцентричности авторского взгляда. Более того: буква «я» расположена в центральной позиции фразы, равноудаленной от конца и начала; «я» является, таким образом, точкой симметрии этой экспозиции. Но и более того: это «я» — тринадцатая буква как от начала фразы, так и от ее конца. Сакральность числа тринадцать традиционно ассоциируется с роковым стечением неблагоприятных обстоятельств и неудачей непреодолимой силы. Автор заведомо помещает себя в нежелательное положение и расписывается в собственном бессилии изменить ситуацию. Оставаясь при этом, однако, центром ситуации.

Из десяти гласных этой фразы ровно половину — пять — составляет буква «е». В восточнославянских языках этот звук имеет как правило цветовой ассоциацией синеву, пространственной — простор, осязательной — прохладу, предметной — воду. На уровне традиционного психоанализа раскодируется как стремление к свободе, внутренняя обособленность, склонность к покою и ироническому ключу размышлений.

Предлогом «В» открывается типичный сказовый зачин по месту действия. Одновременно «в», целенаправленно указывая на ограничение по месту и времени, отражает подсознательное стремление рассказчика к интровертно-

сти: форма являет попытку выйти за пределы собственной субъективности.

«Копенгаген» для русского (особенно вдобавок советского) уха всегда звучало экзотикой с устоявшимся ироническим оттенком. Синоним «изячного». Нашло отражение в шуточной присказке «Как в лучших домах Копенгагена». Подсознательные пласты: город Андерсена, знак сказочности происходящего. Ассоциации сознательные — анекдотичны, общеизвестные анекдоты «чапаевской серии»: «Василий Иванович! Как правильно сказать — „сделал фураж“ или „сделал фужер“? — Да я, Петька, в этом вопросе не копенгаген». То есть автор заведомо и исподволь внедряет в подсознание читателя сомнение в компетентности и реалистичности как своего, авторского, так и читательского взгляда.

«сделал сделку» — тавтология, просто лезущая в глаза своей неслучайной неуклюжестью. Нарочитая самопародия автоматически переключается с фольклорными куплетами: «Маркиз маркизе сделал сделку — он поломал маркизе... брошку! И чтоб утешить свою крошку, купил ей новую безделку». Здесь сразу заявлены незадачливость автора, его насмешка над собой и всем, что он излагает. Такое вскрытие смысла кладет дополнительный оттенок на последующую в тексте покупку, с чего и начинается изложение всех действий.

«я сделал» — выражение категорически активного начала и принятие полной ответственности за сделанное.

Да — вот так примерно раскручивается одна неслучайная фраза. Типа точечного радиосообщения, когда радиogramма сжимается раз в триста по времени и выстреливается с проткнувшей воду антенны кратким и незначимым для непосвященного пискком. А кто знал время и частоту — примет и раскрутит. А что?

стр. 45
Заработанные лекциями
деньги сунул в свою
книжку...

Лекции по современной русской
прозе автор читал в университете
Оденсе весной 1992 года. Платили
в долларовом исчислении
полторы сотни за академиче-

скую пару, и по масштабам того нищего времени я приподнялся, рассчитывая прожить год безбедно. «Книжку» — сборник рассказов «Разбиватель сердец», вышедший в Таллинне, изд. «Ээсти раамат», 1988 г.

Но зачем деньги совать в книжку, что за неуклюжая аллегория писательского труда?! Или намек на то, что я давал взятку журналистке за то, что она меня печатала и про меня писала?..

Дело в том, что в копенгагенском метро можно спокойно ездить без билетов, вход-выход на станцию и в вагон свободный. Но раз-другой в месяц проходит кампания по контролю — и тогда можно налететь на штраф долларов в двести. Контроль работает так: вот двери уже закрываются — и вот в каждой двери вырастает по ревизору, и предпринять ничего уже нельзя, и драпать поздно.

В последний день своего пребывания в Копене я опаздывал из пригородного района, где жил, в центр: а поезд ходит раз в двадцать минут. Вскочив в последний миг с разбега, я не успел прокомпостировать в станционном автомате свой проездной на двадцать поездов — еще штук шесть у меня оставалось! Но без компостера проездной недействителен. (Отдельно мой билет на три зоны стоил бы тогда восемнадцать крон — три доллара: вот цена моего невольного мелкого жульничества.)

И сев, я шкурой почувствовал: будет облава. И опаздывать на встречу нельзя — ехать надо! Такси?! я не миллионер, да я вообще еще нищий совок. Штраф?! Да это месяц-полтора жизни всей семьей. Ну и спрятал деньги как мог — в книжку, а книжку — в глубину портфеля. Оставил в кошельке полста крон мелочью. И с преувеличенным вниманием тупого туриста углубился в изучение плана города.

Третья станция — и контроль пошел!!! Вместо паспорта я показал писательский билет: уже эстонский, серый с серебром, дружественной латиницей. На гнусавом английском запел о своих лекциях, вымогая снисхождение. И совал в глаза свой незакомпостированный проездной. И беспомощно раскрывал нищий кошелек.

Датские ревизоры безжалостны. Все уловки иммигрантов набили им оскомину. С ледяным равнодушием он кончиками пальцев взял мою писательскую корочку, достал из планшета квитанцию и списал на нее номер, выписав под ним сумму штрафа. Жаба задушила меня: я побледнел и приготовился брать ноты фальцетом.

Мне сунули квитанцию. Я долго осознавал цифру. Ревизор виновато улыбнулся. Когда до меня дошло, я поборол желание поцеловать его непосредственно в лицо. С меня хотели содрать всего 36 крон — стоимость проезда в оба конца! В умилении я перечислил все известные мне благодарственные выражения и рассыпал мелочь по полу. Мы собрали ее вдвоем и расстались горячими друзьями.

Квитанцию я упрятал в бумажник — она служила теперь законным билетом и свидетельством моего законопослушания. Сойдя на своей станции, я на радостях употребил восемь из оставшихся мелочью двенадцати крон на бутылочку несравненного карлсбергского портера. Этот портер, кроме высоких вкусовых качеств, отличается редкостным КПД. Особенно натошак под пару сигарет. Я был восхищен своей удачливостью. Я был богат, сметлив и расторопен!

Ну и — факт закладки денег в книжку оказался начисто вытеснен из оперативной памяти...

(Становится ли теперь понятно, чем были набиты первоначально 250 страниц романа? Да их могло быть 2500 — легко.)

стр. 45
...подарил журналистке...
Мария Тетцлав — известная датская переводчица с русского и эссеистка. Рост, юмор, энергетика, обязательность. Так может выглядеть перешагнувшая порог первой молодости валькирия, которой надоело летать над битвами, и она кончила университет.

стр. 45
...из газеты с
трудновоспроизводимым
названием...
«Векендависен» («Weekendavisen») — примерно «культурные события недели». Мария напечатала в ней две мои большие — в разворот — статьи о русской

культуре и литературе в проблематике того момента. За каждую мне с королевской обязательностью перевели по две тысячи крон — триста тридцать зеленых. Да я роскошествовал, как набоб! Естественно, даме причитались как минимум поцелуй с цветиками и кофе с рюмкой чего-нибудь. Я цвел и шикавал!

стр. 45
...полторы тысячи крон...
Шесть датских крон равнялись тогда одному доллару. Следует учесть, что социалистические страны Северной Европы очень дороги — разве что Швейцария и Япония дороже. Тридцать крон стоила тогда пачка сигарет, а от цен на водку глаза лезли на лоб еще до употребления.

стр. 45
...«Сезам, откройся!»
Приказ тайной пещере, укрывавшей посвященных и несметные сокровища в восточной сказке «Али-баба и сорок разбойников». Характерный намек на неуместное вываливание тайн и сокровищ своей жизни, хранящихся под скромной оболочкой, на обозрение малоподготовленных читателей.

стр. 45
...фотоаппарат прыгнул из него в канал...
Естественно прочитывается как то, что объективное отражение действительности кануло в текущую воду, в которую нельзя войти дважды — тем более что это чужая вода, заграничная: не будет вам выдачи из души никакой объективности, нету ее там: фотографическое отображение реальности исключается с самого начала. Вроде это все и документальное фотографирование — а вроде одновременно и нет: фототекст не является таковым.

стр. 45
Ненавижу Венецию.
Фигура усилительно-ироническая. Ну разумеется же ни один русский не может ненавидеть Венецию, которая есть для него по определению символ далекого, прекрасного, светского и высококультурного,— шедевр духа, одним словом: эстетическая программа. Тем более если кто конкретно чуть раз-

бирается в архитектуре, истории и вообще европейской культуре. Налицо что? Отрицание культового знака и снижение его посредством насмешки над личной бытовой деталью. Отрицание «ах-Венеции» снобистской традиции конформистов — паракультурного стада: мира телешоу кинофестивалей, высокопарного упокоения поэта-нобелевца, у которого что чудную строку: «Лучший вид на этот город, если сесть в бомбардировщик». Умело и популярно одарил весь этот ансамбль памятником Казанове Михаил Шемякин — о чем оповестили в свой час все российские средства массовой информации: разумно и скучно умолчав, однако, что через месяц шемякинскую скульптуру городские власти задвинули с глаз подальше и навсегда, так что даже профессиональные гиды у Сан-Марко уже не могут осветить ее существование. Скромнее надо быть, господа.

стр. 45

Продавщица сломала
ноготь...

У советских собственная гордость, по удачному выражению Маяковского. Настроение типа: я вам когти-то пообломаю. И насчет «моих любимых чисел».

Число правит миром, учил Пифагор, и число есть Бог. Замучатся продавщицы управлять моим миром и всучивать мне своего Бога за презренный металл. Не по когтям им «наших душ золотые россыпи», — понял-нет? А любимые числа — это номер дома и квартиры одной старой знакомой, я их всю жизнь выставляю на автоматических камерах хранения.

стр. 45

«...мои любимые числа».

И возникает такая аллегория, что первая любовь хранит как на замке все мое добро в бесконеч-

ных странствиях по миру, и никому не известны знаки, посредством которых можно эти сокровища открыть, и вспоминаешь на всех вокзалах мира старую улочку, и дребезжащий трамвай, и стандартную пятиэтажку серого силикатного кирпича, три окна на четвертом этаже, звонок у деревянной стандартной двери коричневого казенного цвета, и сейчас раздадутся шаги, и голос, и куда бы ты ни приезжал — ты вновь обнаруживаешь себя в параллельном

мире, где время не движется, юность вечна, вся жизнь впереди... я вам покажу когтями трогать лакированными, дешевые наймиты мирового капитала!

стр. 45

...достал бумажник
и показал ей, что там
пусто.

Эта тема денег и бедности проходит необходимой нитью через все повествование о литературной жизни и эмиграции; жизнь, такова жизнь... И одновременно — тема непродажности:

нельзя купить того, кто все равно всегда окажется нищ; и не получается подсунуть ему эрзацы в прогорающей лавке современной цивилизации.

стр. 45

...викинги перед дракой
нагрызались мухоморов.

Конечно, это упрощение и поверхностность с оттенком околонуточной сплетни. Но именно тогда, когда происходила вся эта история, пика достигла слава

Льва Гумилева, блестящего и гениального компилятора, мономана и подтасовщика истории: он родил идею, и она единая владела им неотрывно — так и создаются теории. Из знаменитого сочинения «Этногенез и биосфера Земли» заимствовано и это сомнительное утверждение: ирония иронией — но и здесь выражен дух эпохи: уж и понять, глядя на нынешних датчан, вымирающих с исповедью либеральной идеи, как тысячу лет назад даны ставили на меч пол-Европы и заставляли дрожать мир.

стр. 45

Редакцию все давно
покинули.

Пару потомков этих данов я все же достал за полночь в редакции, звоня и стуча до тех пор, пока на шум не пришли две девушки-полицейских, обрадовавшись развлечению.

Втроем мы вскрыли подъезд, как банку с кильками, причем килек заставили самих открыть изнутри свою банку.

То был очаровательный крохотный сюжет. Ночной редактор с охранником накачались пивом как шарик. На вопрос о Марии они весело и вразумительно сообщили, что бордель через два квартала. О книге — что книжный

магазин через три дома, но сейчас уже закрыт, а они книгами не торгуют. О деньгах — что они не уполномочены выдавать деньги посетителям, тем более неизвестным, иностранным и, опять же, ночью. Полицейские были в восторге от их логики.

Когда я сумел объяснить, что это я дал Марии деньги, они тут же предложили дать и им по стольку же, выразив надежду, что я не гетеросексуальный шовинист. Они оттягивались по полной. И сказали, что я лучший автор в истории редакции — сам несет деньги, причем по отличной ставке.

Потом они вскрыли кабинет, письменный стол, извлекли мою книжку, проверили деньги и торжественно вручили мне, взяв обещание приезжать почаще и носить денег побольше. Потом я остался с ними пить пиво. Потом мне объяснили, где бензоколонка, на которой в магазинчике работает румын, у которого можно купить контрабандную водку — и я ушел, и нашел, и пришел обратно. Не знаю, как сейчас, а тогда это была отличная газета.

стр. 45

Журналистка

отправилась проводить уик-энд на яхте.

Мне неизвестен журналист, даже американский, имеющий собственную яхту. Стало быть, пользоваться можно лишь яхтой друзей — богатых друзей. Одна из характерных особенностей профессии журналиста — возможность связей в мире сильных:

и снобизм (милое простительное тщеславие) упоминать о высоком уровне своего вращения: не следил ведь я за ней — сама сказала насчет яхты (зачем? кого интересовало? а чтоб знал, между прочим, с кем дело имею). Семья? дети? уровень амбиций? удачные и неудачные любовные связи? Несостоявшаяся девичья мечта о муже-капитане и океанских ветрах? Простейший социопсихологический анализ любой фразы развертывает ее в обширное полотно.

стр. 45

...«Торпедоносцы»...

Емким и напрасно забытым полотно режиссера Семена Ароновича был этот фильм. «Ленфильм», 1982. Родион Нахапетов

был еще стопроцентно советским актером, никуда не уезжал и играл главного героя, командира экипажа. Уже в горящем самолете, заходя в последнюю атаку на немецкий крейсер, непримиримо и зло констатирует: «Будем карать гадов!..»

стр. 46

Пароход у меня уходил...

Уж не знаю, как я покарал бы свой корабль, если бы опоздал на него.

Билет на самолет Таллинн—Копенгаген стоил долларов четыреста, и их у меня тогда, естественно, не было. А билет на грузовой паром в два конца стоил меньше сотни — если ты ехал без машины, занимая лишь место в каюте для пассажиров: таких мест всего двадцать четыре, и заказывать надо было за полгода. Паромная линия Таллинн—Хельсинки—Орхус—Копенгаген существовала много лет, пока в конце девяностых ее не сняли за падением грузоперевозок и нерентабельностью. Небольшие (порядка 5000 тонн) грузовики ро-ро, авто- и контейнеровозы, выдерживали расписание с четкостью трансатлантических линий и предоставляли скромный комфорт: каюта на двоих, питание за столом команды четырехразовое и качественное, западные боевики по виду, а они тогда были отнюдь не у всех, — трое суток морского круиза. А еще можно было у второго помощника — секунда, грузового — одолжить в судовой канцелярии лишнюю пишущую машинку, пристроить ее на столик в каюте и выстукивать статьи до полного самоудовлетворения. А еще можно было с прихваченной с берега бутылкой зайти вечером к кому из комсостава и слушать разные морские истории. Ты постепенно въезжал в специфику, в ритуал, в моряцкую жизнь — дорога обретала смысл и наполнялась информацией. По лицам буфетчицы и уборщицы, когда все входили в кают-компанию на кормежку, ты вскоре понимал, кто с кем спит в рейсе, и кто за кого больше держится.

стр. 46

...через наш банк получишь лишь соболезнование о валютных трудностях.

Больше всего держались, естественно, за деньги и открытые визы. А держаться за деньги в то время как раз стало особенно трудно. Если о частности — еще в 91-м, с началом реформ в Рос-

сии, СовВнешторгбанк заморозил все валютные вклады всех видов и форм счетов. Среди прочих граждан были ограблены и литераторы, которые были обязаны держать в этом банке все гонорары от зарубежных изданий, переведенные ВААПом через Москву. Кто не знает: ВААП — это была Всесоюзная Ассоциация Авторских Прав, и официально все отношения сов. писателя с заграничным издателем должны были строиться только через ВААП. Налог с гонорара в пользу государства он взимал от 90 до 97% — чтоб нынешние налогоплательщики усовестились и не плакали. Хотите увлекательнейшую книгу про то, как совписы боролись с ВААПом? Нет ничего проще! Как переправляли за кордон с охотой распоряжения оставить все деньги в западном банке, открыв счет на доверенное лицо, или пожертвовать фиктивно в какой-то благотворительный фонд, или скрутить сумму в черный нал и ввезти контрабандой или хорошими вещами в Союз, и т.д., и т.п. Вспомнишь — вздрогнешь — и любое слово рассыпается на песчинки, и при ближайшем рассмотрении из этих песчинок выстраивается самостоятельный роман, имеющий тенденцию стать бесконечным, каковы и есть свойства нашего познания.

стр. 46

...к московской знакомой, недавней эмигрантке.

Что характерно — конкретности этому нашему бесконечному познанию иногда ну совершенно же не нужны. Ну вот я открою: Анна Голубева, выпуск-

ница филфака МГУ, в 95-м вернулась в Москву. Нужна кому эта справка? На хрен не нужна. Но, во-первых, если уж давать справки — то по всему тексту, иначе можно проколоться при отборе и упустить именно то, что имеет значение. Во-вторых — каждая справка тут же норовит, как расколовшийся при попадании корпус вакуумной бомбы, заполнить стремительно расширяющимся составом своего содержимого весь имеющийся объем пространства. Сравнение не слишком громоздкое, вы вытягиваете? Тут же вспоминаешь ее голос, интонации, взгляд, внешность, судьбу, жизнь, как была одета, вспоминаешь

степень энергетики, исходящей от человека, по которой почти всегда можешь определить его прошлое и будущее в общих чертах и степень его удачливости; вспоминаешь, как попытался сделать угрожающий выпад в твою сторону чернокожий нарк в агрессии между кайфом, попавшись навстречу на мосту через канал, когда ты шел к ней в гости, и как он споткнулся об выражение твоего лица, потому что по нашему разумению, тертому крутыми парнями в родных подворотнях, негр днем в Дании никак не может быть опасен, а если дернется, надо вырвать ему кадык и мошонку: в тебе срабатывает государственно-расовый комплекс превосходства, и вместо потенциальной жертвы встречный друган ощущает потенциального своего убийцу, и сразу делается милым парнем, занятым собственными делами — — — и отсюда есть ход об иммиграции из третьего мира, захлестнувшей сверхгуманную Данию, а это может быть огромный роман-эпопея о возмездии за эксплуатацию черной расы, о старении наций, о самоубийстве цивилизации, о трагедии и фарсе межрасовых браков старых времен и нынешних, обычных, о сексуальных взаимоотношениях и вожделениях рас и о снижении рождаемости — — — а может быть роман на обычную тему одиночества эмигранта в благополучной, но чужой стране — — — или о том, что Москва — это навсегда, и расползаясь по миру мы расширяем границы нашего города и натягиваем их на глобус, как чулок — — — и так далее. Не дайте мне ни единого слова — и это будет роман о муках отсутствия слова и невозможности выразить все, что переполняет человека.

Понятно ли теперь, почему в моем романе было много страниц, а могло быть сколь угодно много?..

стр. 46

...выпили водки...

И когда слов нет, а водка есть, переполняющийся и переполняемый избытком либо недостатком (и недостатком можно пере-

полняться и мучиться) мыслей и чувств человек пьет, и мычит, и стучает по столу, и выпытывает истомно: «Ты меня уважаешь?» — то есть: «Ты понимаешь, что внутри я

хороший, добрый, умный, тонкий, достойный, незаслуженно страдающий, заслуживающий лучшей и большей доли? Ты оцениваешь благо общаться со мной, тебе со мной интересно, правда? Я сильный, я могу быть хорошим надежным другом, ты меня цени, пожалуйста! Мне просто очень нужно, чтобы меня видели и понимали вот таким, а то ведь в жизни одна суета и бытовуха заедает, ежедневная круговерть, сам знаешь... Ты меня увидел? почувствовал? понял?» Вот, вкратце, что значит русский вопрос: «Ты меня уважаешь?». Мы с моей знакомой уважали друг друга.

стр. 46

...закусили бананом...

Выпивка было дорога, зато закуска дешева. А хотите сагу о банане? А лучше — несколько саг?

Сага первая: ностальгическая, советская, нищая, драматическая. Бананы стоили рубль сорок за килограмм — всегда и везде рубль сорок, десятилетия подряд. Но десятилетия — это если охватывать весь период, а конкретно — они бывали раз в год. Всегда в августе. Вот раз в год, в то время, когда птицы ставят птенцов на крыло и первые желтые листья появляются на деревьях — в гастрономах и на лотках появлялись бананы. Это продолжалось несколько дней. Словно в Союз приходил один гигантский банановоз. Нервные многослойные очереди выстраивались и ревниво прикидывали количество товара в раскладку на тех, кто стоит перед тобой: хватит ли. Я помню свои два банана семьдесят второго года: вторую неделю я работал грузчиком на Московской товарной в Питере, еще не втянулся, колени к концу смены дрожали, переворачивали по сорок тонн в смену в среднем, сделщина, за тонну платили двадцать две копейки, я вышел с ночной смены и увидел бананы, отчаянно нищий, я знал, кого хочу хоть чем-то порадовать и побаловать, я стоял в очереди полтора часа, ненавидя очереди генетически, это была моя самая долгая в жизни очередь, а денег было пятьдесят копеек, и на них я сумел приобрести два банана среднего размера — я принес их гордо, как сейчас принес бы двухсотдолларовый коньяк и килограммовый берестяной бочоночек черной икры, сел на стул и заснул от усталости,

а надо мной посмеялись, потому что на столе уже громоздилась желтая гроздь бананов в семь. А можно и веселую сагу: как в том же Копенгагене я покупал на обед банан и бутылку портера — портер я потом пил на лавочке через сигарету (через затяжку, если кто тупой вздумает понять буквально) и ловил кайф, а бананом сначала утолял голод, но жрать его публично как-то стеснялся, голодранец «туристо-советико», так я спускался в подземку, находил место на скамейке, раскрывал книгу и съедал его как бы незаметно от самого себя, ну как бы непринужденно так, от нечего делать, по рассеянности; а лавочки там в метро двухсторонние, и вот за спинкой, за своим затылком, я вдруг слышу: «Ну? Видишь, эти датчане тоже жрут везде свои бананы, а ты стеснялась. На!». Не в силах отказать себе в удовольствии, я обернулся, посмотрел на молодую нашу пару, делая «иностранное лицо» — они замедлились в позе готовности к укусу своих бананов и напряглись — и успокоил по-русски: «Кушайте-кушайте, молодые люди, кефир очень полезен для здоровья!» — они еще секунд десять вспоминали, какие движения нужно сделать, чтобы наконец укусить бананы, и глаза у них были такие, словно по-русски заговорила непосредственно скамейка... но можно и третью сагу: о том, что в жаркую погоду нет лучшей закуски к плохому резкому коньяку, как именно банан, причем мягкий, чуть переспелый, он нежно обволакивает рот и смягчает резкость пойла... а сколько еще есть употреблений банана! а анекдоты? а укусить бананом как эвфемизм? алкоголь перед сексом и секс как последнее прибежище одиноких душ — роман! еще роман!

стр. 46

Одна из образцовых...

Шекспир, «Гамлет», «Весь мир тюрьма, и Дания — одна из образцовых», акт и сцену указывать незачем, перевод все равно

чей, а значит это лишь то, что действие вовсе не от не фиг делать происходит в Дании, толстый намек на тонкие обстоятельства. Все мы, мол, торчим в тюрьме собственной судьбы, колпак папы Мюллера тебе вместо свободы, имя загран. замка — Эльсинор.

стр. 46

Александр Кабаков

А как можно (можно зачем) не посвятить отдельного романа Александру Абрамовичу Кабакову, писателю и человеку? Во-первых, бывший чемпион Украины по фехтованию. Во-вторых, стопроцентный стиляга шестидесятых, тонкий ценитель и знаток того стиля. В-третьих, не недоумок-гуманитар, а приличный инженер элитного технического института. В-четвертых, пьет как боевой конь и эту репутацию тактично культивирует. После первой выпивки при знакомстве в «Московских новостях» я отбомбился в лестничный пролет, как Б-25 с пикирования, а он всего лишь выпалил в форточку из газового кольта-«питон». В-пятых, обладатель тяжелого бархатно-металлического баритона, от природы поставленного на зависть многим высокооплачиваемым теледикторам.

Ироничный мачо.

стр. 46

«Сочинитель»

Его роман «Сочинитель», впервые опубликованный в 91-м году, был крут и чист, хотя не снискал такой славы, как «Невозвращенец» в 89-м. Оглушительный успех «Невозвращенца» сделал Кабакова, уже сорокашестилетнего, знаменитым в одночасье: классика бестселлера, попадание в центр десятки, бритвенный срез всех грядущих проблем зловещей эпохи перемен. При объеме всего в 50 страниц! За год он был переведен на 30 языков. Разбогатевший Кабаков нес свою славу с редкостным тактом и небрежной иронией, но одним из светских львов Москвы остался навсегда.

стр. 46

Случайно, стало быть,
на ноже карманном...

Другого светского льва звали Александр Блок, естественно: «Случайно на ноже карманном найди пылинку дальних стран — и мир опять предстанет странным, окутанным в цветной туман». Это стояло эпитафией. При первой публикации, в журнале «Знамя», меня мягко и вежливо попросили эпитафию снять. Зачем — я так и не понял. Может быть потому, что известные стихи Блока — это банально? Или Блок на тот момент был не в моде? И сейчас

не знаю. Ну, снял. Убрал в текст. Так и переиздаю. По инерции. Вроде как Тернеру повесили пейзаж вверх ногами. Посмотрел он, хмыкнул и сказал: а и черт с ним, оставьте, так даже лучше. А первую строку цитировать не буду, и все стихотворение не буду: кому надо — сам помнит и понимает, что к чему, кто не помнит — и не надо, а захочет — пусть возьмет с полки Блока и перечтет: справка существует для разъяснения, а не для поощрения серости и лени. И так развелось плебеев выше крыши, и все норовят иметь литературное мнение, черпая его из масс-медиа. И вечный бой, покой нам только снится, только скажет: прощай, воротись ко мне, и опять по траве колокольчик звенит...

стр. 46

Этот ножик...

И вызванивает роман о ноже — а какое хорошее название: «Роман о ноже»! Тот ножик я давно потерял — забыл в гостинице вместе

еще с кучкой походно-хозяйственной мелочи. Честно говоря, толку с него было немного: пинцетик сломался, зубочистка затупилась, пилить пилкой было нечего, а хилое маленькое лезвие разболталось. Такие ножички на распродаже в Нью-Йорке, как я позже увидел, стоят 99 центов (китайские, понятно, а не натуральные швейцарские). А вот другой нож, потерянный вместе с этим, был классный, и я долго искал замену. Он был куплен двадцать лет назад в обычном магазине города Могилева. За два рубля семнадцать копеек. Накладки ручки были из так себе синей пластмассы и изображали попугая — с длинным, чуть гнутым хвостом. А вот девяти с половиной сантиметровое лезвие имело толстую спинку, опускающуюся и утончающуюся к острию под финку, и жало держало исключительно — я не точил его ни разу, используя для всего: с равной легкостью он рассекал свежую булку, стругал дерево и резал консервную желье. Сталь-то была оружейникам понятная: рессорная, 65Г. Сделан он был цехом ширпотреба Могилевского завода ПТО — подъемно-транспортного оборудования, а завод принадлежал Министерству среднего машиностроения — то есть оборонного. Там делали ракетные тягачи. А ТУ (технические условия) на

оборонных предприятиях выдерживали жестко, военпреды бдили, и эта твердая марганцевая сталь, прокованная пусть паровым, но кузнечным молотом, шла под клинки отменно. Нож имел хороший прочный фиксатор, отчетливым щелчком отмечавший постановку раскладного лезвия в рабочее положение. Позднее я узнал, что он в точности копировал испанскую наваху самого популярного размера, только рукоятки у тех делаются обычно деревянными с латунным хвостовиком. Я долго искал замену потере, пока не нашел такую, уже в конце девяностых, в оружейном магазине на Невском — за тридцать долларов. Если прибавить истории про фамильный офицерский кортик с императорским вензелем, принадлежавший еще моему прадеду; про огромный «выживальник» типа «рэмбо» с клином формы классического «боуи», который я волок через две границы; про копеечный кухонный, используемый в скотоперегоне и наточенный на камнях до бритвенности, который я возил в сапоге и, нарезая как-то для закуски жареное мясо прямо на собственной ляжке, в эту ляжку и всадил (алкогольная анестезия); про подаренный читателем в Бостоне натуральный «бак»... интересный мог бы выйти на любителя трактат о ножах и о том, что ими резалось, как, где и почему.

стр. 46

Довлатов

Но читателей, как естественно выяснилось, гораздо больше задело, как, где и почему упомянул я в этом скромном и кратком

своём сочинении Довлатова. И это требует отдельного, отдельного объяснения. «Вы взялись играть на его территории, а ведь Довлатов уже классик», — предостерегла критик Наталья Иванова, замглавного журнала «Знамя», когда там взяли роман к публикации и, опять же с колес, вкатили в идущий номер: перед 8 Марта я привез рукопись — в июньском номере ее опубликовали.

А дело, стало быть, так было.

Много лет в голове у меня вертелись разные разности типа мыслей о литературе и окрестностях, подогреваемые нормальным желанием их высказать. Но собрать их

до кучи в мемуар и озаглавить его «Жизнь и размышления» — что я, Бисмарк, что ли. Нормальный беллетрист стремится все свои материалы нанизать на нечто в роде сюжета. Нить мне нужна была, проволока для флажков, несущая конструкция для разнородных грузов. И практически не существовавшие, виртуально-паутинные отношения с другим писателем представились мне удобной, прозрачно-вариабельной нитью для навески на нее всего на свете обо всем на свете. То есть: Довлатов здесь — фигура совершенно условная, выполняющая служебную функцию: объединение мозаичного материала, собранного на ассоциативной основе. Только для этого мне нужны были упоминания о нем.

Еще Жозеф Ренан отметил: «Если среди трехсот слов на странице писатель один раз употребит слово „....“, то читатель заметит только это слово». Так и произошло. Ренан был приличный филолог и понимал в психологии стиля. За небольшим исключением высоколобых (не по социальному статусу, а по высоте лба), читатели восприняли однозначно так, что это роман про Довлатова. Намерения автора при объективации результата никого не интересуют.

Озадаченный неожиданными отзывами автор взял в конце концов бумажку и карандаш и стал просчитывать собственное сочинение: какая часть его посвящена Довлатову и вообще содержит какие-либо упоминания о нем. Я пересчитал дважды, и у меня получилось 14,8%. Шесть седьмых текста и вовсе не имеют к этому вопросу никакого отношения. Вообще и категорически о другом.

Несколько внешних — и заочных — точек совпадения наших судеб носили случайный характер в жестко построенной эпохе и не имели никакого значения ни для него, ни для меня. Только на посторонний и непосвященный взгляд они проецируются на одну плоскость и могут вызвать мысль о какой-то общности. Сотни людей писали и не печатались в Ленинграде, сотни тысяч русских жили в Таллине, массе народу свойственна ироничность речи.

Вот ироничность и сыграла здесь дурацкую шутку. На читательской встрече в Государственной библиотеке, бывшей Ленина, интеллигентная дама спросила: «А вам не страшно так саморазоблачаться перед читателем?» Не в лучшем свете, значит, вы сами себя выставляете. Я несколько растерялся и сумел ответить лишь в том духе, что отзываться в невыгодном свете о себе и в противовес в выгодном свете о другом — не более чем признак приличного тона и элементарного воспитания. Я всегда завистливо презирал умельцев, тактично и ненавязчиво ухитряющихся демонстрировать свою значительность и весомость в как бы нейтральных мелочах: плебейство! Надо быть доном Гарсиа, чтобы небрежно предложить Жуану, выкидывая на пирушку полугодовое содержание: «Если у вас нет лучших планов на вечер, не согласитесь ли скрасить мое одиночество и отведать сносного винца в одном заурядном кабачке», — и выкатить все лучшее и дорогое. Убедившись в наивном плебействе мэтра Котара, Вюрдерен по совету жены дарит ему на день рождения перстень с фальшивым бриллиантом — и всячески подчеркивает, что это крайне ценный подарок: одариваемый счастлив. Тоньше он не понимает. Сегодня мэтр Котар формирует общественное мнение. Я-то, балда, пребывал под влиянием той сентенции, что «Умение смеяться над собой — признак благородства. Серьезное восприятие самоиронии другого — признак душевной тупости».

Сколько-нибудь порядочный человек воздаст должное оппоненту, морально возвышая его над собой. Воспринимать эту позицию в лоб за чистую монету — удел нравственно искалеченных. Я думаю так, сказал Винни-Пух.

Сотни отказных рецензий получил Довлатов в СССР. И только один рецензент, тогдашний салага-практикант, помянул это публично и покаянно. Хвороста ему подбросьте, святые души!

У успеха много отцов — и много публикаторов Довлатова в России с достойной скромностью отмечали свои заслуги. Я напечатал его действительно первым в еще СССР — сказав, что я здесь в общем и ни при чем, как

единственно и может отозваться о себе не жлоб. А, ну так и ни при чем, сам говорит.

Честный человек отличается от фарисея тем, что говорит о мертвом как о живом — а фарисеям обычно говорить о живом, как о мертвом. Если кто для тебя что-то значил — ты всегда говоришь о нем, как о живом: но это непонятно приверженцам погребальных церемоний.

Это я ходил нищим по тем же ленинградским улицам. Я бился лбом в те же стены. И это я при вести об его смерти встал и выпил молча, а не ты, дарлинг. Тебе понятна лишь слава мифа — и ты ревниво и болезненно оберегаешь один из мифов в своей голове: отклонения от мифа царапают нервные клетки в твоей голове, где этот миф хранится, а человека ты не знал и знать его тебе не хочется. Какая на хрен правда и ирония, не троньте мои представления о мире! Вы говорите не то, что полагаю я? — да вы просто считаете меня дураком, милейший! вы покушаетесь на мою умственную состоятельность! — вы злонамеренный хам! — — Вот нормальная реакция простодушного плебея, уважающего себя за умение читать.

«Хотите знать правду, какой она живет в моей душе?» — спросил старик Катаев, и читатель получил кристально чистое письмо «Алмазный мой венец». «Ну и говно же, оказывается, этот Катаев», — приговорил читатель. Его мало интересует правда — его волнует приросший к мозгу миф, разрывающий ум, как баобаб — крошечную планету. Если правда противоречит мифу — виноват носитель правды.

Того, кто обнаруживает изъян на портрете, обвиняют в том, что это он изъян и нанес. Пока не видели — вроде и не было. Издатель Захаров, руководствуясь движущей идеей бизнеса, издал переписку Довлатова с Ефимовым. Правовую сторону оставим на совести издателя и правоведов. Не об том спич. Довлатов предстает в своих письмах человеком усталым, грустным, едким, порой ядовитым и желчным, порой сомнительно справедливым — битым жизнью и не сильно здоровым и счастливым. Что же читательский приговор? Экая скотина Захаров, какую гадскую книгу из-

дал. Нет чтобы: несчастье своей жизни автор писем носил в основном в себе, как обычно и бывает, и тяжело жил, и другим с ним несладко приходилось, и полно пятен на любом солнце, и не так-то все просто и однозначно. Фиг! «Как вы смеете показывать его с такой стороны!!! Ну и что, что сам писал эти письма — а показывать это публике — хамство».

Господи, как печально иногда жить среди дураков, уверенных в своем статусе умных...

Я люблю роскошь и живу в ней. «Мерседес» — это ведь просто качественная консервная банка с конвейера, доступная любому, кто хапнул бабок. Думать правду и говорить правду — это роскошь штучная. Штучно признаюсь: я презираю быдло. Быдло — это не те, у кого жидко меблирован чердак. У каждого своя работа и свои представления о жизни. Быдло — это те, кто укомплектовал свои извилины заемными представлениями о том в частности, что есть культура, и белесой ненавистью ненавидят тех, кто смеет думать иначе. Быдло — это верхний срез массокульты, ревниво полагающий себя элитой и отрицающий возможность инакомыслящей элиты. Они думают, что любят Пушкина, но именно их Пушкин и называл чернью, а не крепостных без культуртрегерских амбиций. Быдло — это те, кто колеблется вместе с генеральной линией, пусть это не политическая, а общественно-эстетическая генеральная линия.

Я достаточно уверен в себе, чтоб любить над собой смеяться. Я достаточно презираю общественное мнение, чтобы не лгать ему. Достаточно, если поймут немногие. Достаточно, если один. Достаточно, если ни одного. Господь поймет, а остальные не важны.

Я пишу эту книгу для остальных. Ставлю такой опыт — единожды. Я намеренно и сознательно изобразил себя как бы проигравшим виртуальный и вымышленный поединок, которого не было. Я не ожидал такого эффекта, сознаюсь, — быть простодушно принятым за завистливого идиота, который подает эдакое всерьез. Я всего лишь живописал еще одни страдания неюного Вертера, уже написанные (отсыл на страницу назад к абзацу про Катаева).

Зная, что на том свете мы выпьем наконец с Довлатовым и посмеемся много над кем, злословя всласть,— мне будет чуть-чуть не так грустно умирать.

...Итак, итак: все это лишь к удобству «витой композиции» высказываний и оценок литературного и эмигрантского процессов эпохи распада СССР.

стр. 46

В таллинском журнале «Радуга»...

Перед агонией наступает оживление: именно этот период распада назывался «перестройкой». Среди стремительно возникающих изданий появился и эстонский журналчик «Vikerkaag» вместе со своим систер-шипом «Радуга» — она была на 60% переводом эстонского первородного брата, на 40% оригинально-самостоятельная: выходила с конца 86 года. Выходит и поныне — на госдотацию, тиражом в сто раз меньше, чем в апогее, что свойственно ныне всем постсоветским литературным журналам. Штук четыреста — а было под сорок тысяч. В № 1 за 89 год там впервые в СССР был опубликован Довлатов: рассказы «Марш одиноких» и «Поединок». Шлепнуть больше не дозволял объем, отведенный русской беллетристике.

стр. 46

Редакция была дамская...

А работали в нем Алла Каллас, Вера Прохорова, Татьяна Теппе, Марина Тервонен, Ирина Шарова — и по средам восседал в этом цветнике ваш покорный слуга, снедаемый жаждой сеять наиболее разумное и вечное из всего, что становилось возможным с каждым месяцем все свободнее. Весело жили!

стр. 47

...качества дешевых китайских товаров.

Духовное веселье, согласно одному из законов природы, сопровождалось стремительным материальным обнищанием: из магазинов исчезало решительно все! Чай, мыло, масло, сигареты — а там дошло и до хлеба. Ввели ведь карточки! — в ЖЭКах отрезали от простынь напечатанных талонов месячную норму покупок на продукты, но отоварить те талоны не шибко удавалось. Не забыли? Чудный сюжет эпохи: заходим с приятелем в бар хлопнуть

по рюмке. Водки нет, коньяку тоже нет, и вина нет, а есть только напиток «Тархун» — зеленый, как зеленка, в бутылочках из-под пепси-колы, ядовитостью в сорок градусов. Нет орешков, нет бутербродов, нет конфет и шоколада, пирожных тоже нет; а слово «оливки» было тогда еще метафорой из древнегреческой истории. Зато есть мыло. Хорошее и даже знаменитое французское мыло «Пальмолив». Я до этого читал его название только в книге Белля «Город знакомых лиц». А мыла, естественно, тоже нигде не было. Берем мы по рюмке и еще хотим кусков по шесть мыла — мыться, впрок. Э, не, говорит барменша. Мыло только по одному куску на руки. И только тем, кто берет выпить. Дала по куску к рюмке. Хватили мы «Тархуна»: логично, только мылом его и закусывать. Засмолили сигареткой. Берем еще по пятьдесят — и два куска мыла. Когда мы в четвертый раз огласили заказ: два по пятьдесят и два мыла — с барменшей сделались колики — хорошо закусывают мужики! Естественно, в атмосфере этого позднесоветского изобилия все заграничное представлялось еще лучшим, чем раньше. А старый, 60-х годов, китайский импорт помнился: качество было вечным, хлопок — неснашиваемым, термоса — герметичными, авторучки — действительно самопишущими. Так что марка «Made in China» выглядела на наш взгляд очень надежно и даже респектабельно. А еще немного, еще чуть-чуть — и повезли народившиеся «челноки» одноразовые кроссовки и саморазваливающиеся игрушки. Шагающие в ногу с переменами китайцы правильно поняли рыночную конъюнктуру и дали партнеру именно то качество, которое он согласился потреблять.

стр. 47

...воробья, истребленного
рисоводческим
кооперативом.

А как мы когда-то любили
китайцев!

В конце 50-х, период отчаянной советско-китайской дружбы навек, наша пресса под фанфары превозносила успехи китайцев во всенародной борьбе за подъем и расцвет всенародного хозяйства, воспевала «Большой Скачок», когда чугуны предписали плавить в каждом деревенском дворе по ста-

рофольклорной технологии (потом эти шедевры металлургии меланхолично зарывали в могильники, пока не купили технологию переплавки), и в числе прочих коммунистических достижений великого восточного соседа журналисты восторгались массовой борьбой с воробьями, чтоб эти суки не расклеывали народный рис с народных полей: и публиковали выкладки, какие это горы центнеров и тонн расхищают птицы, и сколько трудящихся можно прокормить заместо бесполезных пернатых. Выбирая между китайцем и воробьем, мы безоговорочно поддерживали китайцев; а движения «зеленых» тогда еще не было, хватало и желтых выше крыши. Еще не факт, что китайцев в Китае намного меньше, чем воробьев, и воюя с ними за свою пайку риса, они их гоняли (китайцы — воробьев), не давая сесть, пока не выдержавшие такого социалистического соревнования в выносливости птички не падали на землю обессиленными, без поддержки коммунистической идеологии, поддерживавшей их врагов: тут-то их и приканчивали (китайцы — воробьев). «Пионерская правда», тотальная подростковая газета той эпохи, была полна очерков типа следующего: «Пионер Ван Ли-чуй, желая участвовать в борьбе всего народа с вредителями, изготовил из побега бамбука лук, сам выстругал стрелы и стал тренироваться в меткости стрельбы, пока не научился без промаха попадать за двадцать шагов в маленькую дырочку в стене (нет, каков фрейдизм!). Тогда он приступил к планомерной охоте на воробьев, которой пионер посвящал все свободное от учебы в школе время. Вскоре Ван Ли-чуй уничтожил уже двести вредителей, и удостоился за это награды — Районный комитет пионерской организации отметил его инициативу Почетной грамотой. А когда счет юного снайпера достиг тысячи, правление кооператива премировало его мелкокалиберной винтовкой. Первого октября Ван Ли-чуй отправился в город и на деньги, заработанные на полевых работах, где он помогал взрослым выращивать рис, купил двадцать патронов. На обратном пути домой юный пионер убил еще двадцать воробьев». Драмы судеб и изломы эпохи громоздятся за каждой подобной деталью.

стр. 47

...скудоумных итальянцев
с примитивом их
линейно-геометрической
перспективы.

И если давать все эти детали в нормальном соотношении, то нормальный объем повествования разлезется на многие сотни страниц. На самом деле, конечно и общеизвестно, что изобретение и применение итальянскими художниками Ренессанса той перспективы, которая нам теперь кажется фотографически естественной и единственно «нормальной», было открытием, революцией, гениальным актом. Однако «итальянская» перспектива — лишь одна из многих существующих и возможных. Шутливо-уничижительный отзыв о ней — отражает в данном случае пренебрежение к «традиционной», «обычной и ясной» перспективе, то бишь композиции, в которой подается являемый материал в художественном произведении. Шкатулочно-витая, «компакт-эссенцированная» композиция, она же по сути перспектива времен и взглядов, в данном тексте позволяет скомпоновать вещь гораздо более емко и многозначно.

стр. 47

...«Собака на сене».

Взять хоть знаменитую пьесу Лопе де Вега. Разумеется, она не имеет никакого отношения к перелому территорий, обыгрывается лишь суть присловья, легшего в ее заголовок. Но телеверсия пьесы, созданная в СССР в конце семидесятых (парад звезд и песни Боярского), стала одним из культовых явлений и еще одной приметой эпохи.

стр. 47

...я жил на китайской
границе...

А за две эпохи до нее (сколько эпох я уже успел пережить!..), до застоя и до шестидесятых, отец служил в Забайкалье, на Маньчжурке, в самом уголке карты.

Офицерская семья, гарнизонная жизнь: Борзя, Датсан, Хадабулак. Роман, ностальгический роман! Степь, сопки, песок, солнце: триста сорок солнечных дней в году. Плюс сорок днем в июле, минус сорок пять ночью в январе. Самая холодная сводка была — минус пятьдесят два. Холод-

нее сорока до четвертого класса не ходили в школу, но иногда ходили — а то неделями бы пришлось дома сидеть, а директор был суров, одноног, грозен, хотя и добр, Александр Павлович, инвалид войны, фиг его забудешь, до седьмого класса по приказу стриглись под ноль, «деревенские» дрались с «офицерами» после уроков, зимы бывали бесснежными, поверх мерзлого песка зимние бураны секли пылью, носили на улице защитные очки — токарные, типа старинных авиационных «консервов»: дерматиновая маскарадная маска с квадратными складными стеклами панорамой; два часа летом езды на велосипеде до стыка китайской и монгольской границ, граница полуусловна: поросшая степной травой шестиметровая КСП (пропаханная контрольно-следовая полоса), за ней — километра полтора нейтральной земли, весной и осенью на бесчисленных озерцах отдыхали и подкармливались с полей перелетные гуси, охота была знатная, десятками с пары-тройки зорек привозили — мясо плотное, без жира, незабываемый вкус дичи, клали на ледник и ели потом месяцами, жратва-то была скудная, для витаминов детей кормили сырой картошкой, офицеров-то выручал северный армейский паек, а местное население глодало что придется, до конца пятидесятых многие в землянках жили, места-то безлесные, к Новому году посылали из полка машину за триста километров на север, в прибайкальскую тайгу, и раздавали по семьям сосны — я долго был уверен, что сосна и есть елка, а короткие иголки в книжках рисуют для красоты; зимой на базаре продавалось мороженое молоко — замораживалось огромными желтоватыми бубликами в чуде — кто помнит, что такое «чудо»? такой алюминиевый полый тор литра в два емкостью, в нем все пекли тогда бисквитные торты; когда в конце пятидесятых заасфальтировали первую в Борзе улицу (Ленина, разумеется, а параллельная называлась Лазоборзинская — кто еще помнит Сергея Лазо, паровозную топку и японских интервентов в 20-м году?) — как асфальтируют дорогу, только однорядную ленту проезжей части, то буряты приезжали из стойбищ верхом — посмотреть на асфальт, ко-

торый видели только некоторые — в кинохронике. Из деревьев росли американский тополь и акация — их после войны сажали солдаты в гарнизонах, никакие другие деревья не выживали: умели и мы делать оазисы в пустынях, а это ведь край Гоби, пустыня что надо. А невдалеке, в Чинданте, стоял аэродром стратегической авиации, и бомберы Ил-28, первые советские фронтовые реактивные бомбардировщики, заходили на посадку над головами, от рева стекла прогибались, а гигантские, жутко-прекрасные М-3 плыли тише, и раз в полгода кто-нибудь из них бился, столкнувшись с танкером при дозаправке в воздухе, не любили летчики машину Мясищева, но нужна была срочно под межконтинентальные перелеты и водородную бомбу, по центральной улице под военный оркестр полз затянутый кумачом грузовик, и фуражка с крылышками лежала на крышке всегда закрытого гроба летчика. Все офицеры старше тридцати отвоевали, все были готовы к войне, а на китайцев наши отцы в разговорах за бутылкой надеялись как на союзников без подвоха.

Пограничная с Китаем станция
стр. 47 Отпор получила свое название в
...называлась тогда Отпор! 38-м году: «малая японская война», уже великая дружба и сотрудничество с Китаем против Японии, взлет генерала Жукова, командировки и стихи юного Константина Симонова. «Гремя огнем, сверкая блеском стали рванут машины в яростный поход, когда нас в бой пошлет товарищ Сталин и первый маршал в бой нас поведет!». Крючков, Алейников, Андреев, Бернес — кумиры страны, танкисты и истребители. И вот раз летом пошли мы с пацанами «на ДОТы» — старый укрепрайон, оставленный в 45-м при наступлении, километров двенадцать по степи, жара, дух раскаленных трав, пот тут же засыхает на коже — пришли: пятиметровые противотанковые рвы, бетонные точки в углах его изломов, врытые в холмики колпаки — а тонная броневая дверь отъезжает на роликах мягко, пулеметные турели ходят перед амбразурами все в смазке, и красной краской по цементу: «Капитальный ремонт 1960 года». Ни хрена себе. Мы еще

дружим, а оно уже керосином пахнет. К 1966-му году отношения с Китаем напряглись так, что название «Отпор» на границе с ним стало звучать провокационно, как бы предвосхищая военные действия; ну и переименовали.

стр. 47

...борьба с мухами...

Мы-то все еще думали, малолетки, что китайцы покушаются только с мухами воевать, поднаторев на воробьях, которые, видимо, кончились: мухобойство было также возведено в ранг государственной кампании и освещалось нашей прессой как дело чести, доблести и геройства, как активное социалистическое преобразование действительности — для счастья и удобства прогрессивного человечества. А они уже клеймили советских ревизионистов, договаривающихся с американцами и не дающих братскому Китаю обещанную Сталиным атомную бомбу: архивы все еще засекречены.

стр. 47

...гоминдановцами.

А ихние разгромленные победоносной 8-й НОА — Народно-освободительной армией Китая — гоминдановцы представлялись нам тогда вроде гитлеровцев, а сам Го Минь-дан — империалистическим реакционным генералом фашистского толка, воевавшим за капиталистов против трудового народа. Позже, в изумлению, оказалось, что гоминьдан — это демократическая социалистическая партия, и основал ее в 1912 году великий революционер Сун Ят-сен, демократический преобразователь Китая и большой друг советского народа. Когда в тридцатые годы Союз дрался с Японией на китайской территории за гегемонию в регионе, лидер страны и партии гоминьдан маршал Чан Кай-ши был лучшим нашим корешем и союзником, и всем он был нам хорош и угоден. А вот когда после Второй Мировой мы поставили на приход к власти коммунистов в Китае, демократическую гоминьдан предали анафеме. Страсти кипели какие! «Москва — Пекин! Братья навек!» — торжественно гремела гимнообразная песня под сводами Ярославского вокзала в Москве, когда

поезд № 1 (!) — курьерский «Москва—Пекин» — торжественно трогался от перрона! И комфорт на нем был что надо, и обслуга вышколена, и вагон международного класса в составе (синий бархат, душ-туалет между купе-двойками), настольные лампы и пепельницы в купе, попутчики за неделю путешествия делались старыми друзьями, каждый день на час переводили стрелки часов — шесть часовых поясов до Читы, а километровый столб на станции Борзя показывал 6541 километр от Москвы; авиация еще только вставала на крыло, поезд был домом родным; а в вагоне-ресторане китайцы брали порцию лапши на столик и ели палочками вчетвером.

На них смотрели с сочувствием, уважением, любопытством: экзотика, бедность, другая культура, одеты чистенько, а едят мало и из

стр. 47
«Смелый, как тигр».

одной миски. А трудолюбивы и героически храбры! В упомянутом китайском военно-патриотическом боевике Народно-освободительная армия героически била подлых японских оккупантов, превосходящих китайцев в живой силе (!) и вооружении. Главный герой проходил светлый путь от деревенского мальчика до командира подразделения. Он совершал массу подвигов по восходящей, и в конце — катарсис! — погибал смертью храбрых, взрывая дот с японскими пулеметчиками. Дот, я твердо помню, для удобства подвига был сконструирован режиссером вроде небольшого дугообразного кирпичного мостика-арки: толщина арки была как раз такова, чтобы внутри, трусливо пригнувшись, помещались японские пулеметчики, а высота от земли — метра два, чтобы герой в полный рост стоял в свой звездный миг с победно и гордо поднятыми руками, прижимая к нижнему своду дота-арки пакет с толом. Ка-ак дрызнуло! И наши победили. Александр Матросов в китайском варианте: старший советский брат подавал пример и в эстетике. Мы с пацанами еще обсуждали, почему нельзя было какой-нибудь жердью подпереть эту взрывчатку и смыться в сторону, тем более что бикфордов шнур горел долго, чтоб все бойцы и зрители смогли прочувствовать, какой сейчас будет по-

двиг. Что же касается мисочки лапши на четверых — забываема была хозяйственно-отчетная церемония после первого боя (она подразумевалась и после других боев): общее собрание роты, каждый боец встает по очереди и докладывает командиру роты о расходе средств и эффективности их использования: «Четыре раза выстрелил из винтовки. Бросил одну гранату. Убил шестерых оккупантов. Один раз, к сожалению, промахнулся.— Ничего. Бывает. Неплохо! Садись. Следующий!». То есть во всем китайцы были стеснены, экономны, рачительны, умелы. Фильмов тогда было мало, крутили их по многу раз, а уж особенно в районных клубах и гарнизонных Домах офицеров (ДОСА — Дом офицеров Советской Армии): там репертуар был специфический, вдохновляющий, геройский. На ограниченности кинофонда основывалась тогдашняя детская (подростковая) игра «колечко»: водящий загадывал — и по первым буквам надо было отгадать название фильма. («НТ»! — «Над Тиссой». «ОЭЗН»! — «Об этом забывать нельзя».) Но что интересно, что характерно: искусство дублирования кинофильмов достигло в СССР высот необычайных, совпадение русских слов с иностранной артикуляцией было буквально полным, этим подрабатывали блестящие актеры (ролей-то и заработков не хватало), и были режиссеры — асы дубляжа; так вот, в китайских фильмах герои говорили омерзительно фальшивыми ханжескими голосами с неестественной псевдовосточной интонацией. Французы, испанцы, — все изъяснялись кристальным языком МХАТа, разве что фашисты начинали лепить с пародийным немецким акцентом по-русски, даже беседуя между собой; ну и татаро-монголы туда же — прекрасен хан, ведущий совет в юрте по-русски с татарским акцентом. Так они являли свою гнусную национальную и политическую сущность. И только китайцы поголовно, даже самые положительные, щебетали неестественно сладкими и гнусавыми фальцетами, как обдолбанные кастраты на комиссии партийного контроля, и их немедленно хотелось приложить плоскими лицами об что-нибудь. Говорили: фильмы есть хорошие, плохие, студии Довженко и китайские. Я и сейчас могу

объяснить данный феномен только ненавистью дублеров к этим фильмам и их вредительской (подсознательной?) издевкой, над собственными речами. (Такое впечатление, что сейчас эти дублеры переселились в бразильские сериалы, сохранив те же интонации для псевдопортугальского хнычущего и сюсюкающего акцента.)

стр. 47

Двадцатизарядный
маузер Ли Ван-чуня
не могло заклинить.

При этом стилистика речей сохранялась неизменно патетической! Взять хоть этого маузериста (было такое слово): фраза означала, что прекращение стрельбы героем, всегда содер-

жавшим в идеальном порядке свое безупречно надежное оружие, могло произойти только с его смертью в неравной и самоотверженной борьбе. Цитата эта из детской книги (как тогда писали, «для среднего школьного возраста») китайского писателя-коммуниста Ци Хуаня «Ребята из деревни Селюшуй», китайский вариант «Красных дьяволят». Как и все последующие в тексте, цитата не закавычена; обилие цитат, всажённых в текст как нагруженные элементы конструкции, вроде бревен в галльской кладке, идет не от провинциальной болезни образованщины, но оттеночно уподобляет текст центону: когда оригинальность и новизна рассматриваются скорее как отрицательные характеристики, в то время как освященность устоявшимися авторитетами придает произведению большую весомость — составление новых произведений из отрывков наиболее известных и живших ранее авторов являлось едва ли не господствующим методом в литературе поздней античности, т.е. в период упадка и декаданса. Еще один мотив пародии на всю современную культуру.

стр. 47

...практикант
в журнале «Нева»...

Живьем я в эту действующую культуру впервые воткнулся в мае 1971-го года, выхлопотав себе в деканате журнальную практику вместо музейной, что иногда до-

пускалось для филологов-русистов, специализировавшихся по современной советской литературе. Вот двадцатидвухлет-

ним студентом четвертого курса я и явился с улицы в «Неву», где был немало лишен идеологической и литературной девственности: первый опыт жизнерадостного и едкого журналистского цинизма может травмировать на всю жизнь. Трещина и внемля старшим товарищам, я разевал рот! Что они туда вкладывали? Что хотели.

стр. 47

Владимир Николаевич
Кривцов

Кривцов (1914—1975, филолог-китаист, большую часть сознательной жизни прослужил офицером в политорганах — эпоха!.. — член Ленинградской

писательской организации, приличный мужик был) был еще сдержанно-бережен с ранимым юным дарованием. Второй и тогда последний сотрудник данного отдела прозы явился куда многограннее, изощреннее: это разговор особый. Прошла треть века — можно раскрыть страшный секрет: я его выдумал!.. Теперь уже и самому не верится...

стр. 48

Самуил Аронович Лурье

Сага, сага! Роман, роман! По порядку. Имея склонность к фантазированию, как почти все пишущие и многие не пишущие,

я стал себе измысливать руководителя, куратора-наставника своей вожделенной журнальной (действующая литература!) практики. Разумеется, он должен быть мужчиной. Теперь — возраст. Уже опытный, не молод — но, скорее, в возрасте мужского расцвета. Чуть за тридцать — представлялось тогда мне из неполного двадцатитрехлетия. И я определил ему на восемь лет больше, чем себе — разница в восемь лет у нас была с младшим братом. Как бы это по возрасту был мой совершенно взрослый старший брат. Национальность? Скорее всего еврей — их больше бьют, им приходится в среднем больше и горше задумываться о жизни. Высокий, худощавый, жилистый, может много выпить. Но чтоб не выглядел плакатным суперменом — наденем ему очки. Ну, и лысину для полноты образа. Образован, ироничен, хорошо говорит, голос ему получше — не вовсе левитановский, мороз по коже нам не нужен, но чтоб такой низкий приятный баритон.

Шикарный образ получился! Имя. Хорошее, простое, русское — а на самом деле, по паспорту, сугубо еврейское, библейское, имя пророка залудить такое. Произносим Саша — пишем Самуил.

Вот так я населил отдел прозы «Невы» Самуилом Ароновичем Лурье и придумал ему биографию. Пигмалион, Франкенштейн, родильная горячка, «Я тебя слепила из того, что было, а потом что было — то и полюбила». Я ввел любимого в историю!

И вот всю жизнь он проработал в «Неве», сльвя большим либералом, эрудитом и очень тонким высокообразованным редактором. Филолог-русист моего же университета, хотя уж правильнее сегодня сказать — президентского, путинского. Изящнейший скептик и блестящий оратор камерного масштабе. Блестящий критик. Пятнадцать лет писал биографию другого критика, Писарева. Первую главу я читал на практике. Последнюю — в годы перестройки. Дойдя до смутно знакомой фразы «Никогда еще ему не работалось так хорошо, как в эти месяцы», подумал о разном не в положительном смысле.

Любимец прилитературных дам. Директор-наставник школы злословия, если бы таковая была оформлена. Храбр и стоек в литературных скандалах, как-то образующихся вокруг и по соседству. Во время очередной схватки тогдашний главный редактор «Невы», Дмитрий Терентьевич Хренков (ветеран партии, благородная седина над костюмом цвета семги, член правления пис. организации, полутяжелая весовая категория, бывший директор номенклатурного издательства «Лениздат»), на общем собрании вознегодовал с угрозой: «Я думаю, что вам, Самуил Аронович, в редакции не место!» И немедленно получил ответ беспартийного редактора: «А это мы еще посмотрим, Дмитрий Терентьевич, кто из нас останется в редакции». И? Дмитрия Терентьевича увезли с инфарктом и проводили на пенсию. Браво первая валторна.

В самые глухие застойные времена, когда КГБ уже не охотился на ведьм по причине их полной переловленности с большим запасом, но пискнувшую мышь подвергал

уголовному суду за антисоветские высказывания — Лурье оставался бесшабашно и эпатажно храбр в речах: вплоть до сделанного мне однажды в редакционном коридоре предложения вступить в борьбу «со страшным аппаратом КГБ». Я попятился и открестился с ужасом: то, что сходит с рук Иове — не положено корове. И ничего ему за это не было! И на работе — идеологической, в толстом журнале! — его продолжали держать. Уж не знаю, какой тут нужен запас везения — на двадцать-то лет. Зная дежурные приемы работы Пятого Управления КГБ, некоторые пускались на этот счет в сумрачные размышления о причине непопулярности.

Характерно и другое: никто из вышедших из Ленинграда писателей, вошедших позднее в славу — Токарева, Битов, Толстая, Кураев — отдел прозы «Невы» не прошел, хотя печатал этот свободомыслящий отдел массу разного, чего сейчас почти невозможно вспомнить.

Эмигрировавший позднее в Швейцарию ленинградский писатель Юрий Гальперин еще в семидесятые утверждал, что Лурье — фигура неоднозначная, в душе болезненно ревнив и с годами все более завистлив ко всему талантливому, а при чужом успехе заболевает разлитием желчи. Думаю, он просто злословил, тем более в компании и за бутылкой. Также съехавший околелитературец Миша Лемхин и не такое рассказывал, но нигде не клеветают больше, чем в околелитературных кругах.

Факт же в том, что когда меня вышибали с пятого курса за разнообразные безразмерные прогулы и идеологические высказывания, именно Лурье надел серый выходной костюмчик и отправился на филфак утрясать мой вопрос со старыми приятелями-однокашниками, немало приложив руку к тому, что меня оставили.

Более того: когда отдел прозы получил третью ставку — Лурье хлопотал, чтобы взяли меня. Хотя в то время еврей, беспартийный, разведенный, без прописки, без опыта редакторской работы — на это место не мог быть принят в страшном сне, и мы оба это понимали, то есть даже я понимал, — все равно демонстрация хорошего отношения была

очень приятна. Я не верю тем, кто кривится и фыркает, что демонстрация хорошего отношения при гарантированном отсутствии результата — это лишь безопасный способ показать собственную хорошость. Каждый делает что может.

Пятнадцать лет Лурье быстро прочитывал и неукоснительно рекомендовал начальству к публикации почти все мои рассказы, приносимые в «Неву». И все они отвергались. Позднее я увидел, что в те времена они и не могли быть там опубликованы. И лишь редкие рассказы Лурье отвергал. Позднее мне показалось, что именно эти были в принципе «проходными». Но кому виднее — опытному редактору или неопытному автору?..

Лишь в 88-м году «Нева» приняла мой рассказ: уже было все можно. Лурье в этот момент был в отпуске, рассказ принял и получил одобрение главного сидевший тогда завпроезом Коля Коняев. Когда я радостно поделился счастьем с вернувшимся Лурье и робко спросил, на какой номер рассказ планируется (все знали ведь, что я был «его автор», лурьевский, то есть), Саша улыбнулся мудро и устало, и сказал, что передо мной в очереди на публикацию еще тридцать девять рассказов (за цифру отвечаю — так же, впрочем, как и за все остальное), так что раньше чем через пару лет ждать не приходится. Я недостойно забормотал о пятнадцати годах ожидания и попыток, и как же насчет моральных прав... Сбивчивое бормотание последствий не имело. Через полтора года, когда Лурье был опять же в отъезде, рассказ поставил в номер Коля Коняев сам, а пускал второй редактор отдела, Ваня Рак.

И если прежние, отвергаемые начальством, рассказы Лурье хвалил, то про этот не сказал ничего. Назывался он «Узкоколейка», потом за него пару каких-то премий дали.

Рано умерший переводчик Игорь Бабанов, умница, эрудит и добряк, как-то предостерег: «Учтите, Миша, что у Саши бывает иногда такое: он бьется за какого-то автора, пока его не печатают, а вот когда вещь берут — он вдруг начинает биться против, утверждая, что у талантливого автора есть действительно хорошие вещи, а именно эта — неудачна, и ее-то публиковать и не стоит». А в те

времена пробить публикацию в толстом журнале — о, это было событие, почти вхождение в клан, знак качества: сам факт имел огромное значение для того, кого не печатали там прежде.

Наша крепкая мужская дружба кончилась в один день. Я даже помню когда: в марте 94-го года. Дня вот не назову. Я зашел к Лурье в редакцию и подарил первое издание «Легенд Невского проспекта» — таллинский раритет тиражом 500 штук. Присовокупив, что если что-нибудь из этих рассказов, абсолютно неизвестных в России, да в общем и нигде, может быть напечатано в «Неве», так это было бы замечательно, хорошо бы, как бы я был рад. Выслушал в ответ дружеские заверения. А потом Лурье показал мне свежий номер «Московских новостей»: там про меня какая-то херня. Я грустно взял какую-то херню и прочитал категорически хвалебную рецензию Дмитрия Быкова на «Приключения майора Звягина»: они вышли недавно первым московским сотысячником и в рейтинге «Книжного обозрения» держались в топ-десятке. Я сказал, понятно, что рецензия мне показалась вполне неплохой, чего уж. «Молодой он еще, этот Быков, мудачок», — с отеческой усмешкой пояснил Лурье. Больше я Чапаева не видел. Лишь пара случайных пересечений на публике. «Галл боится взглянуть в глаза германцу», — писал Цезарь. И сердце мое переполняется печалью.

стр. 48

...ах Джон, а ты совсем не изменился.

И единственно в попытке как-то развеять эту печаль хоть на минуту, вспомнил я старинный ковбойский анекдот: заходит Джон в бар, а за стойкой сидит

Билл и читает «Физику» Перышкина. Чего ты, спрашивает Джон, это, ну, читаешь? Физику. А это про чего? А это сейчас вот как раз про круговорот веществ в природе. А это как? А это молекулы любого вещества... погоди, погоди! Ты давай по-простому, чтоб понятно. О'кей, Джон, могу понятно. Вот напьешься ты опять в баре, затеешь драку, проломишь кому-нибудь голову, и в конце концов тебя вздернут. Потом снимут из петли, заруют. Сгниешь ты в

земле, травка из тебя вырастет. Корова будет пастись, съест эту травку, переварит, и лепешек навалит тут же. Пойду я по своим делам, влезу сапогом в это дерьмо, посмотрю и скажу: «Ах Джон, а ты совсем не изменился!»

стр. 49

Авдотья Панаева

Вы помните, кого Данте поместил в девятый круг Ада? Предателей. За что карала в первую очередь «Яса» Чингиза? За предательство доверившегося тебе. Так что там про Авдотью? А вот ничего плохого Панаев ей не сделал, когда стала с Некрасовым жить. Или жене не доверялся, или спанье-житье от живого мужа с другим за предательство не считал, или взгляды человек имел широкие и любовь к великой русской литературе безмерную... но о чем я? О ком я? При чем тут Авдотья? Нить Ариадны путается в клубок, ободранный склеротический кот загоняет его под книжный шкаф, в отряхнутой из книг пыли выдуманной мною Лурье предает выдуманную некрасоведами Авдотью, Панаев спонсирует житье Володи с Лилей и Осей, а книга эта выпущена в 1929 году «Издательством политкаторжан и ссыльных поселенцев» и почему-то помнится написанной с предвосхищением стиля французского «нового романа», там Некрасов домогается Авдотьи с пронзительной наглостью, катает на лодке по Неве и швыряет весла в воду при отказе отдаться ему, следом готовится прыгнуть сам, она вынуждена спасти славу русской литературы, Коля не умеет плавать (а не дерьмо был парень!), хотя и рос на Волге — чем можно заниматься на Волге, не умея плавать? — видимо, писать стихи: «Видь на Волгу — чей стон раздастся?» — на Неве раздался стон Авдотьи, вокруг Некрасова раздавалось много стонов, даже Тургенев стонал, когда Некрасов проигрывал его гонорар во Владимирском игорном клубе — Игорь Владимиров позднее был в этом здании главным режиссером театра им. Ленсовета, а справедливее бы им. Некрасова, а уж история с модисткой, дважды пущенной юным темпераментным Некрасовым по ветру — второй раз уже тогда, когда бывшая модистка сумела встать на ноги и стала гувернанткой, — чего стоит одна эта исто-

рия: политкаторжане и ссыльные поселенцы были мстительны в своем издательстве, вот только даты рождения Авдотьи все равно не знали, ее установила с точностью (а не только 1820—1893), раскопав церковно-приходскую книгу, моя однокашница Таня Башта на той музейной практике, от которой я увильнул в «Неву», и сделала по находке курсовую, потом диплом, потом кандидатскую, и лишь быт помешал сделать докторскую. Приятно было бы узнать Панаеву, что по его жене пишут диссертации —

стр. 49

Панаев Иван Иванович
(1812—1862)

все-таки он был не только писатель и журналист, но и ее законный муж. Закономерно и горестно он заболел и умер всего пятидесяти лет от роду непо-

средственно после того, как Некрасов разошелся с Авдотьей (найдите портрет — красивая и сексапильная была баба), а заодно и с ним. Мавр делал свое дело — и сделал...

стр. 49

...их функции...

Они питали своими соками Некрасова, а Некрасов делал журнал «Современник»: читал рукописи, отбирал для журнала, снабжал

пометками и с типографским курьером отправлял на извозчике в типографию. А там метранпаж — о, это был и начальник производственного отдела, и макетчик, и ответственный секретарь, и выпускающий редактор! — наборщики, корректоры и печатники были у него в руке, — там метранпаж доводил рукописи до ума и отправлял тираж журнала Некрасову. Так вот тогда журнал издавался: всего и хлопот.

стр. 49

...внутреннюю рецензию, из расчета три рубля за авторский лист...

Но мы усовершенствовались процесс и научились выкручивать кисоньку-лапочку до последней капельки портвешку. Ежели все коровы казенные — так надо доить их до тех пор, пока бока между

собой не слипнуться. Так же доили и журналы, вымогая у отделов культуры КПСС, которые все это курировали, еще денег, категорически необходимых для поддержания творческого процесса на нужном идеологическом уровне.

Итак:

Назначался журналу ежемесячный рецензионный фонд. Предположим, пятьсот рублей (бывало по-разному, от калибра журнала зависело) или полторы тысячи. И подбирались редакцией «свои люди», которым надо было дать подработать — потому что сами штатные редакторы рецензировали за зарплату, по долгу службы.

Авторский лист — это было примерно 23 страницы машинописи, 40 000 знаков, включая пробелы между словами. И если тебе дали на «внутреннюю» (то есть напечатана не будет, это ответ автору и для сведения руководству) рецензию рассказ в 23 страницы, то платили за такую рецензию 3 рубля — если ты не маститый, не член Союза писателей: это нижняя ставка. Писать страниц пять рецензии — за треху это не слишком много. Да? Стоп:

Тебе могли дать рукописей объемом не 1 авт. лист, а 30 авт. листов. Чуете? Это уже 90 рублей. А объем рецензии? Ну, можно 10 страниц, уж этого точно хватит. Итак: один день быстро читаем этот роман, еще один — пишем эти 10 страниц, облегчая себе труд обильным цитированием текста, который и рецензируем. Два дня — месячная зарплата некоторых, а уж двухнедельная — точно. Как, неплохо?

А если вы член Союза писателей или журналистов — вам должны дать ставку 5 рублей за авт. лист рецензируемой рукописи. Это уже можно за выходные срубить месячную зарплату: два дня — и с карманом. Неплохо?

А маститому, члену правления и всяких редколлегий, могли дать и 10 рубчиков за лист! И 300 за десять листов! Но это делалось не слишком часто — рецензионный фонд сразу выбирался. Делили между маститыми и простыми в пропорциях: первые получали много денег, вторые нагоняли объем отрецензированных рукописей для отчетов и ревизий.

А цимес в том, что сама рецензия на сорок листов рукописи могла иметь объем три страницы. Объем рецензии нормативными актами не оговаривался. Так что главное было — получить рукопись на рецензию, а уж отписаться — это формальность. Читаем по диагонали, выхватываем

ваем цитаты, навертываем закругленные казенные фразы, и в гонорарный день идем в кассу. Тертые рецензенты к тому и стремились.

Категорий рецензентов было две. Одни — чистые «внештатники»: имели какое-то прилитературное образование, журналисты, неимущие писатели — они стремились дружить с редакторами, мелькать, быть «своими». А другие — сами редакторы, которые рецензировали рукописи крестнакрест с другой редакцией: ты мне — я тебе, и оба мы вне штата для редакции товарища. Законный приработок.

Умелый рецензент зарабатывал свой столбик за вечер: 20 листов (450 стр.) перелистываем за час—полтора, и еще полтора часа колотим страниц 5–6. Ну как же не плакать сотрудникам толстых журналов по этой эпохе?

стр. 49

Попов, Александр
Федорович
(1906—1978)

Дожил бы Попов до наших времен, и он бы плакал, и был бы некоммунистом, и говорил бы об уничтожении русской культуры. Он ведь был и кинодраматург, и секретарь Ленинград-

ской организации Союза писателей СССР, и лауреат Государственной премии, и орденосец. И главное — редкостный мудака, так что в новые времена вписаться ему было бы трудно. Однако любой человек имеет положительные черты и заслуживает какого-то уважения, поэтому я отзываюсь о покойном в точности так, как отзывался о живом, считая иное унижительным для его памяти. Они все живы в нашей памяти!

стр. 49

Хемингуэй, Эрнест
Миллер
(1899—1961)

Хотя и с памятью происходят трансформации. Уже нелегко восстановить, а новые поколения и не поймут, какую огромную роль сыграл Хемингуэй в становлении всей советской

культуры шестидесятых. Вот это был действительно культовый писатель — портрет в каждом втором доме! Символ мужества и честности, суровой простоты, стойкости, противостояния ударам трагического и жестокого мира... о!

После его «голого» письма казалось смешным и невозможным наворачивать кружева и красоты стиля. А его войны! охоты! бокс! ловля большой рыбы! бой быков! Это был один из мифов-атлантов, поддерживавших свод нашей новой культуры, влияние его было колоссально, сейчас и сравнить не с кем: он влиял не на стиль письма — но больше: на стиль разговора, стиль скрывания трепетных чувств за грубоватыми незначащими фразами, стиль стоицизма под ударами жизни, стиль жизни «мачо», хотя такого слова тогда не ходило. Было, было!

стр. 49

Джек Кейли

И когда уже в конце шестидеся-
тых «Неделя», единственный
тогда «желтый» еженедельник,
опубликовал на полтора разворо-

та (!) с фотографиями воспоминания о Хемингуэе Джека Кейли, американского журналиста и редактора, автора одной из многочисленных книг воспоминаний о «Хеме Великом», которые после нобелевки за «Старика и море» выходили в США в пятидесятые—шестидесятые пачками,— наш читатель прибалдел от непочтительных, на взгляд поклонников, пассажей. Простецкие были там такие высказывания раскованного американца с американским (а каким еще?) юмором. Но если кому охота побольше узнать о самом Кейли — лезьте, ребята, в интернет и ройте сами, потому что...

* * *

...потому что я чувствую необходимость в перерыве этого комментария — весьма неполного, далеко не исчерпывающего — всего к четырем страницам текста романа.

Понятно ли теперь, почему их было двести пятьдесят? А могло — две тысячи пятьсот. Или пять тысяч двести. Или сколько угодно — покуда помнишь и соображаешь. Ты берешь любое слово — и включаешь в себе механизм развертывания, увеличения, поступенчатого приближения и погружения вглубь: и оказываешься внутри мельчайшего знака Бытия, клетки, молекулы, атома, электрона, кварка, волны — а волны складываются в струнную модель Все-

ленной, и хотя эта Вселенная замкнута сама на себя и тем самым конечна — но для нас она конца не имеет. Интравертная неисчерпаемость любого материала и любой темы.

Конечно, текст — это всегда код, но все-таки есть разные степени его свернутости и разные коэффициенты раскодирования. Есть дюдик и есть даосская притча. Есть многослойно структурированное сообщение.

Жанр «Ножика» в принципе можно назвать «точечной эпопеей».

Точечное сообщение изобрели давно. Морзянка записывается на пленку, а пленка — со скоростью в триста раз больше нормальной — на другую пленку. Краткий писк уходит в эфир. Кем надо он вылавливается, записывается и разматывается чувствительной аппаратурой с трехсоткратным замедлением: сообщение восстанавливается.

В этом романе-автокомментарии я слегка — всего-то в десять-пятнадцать раз — кое-где замедляю перемотку записи, чтобы некоторым малопосвященным читателям было внятно что-либо кроме услышанного ранее писка.

Мысли, которые успевают пронестись в голове на протяжении написания одной страницы, размазаны скоростью прохода сигнала по нейронам наподобие крохотных комет, и будучи все зафиксированы и оформлены в связные и законченные предложения, легко составят полноценный и полнообъемный роман. Записывать эти романы не позволяют сроки человеческой жизни. Обычно мы живем среди писка, не понимая его смысла.

Раскручивать все и до конца я, разумеется, не буду. Во-первых, до конца слишком далеко, и любая остановка на пути к совершенному исчерпанию предмета условна — а во-вторых читателю нужен люфт, чтобы он заполнял проемы смысла собственными представлениями о действительности.

* * *

стр. 50

...принесла мне
тридцать рублей.

Прелесть и выгода собственных
представлений о действительности
в том, что любое реальное

событие легко различается в двух аспектах: бытийном и символическом. Это как счастливый трамвайный билет: право на проезд и на счастье в одном флаконе, на одном клочке и за те же деньги. Я получил действительно и ровно тридцать рублей — за рецензирование десяти а.л.: на такую сумму мне рукописей и отмерили в отделе. И при этом, при этом, при этом — конечно здесь ясный отсыл к тридцати сребреникам Иуды.

Друзья мои! Не абсолютно счастливые, но все-таки вполне свободные граждане новой России и прочих сопредельных и несопредельных государств! Советские редакции были переполнены сотрудниками, ежемесячно зарабатывавшими деньги таким образом. И все они потом оказались страдающими жертвами режима. Работали, но страдали; страдали, но работали. И в пышно, или средне, или не очень озелененных городах обширной державы ни одна смоковница не засохла от того, что на ней кто-то повесился. Просто у некоторых отдельных хорошая память. Делай что хочешь — но помни, что ты делал.

стр. 50

Горышин Глеб
Александрович
(р. 1931)

А память нельзя разделить на «злопамятную» и «добропамятную»: она или есть — или нет. Кто помнит — помнит все. Не помнить — грех: потеря способности различать добро и зло и

ведать их. Забыть? «Забвенья не дал Бог». Так помянем Горышина: член КПСС, орденосеиц, секретарь, главный редактор журнала «Аврора», составитель множества сборников и т.д. В описываемое время имел к сорока годам дюжину изданий своих книг, что было тогда до черта. Никто никогда не мог запомнить, что же он написал и что осмысленного когда-либо произнес.

И поднимается вопрос, как нацеленный в грудь кол изгороди-ловушки: хорошо ли, хорошо так отзываться о человеке? Этот отточенный кол не подвергает сомнению правду высказывания, да не так она и важна: бестактность и грубость характеристики не подменяют ли собой прямо-ту? Уместна ли прямота, если может травмировать?

От травмированного слышите. Столько лет они травмировали меня своей ложью — ну так: ложь всегда в конце концов оборачивается правдой, которая травмирует лжеца. Умолчание правды есть травмирование истории. С чего бы мне дорога история? А это моя жизнь. Как и ваша? За вашу не отвечаю. Мне есть дело до правды, но нет дела до душевного комфорта сквернавцев.

Я еще не забыл Хемингуэя: «Задача писателя всегда остается неизменной. Сам он может меняться, но задача его всегда остается одна и та же. Она состоит в том, чтобы видеть правду, и увидев правду такой, какая она есть на самом деле, сказать ее так, чтобы она вошла собственным опытом в сознание читателя».

Что я имею против неагрессивного Горышина? Он и иже с ним украли воздух у моего поколения. Они расправили крылья и зобы на всем пространстве, отведенном литературе, и бдительно давили поползновения чужих: всех, кто жил, думал и писал не так, иначе, особенно — если непонятно, особенно — если лучше. Сколько непробившихся спилось? повесилось? эмигрировало? Не все ведь терпеливо-двужильны так, как ваш покорный слуга.

Они хотели, чтобы я спился, замолчал, повесился, эмигрировал. Я не спился, не замолчал, не повесился и не эмигрировал. У меня была хорошая гарнизонная школа. Литературные страдания — это постыдная ерунда по сравнению с тем, когда восемнадцатилетнему солдатику прыгающей противопехотной миной вырывает пах.

А также — к вопросу о проходимости. Литературная непроходимость была проблемой, решаемой потруднее, чем непроходимость кишечная. Проходимость же имела следующие характеристики:

Первая. Приличная анкета. Не диссидент, не уголовник, судимостей не имел, преследованиям не подвергался, политику партии понимает правильно. Короче, в порочащих связях не замечен. В тунеядстве не замечен. Лоялен. Ну — чтоб «наш, советский человек».

Вторая. Национальность. Этот пятый пункт анкет следует выделить особо. Ну не приветствовались еврейские

фамилии, оно и естественно: не в Израиле живем. Еврейские фамилии в печати и так далеко вылезали за процентную норму евреев в общем населении СССР. Тяга евреев к печатному слову трудно истребима. Ну смотрите Чехова: «И если бы не барышни на выданье и не молодые евреи, библиотеку пришлось бы закрыть». Ну и вот. Ведь и Каверин был не Каверин, и Володин не Володин, и Багрицкий не Багрицкий. Поскольку сменить одну национальность на две судимости было выше сил простого человека, то мне неоднократно советовали хотя бы сменить фамилию. Хорошие люди, по дружбе советовали. Я был порочно глух к добрым советам всю жизнь.

Третья. Желательно быть знакомым, своим, примелькавшимся: как бы уже доказавшим, что ты свой, надежный и благонадежный, эстетически и политически проверенный теми, в чью среду хочешь войти своими публикациями.

Четвертое. Возраст и время втирания автора в среду публикующихся. Быстрота и молодость не только внушают опасения, но и обижают старших товарищей. Погоди, не торопись, это неприлично. Напечатайся в газетах, побудь год-другой в очереди на журнальную публикацию, поучаствуй в «Конференциях молодых дарований», получи рекомендации старших товарищей на маленькую книжечку, пусть она полежит пару лет в издательстве, потом ее вставят в план на выпуск через три года. После тридцати с тобой станут разговаривать, к тридцати пяти будут воспринимать за человека, достойного издаваться.

Пятое. Партийность — не обязательное условие, но весьма способствует. Партия отвечает за автора, уже издателю спокойнее. Обидевшись, партийный может и волну погнать по линии политической правильности себя и неправильности плохого отношения к себе. А кому охота связываться? И статистики-отчеты, опять же: столько-то процентов партийных авторов у нас, молодцы мы.

Шестое и главное: что ты пишешь, Аристотель? Надо — чтобы просто, ясно, оптимистично, реалистично, лояльно. Так мало, мало идеологической лояльности — требовалась, братцы, лояльность эстетическая. Мало того, что не

стоит писать про эков и лагеря, про трудную жизнь и низкие зарплаты, про что бы то ни было хорошее за границей и лучше вообще не упоминать за границу, про убийства в коммуналках, скромно-паразитическую роскошь функционеров, бедность больниц и пьянство в армии и везде, и т.д.д.д.д.д.д.д.д. Надо — чтобы завязка, развитие, кульминация, развязка. Предложение начинается с большой буквы — кончается точкой. Вот тебе грамматика, вот тебе словарь: выверяй и соответствуй. Логично? Вот эпитет — вот метафора. Вот портрет — вот пейзаж. А что это у вас, молодой человек, как-то странно... а вот к чему это отсутствие абзацев? А этот разрыв предложения и абзац между половинами разорванной фразы? А вот эти короткие предложения лучше соединить в одно. А это — зачем так длинно? Давайте разделим на три, вот и нормально, видите? Категорически не поощрялись отклонения от некоей усредненной формы!

И положительной характеристикой первой авторской книги стало определение «незаметная»! А чтоб ничто не высывалось, не привлекало внимания!

И планы были забиты на пять и семь лет вперед сугубо проходимыми книгами проходимых авторов. И ничто в них особого внимания не привлекало. Редко-редко укоренившийся крутой, как Быков или Трифонов, пробивали незаурядную книгу о том, о чем прочим писать не позволялось. А вот эстетико-стилистическое «иное» не позволялось вообще никому.

Планы были забиты горышинами.

Много лет спустя, в девяностые, один журналист за рюмкой после интервью рассказал мне, что в 83-м году, отдыхая в Нарве, купил мой первый сборник «Хочу быть дворником», изданный в Таллине минимальным при советской власти тиражом 16000. «Вот эта книга впервые внушила мне, десятикласснику, антисоветские взгляды». Я изумился: «Да что же там было антисоветского?! Ведь все рассказы вполне лояльны, некоторые даже патриотичны!» Он засмеялся: «Каждая запятая там была антисоветской. Вы не понимаете, дело не в теме».

Конечно, парень был прав. Можно не касаться ничего запретного, но в стиле твоя суть все равно вылезет. Можно соблюдать все приличия в лексике — но интонацию не подделаешь.

Горышины чуяли сомнительную интонацию и отсекали интонаторов напрочь. Я мог никак не трогать советскую власть, и даже любить многое в ней, и как бы не замечать ничего эдакого в ней — но я был чужой: вот не такой, как они, проходимые, вот слова не так составлял, запятые не так ставил, что-то за этой нетипичностью наблюдалось непонятное, неправильное.

Тяга к казарменности советского уклада сказывалась и в литературе, естественно: единообразие, подчиняемость, шаг в сторону означал если не попытку, так умысел к побегу. Правы были литературные старшины: всю жизнь я был котом, который гуляет сам по себе. Скажем, пили как-то на третьем курсе в общаге. Это обычно. Не хватило. Как водится. Не было денег добавить. Нормально. Разговор принял необязательно-пессимистический оборот о невозможности жить без денег. Из врожденного оптимизма, противоречия и наглости я противопоставил себя компании, утверждая, что без денег можно не только жить, но и жить неплохо, и даже передвигаться куда хочешь. Слово за слово — поспорил на ящик водки, что летом, выйдя из Ленинграда без копейки, за месяц доберусь до... дальше всего Камчатка? пусть хоть до Камчатки. Бразилия была дальше, но нереальна в принципе: заграница, а Камчатка — теоретически возможна.

Настала весна, за ней июнь, стройотряды мне перестали быть интересны: я начал готовиться. Маленький солдатский вещмешок, куртка из кожзаменителя увязана в плотный рулончик проволокой — для компактности, и проволока в пути сгодится; кружка-котелок, ложка-нож, аспирин-анальгин-фталазол — «малый аптечный набор», свитер, плавки, берет, мыло-бритва-щетка-миниполотен-

стр. 50

На Камчатку двумя годами ранее я на спор добрался за месяц без копейки денег...

третьем курсе в общаге. Это обычно. Не хватило. Как водится. Не было денег добавить. Нормально. Разговор принял необязательно-пессимистический оборот о невозможности жить без денег. Из врожденного опти-

це, ничего сменного — можно постирать в пути и высушить на себе. У меня было все, и весило это все килограмма три от силы. Старая походная мудрость, вычитанная в детстве из Бианки: «Никогда не бери с собой ничего необходимого. Бери только то, без чего никак не сможешь обойтись».

А вот трудность выяснилась: Камчатка была зоной. Не лагерной — пограничной. Для въезда требовался пропуск. Пропуск для въезда в зону выдавал Большой Дом. Основанием служил вызов от родственника, или приглашение на работу, или командировка. Какие у студента родственники?

По размышлению я пошел в отдел культуры газеты «Смена»: я студент филфака такой-то, чегой-нибудь вам напишу с Камчатки, а вы мне командировочку нарисовали бы: ведь не жалко, денег не прошу, все на свои. Меня выслушали непонимающе и отправили к ответсекру. Он также выслушал и характеризовал польстившим мне словом «авантюризм». Они не понимали, за каким хреном я туда хочу переться: а кому нужна ответственность за подпись на командировке?

Я последовательно обошел все ленинградские редакции, удивляясь опасливой недоверчивости журналистов.

В конце концов я сообразил пойти в деканат журфака собственного университета: хочу газетную практику, мечтаю о журналистике, филфак — ошибка юности. Милая девушка в приемной меня таки поняла и вникла: как-то ее идея с Камчаткой задела в положительном смысле. «Но вам надо зайти сначала к замдекана по практике, сама я вам не могу выдать, конечно. Объясните ему, он поймет». Он не понял и обозвал меня словами на грани того, что я сумел еще проглотить: на этот вариант я возлагал последнюю надежду, возбужнешь насчет достоинства — и кранты идее. Я пристроил на лице вдохновенную улыбку и вернулся в приемную. «Ну как, разрешил?» Я хмыкнул небрежно и благодарственно: «Естественно, как вы и сказали». Она достала из стола бланк командировочного предписания — уже подписанный и с печатью. «В какую

вам газету?» Я внутренне напрягся и замельтешил: какие там газеты-то, черт возьми? «В „Камчатскую правду“», — сказал я легко: должна же там быть «Камчатская правда»? Так она и вправду оказалась! Девушка вписала заголовок, мою фамилию-имя, номер паспорта и студенческого билета — и я исчез быстрее призрака, успев услышать скрип замдеканской двери.

На Литейном мне сообщили, что выдачи пропуска положено ждать десять суток: читайте правило. Мое кряхтение осталось безуспешным. Июнь кончился, сессия была сдана.

Я честно пропил стипендию с друзьями, купив себе только атлас железных дорог. Автомобильный я достал раньше. Карта Союза у меня была давно (и до сих пор, серо-желтая и истрепанная, висит на стенке в кабинете — сил нет выбросить, вся в пунктирах).

Утром 1 июля, демонстративно вывернув перед камрадами пустые карманы, я поехал (зайцем, естественно) на Московский вокзал и сел в плацкартный вагон поезда «Ленинград — Свердловск». Способ первый — выбираешь в толпе немолодую, но еще не старую, женщину с поклажей потяжелее, пристраиваешься идти вровень с ней, ловишь взгляд, заводишь разговор безобидной фразой насчет времени отправления или подобной, предлагаешь помочь нести чемодан — и, если внушаешь доверие и не похож на вокзального вора, тащишь, рассказывая, до какой станции едешь сам и по какому поводу. Главное — войти с ее чемоданом в вагон, сесть туда, где народу погуще, и дожидаться отправления. Поехали!

Тридцать первого июля я послал друзьям открытки из Петропавловска-Камчатского. Я специально отправил их заказными — чтобы при мне разборчиво шлепнули штамп с числом отправки.

Я передвигался на всех видах транспорта, кроме разве что самоката: легковые, грузовые, мотоцикл с люлькой и без люльки, поезда пассажирские и товарные, пароход, вертолет и самолет. Времена были вольготные, паспорта нигде не требовали.

В принципе эта совершенно отдельная повесть в жанре «путешествий» гораздо интереснее и познавательнее литературных описаний и размышлений. Но как я вмещу здесь стостраничную камчатскую главу?

За месяц я навешал на уши гражданам лапши больше, чем за год могла произвести макаронная промышленность Италии. Необходимость жрать и ехать удивительно оттачивает психологическую наблюдательность и умение выбрать верную интонацию подаваемого текста.

И лишь раз меня выкинули из поезда — между Хабаровском и Владивостоком: поезд был почтово-багажный, короткий, вагоны почти пусты, два проводника — заматерелые мужики, злые оттого, что недавно их за зайцев же (правда, возимых «на свой карман») выкинули на два месяца понижения из скорого поезда. Они дождались самого глухого полустанка в тайге и выпнули меня, на ночь глядя. Спросив путь у шлагбаумщика в будке, два часа я продирался через тайгу до автомобильной дороги (до сих пор теряюсь в догадках, что там было в тайге спрятано — зачем бы шлагбаум на пустом месте?..) и шлепал комаров, и на попутной доехал до ближайшей станции: где подождал свой почтово-багажный и популярно поведал проводникам, что они были неправы — невинное удовольствие.

Пропуск, вопреки закону, получил в Хабаровском Краевом УВД за полдня: предъявил все документы с командировкой и спел о суровой необходимости начать практику на Камчатке с 1 августа, не то исключат бедного студента. Нормальный мужик вник и через два часа, после обеда, выдал мне бумажку: и то сказать, куда я с Камчатки сбегу? Самое обидное, что когда в Петропавловске я выходил из самолета, пропуск у меня не спросили: пограницы стояли между салонов у дверей, и когда выходил я — оба почему-то отвернулись, проверяя документы у выходивших из соседнего салона.

Потрясение воображения абитуриентов Камчатского пединститута, в общаге которого я решил пожить с комфортом, морской круиз в Жупаново и пеший поход в Долину Гейзеров, стрельба из винчестера (в то время-то!) в

оленьем стойбище, выпивание диметилфтолата вместо спирта с последующим негарантированным выживанием и прочие мелкие радости — все это отдельные же, отдельные темы. Как напроситься на кормежку, как подкалывать мелочи, как выделить в кассе пассажира посостоятельней и сердобольней и уговорить спонсировать тебя на общий билет до ближайшей (определял по железнодорожному атласу) станции — а это ерунда, рубля полтора,— и потом сутки продержаться в поезде по разным вагонам, куда не засекут, и тогда сойти раньше, чем выкинут — эта технология не может быть изложена в нескольких предложениях.

Я вернулся в сентябре, опоздав на занятия; мы выпили ящик водки и поставили общагу на рога. Время было безопасное и одновременно глухое, путешествия тогда приняты не были — максимум отпуск в Сочи или на Домбае,— я геройствовал в славе под факультетскими взглядами, получив от лета максимум удовольствия и не совершив на самом деле, разумеется, ничего трудного. Везде люди живут, везде нормальная жизнь, экзотика — это просто взгляд в перевернутый бинокль; пошлялся от души. Но писать по житковско-чукотскому принципу «Где я был и что я видел» мне всегда представлялось смешным и мелким занятием для импотентов от литературы со столичной пропиской. Тоже мне, Марко Поло — в командировку он съездил и описал быт антиподов и селенитов.

стр. 50

...сподвижника Карабаса-
Барабаса пьявколова
Дуремара.

А себе нескромный автор под-
сознательно оставляет роль Бу-
ратино — с ним, впрочем, по
закону психологии восприятия
искусства, отождествляет себя
любой нормальный читатель.

Короче, вам фига, а золотой ключик мой. Но все-таки и тем самым Ленинградская писательская организация уподобляется театру марионеток, управляемому неумным и жадным злодеем, а зависимый и слабый, но упорный и нахальный главный герой в перспективе строит свой собственный театр, якобы счастливый. Таковы ходы подсо-
знания...

Ленинградское Суворовское училище, полтора курса медицинского института, французское отделение ленинградского филфака, шабашки, журналистика в многотираге, женитьба на стажерке из Сорбонны и отъезд в Париж. Помесь голливудского ковбоя с героем-гладиатором; человека с большим мужским обаянием и личным магнетизмом я в жизни не встречал; а встречал я до черта всяких. Любую компанию автоматически и сразу подчинял своему настроению и воле. Пытался писать киносценарии (что в советское время означало уличному сумасшедшему лезть в касту), и когда в кафетерии Ленфильма кинозвезда и всеобщий любимец Александр Демьяненко («Операция „Ы“», «Кавказская пленница») попытался вальяжно и естественно встать перед ним вне очереди — Саулу было достаточно объявить на весь зал насмешливо: «Ба! А вот и Шурик!» — чтобы публика начала ему подхихикивать, а покрасневший Шурик, не зная, как вести себя в такой ситуации, растерянно ретировался; при том, что Саул был никто со стороны, а Демьяненко — прима студии, но таков был магнетизм. Если б подобное попытался произвести я, меня бы просто спросили, кто я такой и что делаю здесь, где мне быть вообще не полагается, не то что кофе пить рядом со звездами. Однажды Саул выхватил из кассы Московского вокзала единственный билет под носом у стоявшего раньше, в нежных лучах всеобщего восхищения, рослого и шикарного красавца Янковского при роскошной телке; когда суперзвезда Янковский попытался важно и праведно возмутиться, Саул в лицо ему спел: «Служили два товарища... ага!» (фильм и Янковский в этой роли прогремели только что) и демонстративно спрятал билет в карман плаща... — у Янковского сделалось неловкое и сконфуженное лицо человека, которого неожиданно с изяществом обкакали, и он решительно не знает, как реагировать, чтоб перестать быть посмешищем. В числе последних его подвигов — перегон «мерседеса» из Парижа в Москву для бандитоватого нового русского: так в Солнцево (оцените бандитскую столицу) заказчик дружески поил его в ресто-

ране — и выпивший Саул провозгласил на весь ресторан тост за родителей, требуя, чтобы зал встал. Это серьезный зал в ресторане в Солнцево! Саул таки заставил зал встать — причем, поскольку никакой силы за ним не стояло, никто его не знал, а поилец-заказчик всячески демонстрировал лицом и позой нейтралитет, пытаясь избежать разборки на месте, сделал он это на одном магнетизме; серьезные бандиты сами не могли объяснить, почему они встали, дело тут не в уважении к родителям, а в навязанной им наглости случайного лоха. Саулу дали догулять, при выходе впихнули в машину, отвезли подальше, изметелили до полусмерти и выкинули, но жить оставили. Вот вам случайный визит джентльмена в сердце бандитской России. Это не человек — это баллада о гвозде, который всю жизнь нарывался.

стр. 51

...то Богом уже работает капитан Сагнер.

цитирование места из «Приключений бравого солдата Швейка», где незадачливый и больной дизентерией кадет Биглер возвращается в свой полк, он уже генерал-майор и его машина попадает под огонь, генерал Биглер возносится в рай и ждет подобающего его чину и достоинствам места — но Богом там, наверху, работает все равно оказавшийся выше и главное его проклятый капитан Сагнер, издевавшийся над кадетом когда-то в полку на земле; на самом же деле кадету Биглеру все это снится, а приказ бога-капитана швырнуть его в зловонную выгребную яму объясняется тем, что во сне реальный кадет Биглер обкакался: таково его пробуждение от триумфа.

стр. 52

...нажирались тогда в Париже.

В пять утра последние деньги мы потратили в ночной арабской лавочке на литр качественной водки «Абсолют» и семикилограммовый арбуз на закуску; а начали с утра большим разворотом за завтраком на траве в Булонском лесу; это был день рождения автора, 20 мая;

«Майор Звягин» и «Легенды Невского проспекта» уже начали широко издаваться, было на что пить.

стр. 52

ЮНЕСКО.

Я до сих пор не знаю, как расшифровывается эта аббревиатура и вообще аббревиатура ли это; чем именно занимается эта почтенная и знаменитая международная организация со штаб-квартирой в Париже? — знаю, что всякими культурными мероприятиями, например, объявлением очередного года годом Достоевского или, наоборот, Савонаролы. Боже, сколько людей на свете хорошо устраиваются на деньги глупых и беспомощных налогоплательщиков. Я тоже охотно послужил бы в ЮНЕСКО при условии спокойного житья в Париже — но меня туда не приглашают, и я даже не знаю, как вообще туда попасть. А ведь готов спорить на последние штаны, что я не менее культурен, чем многие из сотрудников этой сладкой конторы.

Хулио Кортасар (1914—1984), знаменитый аргентинский писатель, один из столпов новой латиноамериканской (испаноязычной, естественно) литературы. В 1971 году в СССР был издан на русском сборник его рассказов «Другое небо», и Кортасар сразу стал знаменит среди советской читающей интеллигенции. Рассказы были хороши — с фэнтезийным элементом и сильными композиционными ходами; по «Слюням дьявола» Антониони (или Феллини? вечно путаю эту пару!) снял «Блоу ап». Кортасар всегда был мне симпатичен и по личным биографическим причинам: он до тридцати лет никому не показывал своих рассказов — а в тридцать, решив, что он уже пишет ого-го, разнес их по редакциям и сразу стал знаменит; в свое время я попытался сделать то же самое, но разница наших положений заключалась в том, что он давал свои рассказы в аргентинские редакции сороковых годов, а я свои — в советские семидесятых: полагаю, что на его месте я бы не пропал, он же на моем вероятнее всего спился бы или стал писать романы о передовых заводах.

стр. 52

Кортасар

Хулио Кортасар (1914—1984), знаменитый аргентинский писатель, один из столпов новой латиноамериканской (испаноязычной, естественно) литературы. В 1971 году в СССР был издан на русском сборник его рассказов «Другое небо», и Кортасар сразу стал знаменит среди советской читающей интеллигенции. Рассказы были хороши — с фэнтезийным элементом и сильными композиционными ходами; по «Слюням дьявола» Антониони (или Феллини? вечно путаю эту пару!) снял «Блоу ап». Кортасар всегда был мне симпатичен и по личным биографическим причинам: он до тридцати лет никому не показывал своих рассказов — а в тридцать, решив, что он уже пишет ого-го, разнес их по редакциям и сразу стал знаменит; в свое время я попытался сделать то же самое, но разница наших положений заключалась в том, что он давал свои рассказы в аргентинские редакции сороковых годов, а я свои — в советские семидесятых: полагаю, что на его месте я бы не пропал, он же на моем вероятнее всего спился бы или стал писать романы о передовых заводах.

стр. 52

...Солженицына
всюду продавали
на килограммы...

Вот это была слава! хрен ли там
Кортасар. Как потрясающе вы-
глядит этот человек для своих
восьмидесяти лет сегодня!.. Нет,
кто-то там наверху определенно

неплохо к нему относится. Все было правильно в его жизни — кроме опереточного оливкового френча а'ля Керенский (понятно, что надо создавать себе имидж и одеянием тоже, тут без накладок не бывает; ему бы пригласить в имиджмейкеры того парня, который научил отставного генерала Лебеда носить цивильное платье — и петеушник-переросток в тесной нейлоновой курточке мигом превратился в мужественнейше-сдержанно-элегантнейшего политика российского экрана!) — и, кроме френча, помпезно-гадостного шоу с проездом при возвращении на родину всей страны с Востока на Запад — в спецвагоне на деньги Би-Би-Си и под телесъемку Би-Би-Си, обладательницу купленного на корню эксклюзивного права показа того, как российский мессия возвращается в рухнувший под тяжестью его таланта совок. Ну нельзя же торговать с иностранцами миссией, которую возложил на тебя Господь! Или как? То в начале века один мессия прет с Запада в немецком вагоне на немецкие деньги, то в конце века другой — на, наоборот, английские. Такая получилась как бы картина исторического реванша — англичане в конце концов отыграли у немцев и это очко. Молодцы англичане! Do or Die!

стр. 52

Лимонов

Эдуард. Он же Владимир Савенко. Год рождения точно не помню, вроде 46. Самое интересное — клянусь, в личном общении

Лимонов — интеллигентнейший и хорошо воспитанный человек. Он хотел сделать себе славу (имеется в виду его первый и скандально знаменитый роман «Это я, Эдичка»), и он ее сделал. Прозу Лимонова я никогда прозой не считал, но сведущие люди утверждают, что он а) писал хорошие стихи; б) шил замечательные брюки. Чем дальше, тем больше мне симпатичен и уважаем этот небольшой худенький человек — своим расчетливым умом, жизненной

решительностью и упорством. Когда псевдоумные и псевдообразованные литературные дамы на глубоком серьезе пишут о скрытых от непосвященных достоинствах прозы Лимонова, мысленно я ему аплодирую! Так и надо обращаться с публикой, этой претенциозной дурой, все равно ни хрена ни в чем не понимающей, но падкой до сенсаций и остро реагирующей на шокинг. Молодец Лимонов. Вот только в тюрьме подзастрял... (О! Уже вышел. Милый мини-клон Троицкого...)

стр. 52
Бодлер, Шарль
(1821—1867)

Великий французский поэт, если кто не знает. Был любовником Рембо. Хм. Нет. Верлена.

стр. 52
Рембо, Артюр
(1854—1891)

Тоже великий французский поэт, если кто тоже не знает. Был любовником Бодлера (Хм. Нет. Верлена), и еще неизвестно, при всей их разнице в возрасте,

кто из них кого растлевал. Тоже ничего такого, в наши-то времена. Совсем не за это мы любим их (по крайней мере большинство из нас, которое покуда еще составлено из гетеросексуалов). Не путать с Рембо — суперменом-голово-резом из кинобоевиков туповатого Сталлоне.

стр. 52
...минет...

Среди не раскрытых автором филологических загадок содер-жится и та, что в советские вре-мена в перепечатанных самиз-

датских наставлениях по сексу «минет» писался с мягким знаком: «миньет». Почему? Возможно, так было изящнее на высокоэстетичный и ханжеский советский вкус: ближе к «миньон» и «менуэт». Как-то более куртуазно и гри-вуазно, менее отдает вечным советским недостатком в гигиене и вразумительно-прямым «хуй в рот». О сладость запретного плода!.. Кошмар.

стр. 52
Урезать так урезать, как
сказал японский генерал,
делая себе хакарири.

Цитата из знаменитых старин-ных эстрадных номеров Арка-дия Райкина, короля юмористи-ческого жанра и кумира публи-ки, особенно на советском

бесптичье. Шутка года так примерно пятьдесят восьмого. Одна из «крылатых фраз-цитат» нашей интеллигенции первой половины шестидесятых. Кто автор текста? — понятия не имею, Райкин был «истинно театральным человеком» (Булгаков устами Мольера о знаменитом театральном машинисте Вигарани) — он покупал текст «на корню», все права на все виды использования, и пред страной был как бы сам автором произносимого им текста, фамилия написавшего исчезала навсегда. Но Райкин у нас сам по себе не упоминается, так что распространяться о нем не будем. Так же как не будем здесь вдаваться в уточнения обряда харакири, что в русской традиции (слова, но не действия) подменяет собственно принятый японский термин «сеппуку». Режьте, братцы, режьте...

стр. 52 (от *лат.* *censura*). Цензором был еще Марк Туллий Цицерон. Но Уж отменять цензуру... не тем цензором, который про-

фильтровывал поэзию, а тем цензором, который ведает цензом — оценкой имущества граждан для контроля разделения их на податные сословия; но заодно, сука, следил и за благонадежностью и поведением граждан. Советская цензура называлась «главлит», что означало «Главное управление литературы», а ее подразделения — «горлит», т.е. «городское управление литературы». Гадство же заключалось не в том, что это было филиалом всемогущего и проклятого гражданами КГБ. А в том, что цензор («главлитчик») читал вещь на стадии гранок или даже макета книги (журнала, газеты). И если что слетало в процессе визирования им материала (штамп Главлита на страницу, дата и подпись) — у редактора начиналась головная боль: типография требует, сроки горят, начальство взгреет, премии не будет, и т.д. И редакторы сами выкидывали из рукописи все, что, по их мнению, могло задеть глаз цензуры. И уж здесь, конечно, лучше было перестраховаться — о бессильные судороги задроченных системой авторов! А в шестидесятые годы, вдобавок, власти сделали «улучшение». Поскольку цензура официально полностью именовалась «Главное управ-

ление по охране военной и государственной тайн в печати», так и разделили функции: пусть цензура охраняет только тайны, а уж сами редакции решают, потому как люди творческие там, что морально и идеологически можно допускать, а чего нельзя. Ну, а если они окажутся неправы — то потом, после выхода книги (журнала, газеты) их могут поправить товарищи из управлений культуры или отделов культуры горкомов (обкомов) КПСС. Замечание им сделают. Несогласие выразят. В крайнем случае выебут и выкинут с работы. Или дело в суд передадут — чтоб не только автора, но и соучастника-редактора посадили за идеологическую диверсию, за антисоветскую акцию, за скрытые призывы к искажению политики партии. В результате этого акта высокого правительственного и партийного доверия советский редактор уподобился фокстерьеру, выгрызающего крысу из любой тени на стене — или просто грызущему стену по природной своей функции. Редактор категорически вырубал все, что хоть в малой степени пахло для него замечанием сверху. И, разумеется, часто вырубали даже то, что потом рекомендовали оставить сердобольные секретари обкомов. Чем ниже ступень — тем более рьян исполнитель, да и ответственность на себя не желает никакую брать. А добавочная прелесть положения заключалась в том, что у цензоров лежали в сейфах справочники: о чем нельзя писать. Номера военных частей, расположение предприятий среднего (т.е. военного) машиностроения и т.п. Но справочники были секретными, и редакторам их показывать было нельзя. Редакторы лишь знали о самом их существовании. Авторам же не полагалось даже знать о существовании этих секретных справочников! Авторам не полагалось даже знать о существовании главлита! Так что невидимки-цензоры, строго говоря, никакого особого вреда литературе не принесли, литература как таковая их мало касалась — хотя, конечно, за пропуск в печать идеологически ошибочных мест и они получали взгрев от своих руководящих органов — если «ошибка» попадалась на глаза кому в обкоме и т.п. Редакторы все делали сами. Цензура вли-

яла на них лишь фактом своего наличия. Поэтому нельзя было, скажем, чтобы солдат пил водку или ходил с несвежим воротничком — а по уставу не положено, и все тут. А уж «формальные изыски», которые могли вызвать неудовольствие партийного босса, попадись ему на глаза, — целиком и полностью на совести редакторов, вырубавших все, что отличалось от «среднеположенной нормы». Идиотизмов тут было море безбрежное. Я лично однажды спорил с редактором, который вырубил у меня из рассказа номер полка на том основании, что номера частей указывать нельзя. То, что полк вымышленный, и стоит неизвестно где, и номера такого, вероятно, в природе не существует, и я предлагал редактору заменить его любым другим трехзначным номером — редактора не интересовало. О боже, лучше власть бандитов, только не обратно в совок — с бандитом можно договориться по уму, логике и понятиям, следуя его интересам, — с идиотизмом системы договориться невозможно никаким образом.

стр. 52

...из аксеновского
«Острова Крыма»...

Действие романа, написанного в восьмидесятые годы уже в американской эмиграции, происходит, если кто не читал (а не-читателей Аксенова все больше...) в вы-

мышленном СССР и вымышленном «русском Тайване» — Крыму, который не полуостров, а остров, и в гражданскую отмахался от большевиков; в конце Союз оккупирует глупый Крым, который восхотел воссоединиться с «большим братом»; еще одно подчеркивание «литературы вымышленного пространства», каковым является текст «Ножика...» при всей его фотографической, но избирательной документальности. Характерно: 1. Хотя это была первая публикация эмигрантского Аксенова в СССР, почти на год предварившая московские публикации, Аксенов нигде публично о ней не упомянул, благодаря московские журналы «за первую публикацию»; при том, что, разумеется, публикация была с ним по телефону согласована, благодарственные его слова выслушаны и журналы с кусками романа в Вашингтон отосланы. Он прав: хрен ли тратить время и

капитал своего звучания на какой-то второразрядный журнальчик из провинции, большому кораблю — большое плавание по головам всякой мелочи. Но редакционные дамы были обижены.— 2. «Остров Крым» — яркий образец русской литературы, изготовленной «для использования только за пределами» России, как гласит торговая марка на американских сигаретах и кое-чем еще. Строго говоря, это даже не русская литература. Это американская беллетристика, написанная русским языком на российском материале — с расчетом прежде всего на то, что будет переведена на американский английский для прочтения американскими читателями, для получения гонораров от американских издателей и одобрения американскими критиками. И мат, и эротические сцены, и нерусские обороты типа «я продолжал любить свою девушку на мешке с углем» — все это калька с американского, жаргон эмигранта и «оживляж»; да и литагент нацеливает автора на книгу, которая принесет гонорары в США — много ли с Союза получишь, особенно когда в нем вообще не печатали.— 3. Вообще злые языки клеветали, что Аксенов покинул Союз не раньше, чем его новая жена, на много лет старше его, вдова знаменитого киношника Романа Кармена, получила свободный доступ ко всем деньгам Кармена, которых по советским временам имелось изрядно. Родина родиной, а бабки бабками. И всё равно я люблю Аксёнова, блестящего прозаика своей эпохи, писателя №1 взлёта шестидесятых.

стр. 53

Главный скалил зубы...

Рейн Вейдемманн, доктор филологии, политический деятель, после 91 года — председатель парламентской комиссии по

СМИ, помощник министра культуры и т.д. Лучший из всех начальников, кого я знал: не только не мешал сотрудникам работать и не сдерживал, но всячески поощрял инициативу и провоцировал на всякое интересное. Всегда утверждал материалы, в «проходимости» которых мы сомневались. «Рейн,— объясняли мы,— но после такой публикации тебя снимут, а нас посадят! — Давай-давай!» — отвечал Рейн. Он — классическая противоположность

трафаретному образу эстонца: невысокий худощавый лысеющий брюнет, темноглазый, с черной бородкой, живыми чертами лица и быстрыми манерами, напорист и смешлив. Про себя любил говорить, скаля крупные белые зубы: «Я не эстонец, я эстонский еврей» (этнически — полная неправда). Редкий случай: интернациональный «творческий» коллектив обожал начальника.

стр. 53

«Четвертая проза»

Сочинение О. Мандельштама, непечатаемое в советское время и потому модное у интеллигенции. Честно говоря, весьма пустые прозаические стансы.

стр. 53

...знали нас, знали,
в столицах выписывали.

Я пришел в «Радугу» через полгода после ее основания, в начале 87-го года. За полтора года мы вздули тираж с трех тысяч

экземпляров до тридцати восьми. Отбирали для публикации сливки, орешки и прочие перлы-жемчуга. И это при том, что журнал был на две трети переводным с эстонского «систер-шипа» и одноредакционного аналога «Викеркаар» — (та же «радуга», но по-эстонски), и задуман и создан был как эстонский журнал на русском языке, для пропаганды среди русских эстонской литературы и культуры, — и только одну треть мы забивали самостоятельно тем, ради чего его в России и выписывали.

стр. 53

Кель ситуасьон! Какова
ситуация! (франц.)

Можно усмотреть намек на «Понедельник начинается в субботу» Стругацких, где профессор Выбегалло применяет и это выражение среди прочих французских «крылатых изречений».

Если припомнить сермяжность Выбегалло и наивный шестидесятнический романтизм положительных героев повести, то яснее становится и отношение автора к отношению к мату русских «творческих интеллихентов». (В эпоху лавинного обвала в русские тексты американского написания — из принципа не желаю прибегать к оригинальной графике «крылатых фраз». Кому надо — переварит.)

стр. 53

Дэ профундис.

Из глубины (взываю)

(латин.).

эстетических наворотов; а уж это был до посадки законодатель дендизма и для литературы тоже.

стр. 53

Когда же московская

поэтесса...

Не только начальные слова широкоизвестной молитвы, но и название посттюремной исповеди Оскара Уайльда — негромкий стон усталой души без всяких

Образ собирательный, клеветать только на одну было бы несправедливым. Падла, как я их всех не люблю!..

Цитата из «Гиперболоида инженера Гарина». Опять же подсознательная аналогия: борьба одиночки с миром.

стр. 53

«Боцман задрал голову...»

«Срал я на двадцать четыре яйца двенадцати апостолов и пизду святой девы бляди Марии!»

стр. 53

«Ме каго эн вейнте...»

(исп.)

Ну, книгу Р. Милна «Винни-Пух и все-все-все» знают в общем все-все-все, а кто нет — тот и этих слов наверняка не читает.

стр. 54

Я так думаю, сказал

Винни-Пух.

Цитата к тому, что Винни-Пух добрый, простодушный и прямой, и все его честные и здравые мысли и предложения не вписываются в «нормальную», «взрослую» мораль и вечно вызывают разные казусы. Прав-то он прав, да «здравомыслящим особам» его правота совершенно ни к чему. Ну, а про мат — еще в отдельном эссе «Мат: сущность и место».

стр. 54

Лотман Юрий

Михайлович

(1922—1993)

Худо-бедно, русский филолог № 1 шестидесятых—восьмидесятых, столп структурализма, индекс цитирования вне конкуренции (по профессии), завкафедрой русской литературы филфака

Тартуского университета, куда уехал работать после вскоре окончания Ленинградского университета, бо в России ему не светило, еврей и формалист. Лотмановские чтения и т.д.

стр. 54
Зара Григорьевна Минц
(1927—1990)

стр. 54
Медведева, Наталья
(родилась так году
в сорок пятом, судя
по виду)

Лимоновым, ее бы вовсе никто не знал. Раскручивала себя, как помесь швабры с самовзводной юлой.

стр. 55
Смотри порники...

Почти вся порнография удивительно примитивна и вульгарна. Изготовители руководствуются девизом: максимум прибыли при минимуме затрат. Зритель хочет изображения половых актов как бы с новыми партнерами и как бы в новых интерьерах — получи, фашист, гранату. А актеры, в погоне за деньгами, естественно, работают близ предела своих возможностей. Судя по всему, если только актеров до съемок мариновать несколько недель в полном воздержании, да подобрать им партнерш, которые будут их сильно возбуждать, да весь процесс съемок лишить обыденной деловитости, а превратить в сплошной бордель, где снимаемые актеры — лишь одни из участников, т.е. сами съемки превратить из технологического процесса в сексуальный фестиваль — о, тогда можно делать настоящий порнофильм. Ну, это вроде как был Хичкок, который умел вызывать ужас нехитрым зрелищем — и есть страшилки и боевики, где трупы летят вермишелью, а соперевживания нет. Но зритель смотрит! Делать соперевживание куда дороже обходится.

стр. 55
...с портфелем
«Рымникского»...

портфель влезало шесть бутылок.

Его жена, также доктор филологии, профессор той же кафедры, единомышленник, разумеется, и т.д.

Плохая певица, плохая манекенщица, бездарная письменница, вульгарна ужасно, и море амбиций, для реализации которых любит использовать эпатаж.

Если бы не временный брак с

Если бы не временный брак с

Почти вся порнография удивительно примитивна и вульгарна. Изготовители руководствуются девизом: максимум прибыли при минимуме затрат. Зритель хочет изображения половых актов как бы с новыми партнерами и как бы в новых интерьерах — получи, фашист, гранату. А актеры, в погоне за деньгами, естественно, работают близ предела своих возможностей. Судя по всему, если только актеров до съемок мариновать несколько недель в полном воздержании, да подобрать им партнерш, которые будут их сильно возбуждать, да весь процесс съемок лишить обыденной деловитости, а превратить в сплошной бордель, где снимаемые актеры — лишь одни из участников, т.е. сами съемки превратить из технологического процесса в сексуальный фестиваль — о, тогда можно делать настоящий порнофильм. Ну, это вроде как был Хичкок, который умел вызывать ужас нехитрым зрелищем — и есть страшилки и боевики, где трупы летят вермишелью, а соперевживания нет. Но зритель смотрит! Делать соперевживание куда дороже обходится.

Дешевое болгарское крепленое красное вино, разливалось в короткие поллитровые бутылки и стоило рубль сорок две. В среднестатистический студенческий

стр. 55

...к двум красивыми подругам...

Вот в таких местах читатель даже надеется на развертывание и детализацию события. Ну, может, и не очень красивым, но вполне ничего, на четыре с хорошим плюсом. Одна из них была нашей однокашницей и хорошей знакомой, а другая, постарше — ее подругой и, как оказалось, любовницей. Что касается имен и дат, то я не убежден в необходимости; перетопчетесь, может? Одну звали Марина М., и было ей в те поры двадцать один, а другой под тридцать, и как звать — забыл все равно. Кстати — строго говоря, они были бисексуалками; жизнь заставила — обе разведенные с маленькими детьми: что называется, обжегшись на молоке... Вообще лесбос процветает в девичьих комнатах общежитий больше, чем юноши полагают. Надо сказать, что мужчины-гетеросексуалы в общем лесбос приветствуют — в том плане, что это не снижает их влечения к лесбиянке, если оно было и без того знания, и более того — мужчине очень нравится лечь к ним третьим на правах равного. Но это уже уклонение от темы конкретного случая. Ночь была скверная: у них скрипела кровать, а я не мог уснуть на тюфячке.

стр. 55

И в Париже, в Венсеннском лесу, под луной, нет мне покоя!

Отсыл к булгаковскому из «Мастера и Маргариты»: «И ночью, под луной, нет мне покоя!» (Понтий Пилат). Достали, то есть, по жизни и по литературе.

стр. 56

...шагов Командора за сценой.

Придет невинно убиенная статуя к дон-Жуану, пожмет руку дружески и утащит в геенну огненную. Приглашай их, сволочей, на ужин!..

стр. 56

...консилиум над телом Буратино.

С тех пор в печати и особенно по телевидению обожают по непрекращающимся кризисным вопросам повторять: «Пациент скорее мертв, чем жив.— Нет. Пациент скорее жив, чем мертв». «Золотой ключик» стал одной из знаменитейших и цитируемых книг конца советской эпохи. «Поле чудес в

стране дураков» вошло в устойчивую фразеологию языка. Мюзикл по книге пользовался редкой любовью и цитировался насквозь. К началу XXI века массы уже забыли, как они издевались над советской властью и ненавидели ее.

стр. 56

На чем настаивали все известные мне журналы и издательства.

С осени 75 по лето 79 тридцать семь моих рассказов были предложены 26-ти журналам и 17-ти издательствам. Я собирал редакционные отказы на подборки до ста, потом до двухсот, потом бросил. Сейчас даже странно, что нервы не сдали. Вот что значило пробиваться в те времена, господа нынешние литераторы.

стр. 56

Сделай или слохни.

незыблемость саксонского духа. Одновременно — самоцитирование (рассказ «Не в ту дверь»).

Широко известное в викторианскую эпоху английское присловье, должествовавшее отражать

стр. 56

Эстония в Ленинграде славилась избытком и либерализмом.

Парафраз из «Семнадцати мгновений весны», истинно культовой книги и телесериала семидесятых: «Штирлиц у нас славится логикой и либерализмом». Подсознательный пласт положительных эмоций, везения, надежды и победы.

стр. 56

...в щель форточки забитого окна...

Автор уже ведь не убежден, что нынешняя публика помнит даже «Медного всадника»: «...в Европу прорубить окно». Да, а что; читатель Доценко и читатель

Пушкина не могут быть совмещены в одном лице; либо же это лицо будет ужасно.

Это было ого-го! Конец семидесятых, все западные новости по радио глушатся в хлам, за хранение Солженицына дают срок, — а в Эстонии все принимают

стр. 56

...и приемом финского телевидения.

финское телевидение, и телерадиоремонтные бюро чуть ли

не официально за сорок рублей ставят звуковые приставки, чтоб и звук, значит, принимать, — а картинка идет с вышки в Хельсинки! Четыре финские программы: реклама! новости! американские фильмы! американские телесериалы!!! (да кто их тогда в Союзе видел?!). Союз еще ничего не знал — а Эстония уже смотрела вход советских танковых колонн в Кабул! КГБ неоднократно ставило НИИ Связи задачу разработать средства глушения вредоносного ФинТВ, но ничего не получалось: если глушили — то глохло все и на финском берегу, к их глубочайшему возмущению, а глушить направленным лучом только на своей части территории — ну никак не получалось...

стр. 56

...рукопись одобрили
в принципе.

После четырех трудолюбивых лет водопада беспросветных отказов — ласкающая рецензия типа: «У нас есть все основания полагать, что после некоторой

перекомпоновки рукописи и незначительной редакторской доработки издательство получит яркую, талантливую книгу, которая, без сомнения, будет издана в реальные сроки». У меня еще месяц руки дрожали на седьмом небе. Если бы не эстонец Айн Тоотс, автор этой рецензии и будущий редактор книги, хрен бы эта книга увидела свет «в реальные сроки».

стр. 56

...в Кушке...

Теперь уже многие не поймут. Кушка была пограничным пунктом Туркмении, крайней южной точкой СССР, дырой страшен-

ной и пеклом. Была лейтенантская присказка мирных времен: «Дальше Кушки не пошлют, меньше взвода не дадут».

стр. 57

В республиканской газете
«Молодежь Эстонии»...

Боже, ну и гадюшничек был... да и весь Дом Печати не лучше. Удивительно высокий уровень каких-то неразличимых нево-

оруженным глазом, но отчетливо воняющих интриг, и удивительно низкий уровень профессионализма. Ответсекр «Молодежки» всерьез спрашивал меня, хорош ли заголовок очерка о знатном фрезеровщике

«Наедине с фрезой». Журналист обычно писал материал дома от руки, а в редакции отдавал его перепечатывать в машинописное бюро — как в конце XIX века. Боюсь, что я не всегда умело скрывал свое презрение. В Ленинграде, в многотираге «Скороходовский рабочий» — только тогда я понял, какими мы там все были асами; будущее это подтвердило — в новые времена, не сдерживаемые анкетами, все резко пошло вверх. И вот Таллин — отдельные кабинеты! вид на город! тьма телефонов! а бар! днем — коньяк! курить можно! музыка играет! журналисты культурно и вальяжно проводят рабочее время! и вдруг за стойкой звонит телефон — и барменша кого-то из публики подзывает к аппарату! — кино из западной жизни!!! а журналисты из них — как из портянки презерватив. Провинциализм — это не ограничение по месту жительства, провинциализм — это ограничение по мозгам в сочетании с высоким самоуважением и взглядом на знаменитостей в своей профессии как на естественно высших существ. С годами я делаюсь все менее терпим к людям неумным и не умеющим работать свое дело очень хорошо...

стр. 57

...нужна прописка.

Забыли уже, как без милицеской прописочки на работу не брали никуда, а без работы прописочки не давали, и так во всех приличных городах?

стр. 57

...пять лет я не делал для заработка ни строчки.

Клянусь. Деньги от летних заработков «в пампасах» неукоснительно и независимо от размеров заработка кончались в пьянку на

7 Ноября (праздник Октябрьской революции), и на что я жил дальше до лета — сам теперь плохо понимаю. Одалживал по рублю, редко — по пять. Ходил ужинать к знакомым. Ездил в автобусах только зайцем.

стр. 58

Вольдемар Томбу

Замечательный и неконфликтный человек. При советской власти тоже не пропадал: окончил потом в Москве Высшую

партийную школу и перешел на вполне высокоуровневую

околопартийную работу. Таки там тоже были приличные люди, просто работа у них была такая.

стр. 58

Драли с тех пор меня
многочисленные
редакторы...

Институт советского редактирования не имел аналогий в мировой истории. Создан он был в первую пятилетку, в конце двадцатых, с реализацией призыва «Ударники — в литературу!». Т.е.

передовые сознательные рабочие и крестьяне должны были писать — пусть они были не шибко грамотны, зато классовое чутье у них было верное, и жизнь они знали, частью народа являлись. А образованные, но классово неполноценные интеллигенты-редакторы должны были их правильные и талантливые, но неумелые и корявые произведения редактировать, т.е. исправлять малограмотные ошибки и вообще переписывать в соответствии с элементарными требованиями литературы и журналистики. Мол, редактировать любой образованный может, а вот чтобы душу и жизнь правильно показать — тут надо самому принадлежать к передовому классу. Ну, потом рабоче-крестьяне и их дети — кто поумнее — пооканчивали институты, сами стали грамотными, но институт редактур остался. И вот один человек после Литинститута пишет повесть, а другой после того же Литинститута ее редактирует. А норма загрузки у него — страниц пять в день, если годовую норму по дням разделить. А энергия требует приложения! А потребность в самореализации и самоутверждении требует что-то делать с рукописью, ум и знание к ней приложить! И редактор начинает «улучшать» — приводит все в абсолютное соответствие с академической грамматикой: зачеркивает слова и заменяет их более, по его мнению, удачными, — короче, соавторствует. Можно, конечно, рукопись прямо так в типографию пустить — но это «не положено», есть нормы штатов редакторов, он обязан редактировать, таков закон. Когда редактору говорили, что никого из классиков мировой литературы никогда никто не редактировал — он раздражался. Сколько образованных и полуобразованных людей бессмысленно потра-

тили свою жизнь на ничего не значащие мелкие искажения авторского текста! Страсти кипели, инфаркты рушились, жалобы и доносы писались. Не будет им, редакторам, моего прощения, ибо даже лучшие из них были сволочи уже по своей профессиональной принадлежности. Они очень мало могли заниматься собственно и исконно редакторской работой, каковая состоит в превращении рукописи в книгу; художника выбирал художественный редактор, формат и макет — технический редактор, срок выхода и тираж — завредакцией, главный редактор и директор. Редактору оставалось только «литературно редактировать», в чем он себя и реализовывал. Сука... Приложение к моему трактату «Технология рассказа» так и называется: «Борьба с редактором». Оно написано, что называется, запекшейся кровью сердца. Так ныне не прошедшие этот ад воспринимают ее часто как юмор: однажды даже напечатали отдельно в юмористическом журнале!

стр. 58

Оптимизм — наш долг, сказал государственный канцлер.

Цитата из романа Эрика Кестнера «Фабиан»: глава посвящена издевке над газетной работой; в конце книги главный герой не то кончает с собой, не то благородно пытается спасти тонущего ребенка — при том, что сам не умеет плавать; ребенка-то и без него спасли, а он утонул.

стр. 60

...«вторая древнейшая»...

Устойчивый эвфемизм. По традиции первой древнейшей профессией называется проституция, и только второй — журналистика. «Вторая древнейшая» — так назывался роман среднего американского литератора Силвера Монтегю о бессмысленности и неблагодарности газетной работы, — книга была популярна в семидесятые среди советских журналистов, выйдя в русском переводе в Союзе.

стр. 60

Ариэль.

Дух воздуха и как бы символ свободы из пьесы Шекспира «Буря». Советскому читателю был более известен по роману

популярного в шестидесятые довоенного советского писателя-фантаста Александра Беляева «Ариэль»: бедный индийский мальчик умеет летать и в результате обретает счастье, к посрамлению плохих колонизаторствующих англичан: ну, советише Диккенс с элементом фэнтэзи. Пока он не улетел к черту и стал любимым и богатым, англичане-скоты имели его по-страшному.

стр. 60

...как министр

Госкомимущества.

Председателем Госкомимущества был в это время великий Анатолий Чубайс. Телевизионные рассказы в первый период его деятельности, посвященные

его скромности и даже бедности, вызывали у меня восхищение умственными и волевыми способностями Чубайса. Так же как продекларированная им принадлежность полностью к славянско-русскому этносу, вот только фамилия от дедушки-литвина. Автор имел честь со студенческих лет приятельствовать по университету с Игорем Чубайсом, своим ровесником и старшим братом Анатолия; до крайности похожий на родного младшего старший брат утверждал, что сам он на одну четверть русский, на три же прочие — еврей, нюансы литовских корней и вовсе в воздухе не подразумевались. Обычная история.

стр. 60

...завотделом пропаганды
Марику Левину...

Еврей типа «мечта антисемита».

В редакции его не переваривали за спесь, важность и непробиваемый апломб. Рост, размер, профиль, глаза, баритон, подбритая

бородка с седой прядью — «Бельмондюк» была одной из редакционных кличек. Всегда был очень занят, но для разговоров о себе и своих заслугах — всегда свободен. Обожал пригласить новичка в ресторан и потом предложить заплатить, сказавшись без денег. Производил сильное впечатление на провинциальных околожурналистских девушек. Совершенно терялся и сникал, если его посылали подальше. В постперестроечные времена стал редактором-издателем журнала «Привет», который выходил пятидесятитысячным тиражом, не продаваясь вообще. На четвертом

номере деньги доверчивого бизнесмена-инвестора кончились, и журнал почил. В жестокую и конкурентную новую эпоху был сокращен из всех штатов и стал читать при каком-то учебном заведении лекции по литературе и журналистике. Глупые студенты должны его уважать. Неглупых коллег он сильно раздражал, вещая полную чушь тоном абсолютного превосходства.

стр. 60

Мельница Господа Бога
мелет медленно...

Одна из любимых эстонских поговорок. Все-таки в поговорках отражается национальный характер и темперамент. Хотя от одного эстонского писателя я

слышал в советские времена очень нервное высказывание насчет издательских сроков: «Они там все думают, что мы живем по триста лет, как морские черепахи!» По три, пять,

семь лет мы ждали книг!

стр. 60

Пуганая ворона хочет
выжечь кусты из огнемета.

Вольно-агрессивная переделка пословицы «Пуганая ворона куста боится». Писатель был рыдающий тайный садист.

стр. 62

Совсем не то обещал мне
ярл, когда приглашал
в викинг.

Ярл Торгейр, набирая дружину в поход, взял и сына знакомого бонда, прельщенного добычей и славой. В пути его корабль попал в бурю и начал тонуть. Ме-

ста в лодке, шедшей на привязи, хватало только для половины людей. Викинги метнули жребий, по которому ярлу выпало спастись, а юноше — остаться. Когда ярл занес ногу, чтоб перешагнуть в лодку, юноша и обвинил: «Совсем не то обещал ты мне, ярл, когда прельщал выгодами похода.— Что же ты предлагаешь? — спросил Торгейр.— Чтобы ты остался на корабле, а я перешел в лодку.— Должно быть, ты очень любишь жизнь и полагаешь, что смерть — трудное дело,— был ответ.— Будь по-твоему». И Торгейр погиб, а юноша спасся; скальд не счел нужным сохранить его имя для потомков, в отличие от имени погибшего Торгейра. Снорри Стурлусон, «Хеймскрингла», «Сага об оркнейцах».

стр. 61—62
...сопроводив
похеривающей
рецензией.

Пера ни больше ни меньше как
председателя Союза писателей
Эстонии, Заслуженного писате-
ля Эстонии и лауреата всяких
премий Владимира Бээкмана: он

руководствовался здоровой и логичной мыслью охранить литературно-издательскую жизнь родной Эстонии от всяких варягов, за которыми тащатся хвосты их российских неурядиц,— в Москве-Ленинграде непризнанных гениев было пруд пруди, создай прецедент — так сотни могут хлынуть в Эстонию издаваться и процветать, а Эстония маленькая, и благоприятную культурную обстановку в ней надо беречь для своих. Мой редактор также растерялся: он был уверен в объективной оценке маститого рецензента, и вдруг — такой пассаж!.. Гм; по-человечески я вполне понимал Бээкмана — такая жизнь, что делать; впоследствии у нас установились вполне хорошие отношения, в общем он всегда был человеком порядочным... просто приходилось быть политиком, куда денешься.— Годом спустя газета «Советская Эстония» заказала мне очерк об его жене, также известном эстонском писателе Эме Бээкман — это было тридцать рублей приработка в период полной нищеты. Я явился в их дом с опозданием почти на час (это в пунктуальной Эстонии!), небритый, простуженный, с грязным носовым платком, воняя сигаретами «Прима». Дог бегал меж голубых елей под достойным двухэтажным домиком в фешенебельном пригороде. Хозяин вышел на встречу в белой сорочке с бабочкой. Хозяйка была в черном платье типа коктейльного от Шанель. Я был уместен на этом мини-рауте, как чесотка при молитве. Скатерть была камчатной, кофейник — серебряным, конфеты — импортными (в советские времена!). Хозяева держались с ровным дружелюбием подлинных аристократов. Возникло ощущение, что вопиющее отсутствие с моей стороны намерений понравиться или, тем паче, как-то приблизиться, в сочетании с тем, что предметом разговора я владел исчерпывающе и, смею надеяться, профессиональную беседу провел по уровню верха,— возникло ощущение, что это

вызвало у них симпатию. Боже, как прекрасна жизнь, когда тебе ни от кого ничего не надо!

стр. 62

Дама ваша убита, ласково сказал Чекалинский.

Разумеется, «Пиковая дама» — автора угадайте с трех раз. Обдернулся Германн, накрылось все его состояние, и только дурдом остался впереди, так еще ведь и

Лиза утопилась. То есть: плохо жил автор романа, и слово «убита» вполне оттеняет его реакцию на милую новость.

стр. 62

Корнет Оболенский, дайте один патрон.

Переделанная к месту цитата из старого шлягера Михаила Звездинского (господи, его биография — отдельный роман, судьба этой песни — еще один роман!..)

«Четвертые сутки пылают станицы!..» Там: «Раздайте патроны, поручик Голицын, корнет Оболенский — налейте вина!» Какое вино?! Один патрончик — застрелиться!

стр. 62

...эстонской кильке пряного посола...

Привет от анчаровской «Баллады о МАЗах»: «Кушай кильку посола пряного — кушай, детка, не егози!» Классическая и дешевлешая водочная закуска. Можно сказать,

одно из национальных эстонских блюд. Когда в начале восьмидесятых эстонские писатели как-то принимали у себя узбекских писателей, то в ресторане «Глория» — как бы правительственного уровня кабаке — в качестве гвоздя банкета внесли блюдо интернациональной дружбы — огромный поднос плова, обложенный соленой килькой. Неширокие глаза узбеков стали похожи на пуговицы с пальто швейцара; об этом долго говорили потом в литературном Ташкенте.

стр. 62

...разбитого корыта.

«Сказку о рыбаке и рыбке» упоминать?

стр. 62

Ах не фраер Боженька: всю правду видит, да не скоро скажет.

Блатная присказка из фени пятидесятых годов.

стр. 62
...из пращи
да булдыган в лоб.

стр. 62
...не шейте вы ливреи,
евреи.

стр. 62
Для тебя, Веллер,
Монголия заграница...

Намек на Давида и Голиафа?
Или на поговорку: «Что в лоб,
что по лбу»? Булыжник — ору-
жие литературного пролета-
риата.

Строка из песни Александра Га-
лича. И отрекся от славы, и от-
казался от богатства, и отрыдал
по Родине, и принял смерть в
Париже.

Филфак Ленинградского уни-
верситета тогда готовил в основ-
ном переводчиков с европейских
языков, а элитная работа для них

была, разумеется, за границей — там смотрели мир, там куда больше зарабатывали, заводили связи на советско-торгово-дипломатическом верху, за год-два работы можно было купить потом в Москве или Ленинграде кооперативную квартиру, и т.п. Но для принятия на заграничную работу нужна была хорошая анкета, желательно — с указанием общественной активности, будь то комсомольская, партийная, профсоюзная и т.п. Думая о будущем, студенты «набирали очки», занимаясь общественной деятельностью. Я учился на русском отделении — стало быть, переводчиком за границу не мог ехать все равно, а читать лекции по русской литературе выпускали за бугор проверенных профессоров и доцентов, — т.е. с точки зрения карьеры моя комсомольская деятельность была бессмысленной, тем паче что я не думал ни об аспирантуре, ни о преподавании в вузах, и вообще был евреем без связей, то есть абсолютно непроходной пешкой. Самое смешное, что дружески-юмористическое пророчество сбылось: в двадцать восемь лет, алтайским скотогоном, я таки посетил заграницу-Монголию, где в шестидесяти километрах за пограничной чертой мы принимали на перегон монгольский скот. До сорока лет, когда пошла перестройка и я начал понемножку шляться по миру, Монголия оставалась моей единственной заграницей.

стр. 62
Велика Россия, а
отступить нам приходится
на запад.

Пародия на крылатую фразу
«Велика Россия, а отступить нам
некуда». Приписывается то
политруку Клочкову, то лейте-
нанту Дееву — командиру двад-

цати восьми бойцов панфиловской дивизии, которые по-
легли, отражая в декабре 41 атаку немецких танков. В
шестидесятые годы выяснились интересные вещи. Во-пер-
вых, не все 28 погибли, как объявили тогда. Некоторые
остались живы. Во-вторых, когда Александр Кривицкий,
корреспондент «Красной Звезды» (позднее известный
журналист), привез в редакцию этот материал, главный
редактор Давид Ортенберг логично спросил: «Слушай,
если они все погибли, откуда же ты знаешь, что политрук
Клочков это сказал? — Я уверен, что он должен был так
сказать!» — ответил умный и политически очень грамот-
ный Кривицкий. Так создавались легенды, на которых мы
росли. — — Кроме того, «на Запад» — намек на эмиграцию
семидесятых, когда «свободомыслящим и талантливым»
места в Союзе действительно не очень-то находилось.

стр. 63
...автоматически
означала, что отец мой
вышибается...

Эмиграция происходила только
по двум официальным причи-
нам: брак с иностранцем или
вызов от родственников (пусть
подставных, несуществующих)
на постоянное место жительства

в Израиль. Как только человек подавал заявление о браке
в ЗАГС, или как только приглашение на заграничье
в письме попадало на пункт перлюстрации зарубеж-
ной корреспонденции (а этим ведала контрразведка КГБ)
особые отделы, они же режимные отделы, они же полит-
органы; и партийное руководство по месту работы всех
ближайших родственников принимало меры, так как че-
ловек с сыном или братом, намеренным стать иностран-
цем, был потенциальным пособником потенциальных
шпионов и явных врагов советского строя; таким родст-
венникам доверять было нельзя, они автоматически ста-
новились подозреваемыми, неблагонадежными, ничего

хорошего им по работе светить не могло, они делались гражданами последнего сорта. Никаких преувеличений! И меры к ним принимались раньше, чем, скажем, брак уже заключался (тому чинилось много препятствий) или вызов на постоянку попадал в руки адресата.

стр. 63

...вперед и вверх.

А там — хоть это не наши горы, но...

Парафраз из песни Высоцкого: «Вперед и вверх! А там — ведь это наши горы, они помогут нам!» К/ф «Вертикаль», 1967 год. Исса. Цитата стоит в качестве эпиграфа к «Улитке на склоне» Стругацких. А также выбита на мини-монументике приза «Бронзовая улитка», ежегодно вручаемом Борисом Стругацким за лучшее фантастическое произведение года. Впервые в год основания «Бронзовую улитку» получил (1992) скромный автор (за рассказ «Хочу в Париж»).

стр. 63

...тихо-тихо ползи,
улитка, по склону Фудзи
вверх, до самой вершины.

Самая красивая запись в моей толстенной и давно лежащей без дела трудовой книжке гласит: «Бригадный стрелок» (!). А как выглядела эта охота — описано в романе «Самовар».

стр. 63

...на промысловую охоту.

Главным было раздать две-три сотни в долг знакомым — и потом до следующего лета и отъезда на следующие заработки получать с них по десять-тридцать

стр. 64

...Заработка должно было хватить...

рублей, тут же отоваривая их чаем, сахаром, сигаретами и супами в пакетиках; на хлеб всегда можно было найти и сдать пустую бутылку или просто настрелять на улице по пять—десять копеек. Потому что основная сумма все равно кончалась 7 Ноября (см. выше).

стр. 64

...переложил печку
в камин...

Две ночи я крал отборные кирпичи из штабеля у жилуправления, перетаскивая их за километр в сумке; отбор происходил на

ощупь. Камин я клал четыре дня, разложив кирпичи «взрыв-схемой» по всей комнате. В последний день ко мне в гости зашел знакомый эстонский писатель и сделал комплимент моему умению, сказав, что и не слышал за мной о таких талантах. На что я чистосердечно ответил, что три дня назад и сам о таком таланте за собой не знал. Камин, надо признаться, более способствовал комплексному удовольствию от интимной жизни, нежели творческому процессу.

стр. 64

...удача благосклонна
к тем, кто твердо знает,
чего хочет.

очень хороших мемуарного характера книг об авиации.

стр. 64

Никогда не бывает так
плохо, чтоб не могло
быть еще хуже.

Цитата из книги Марка Галлая «Первый бой мы выиграли» (нет, но каково название! таки да подсознание существует). Кто не знает — Галлай всю жизнь был летчиком-испытателем экс-

тра-класса и в шестидесятые годы написал несколько распространенная английская пословица. В России конца XX — начала XXI века обрела вторую жизнь, если не бессмертие и стала слоганом политической и общественной жизни.

стр. 64

«Пронеслось четыре года. Три у Банковых уroda родилось за это время неизвестно для чего. Недоношенный четвертый стал добычей аборта, потому что что-то к празднику папаша Банков прибавки к жалованью не получил. Это ново?..» — и т.д.

Саша Черный.

стр. 65

«Он один был в своем
углу, где секунданты даже
не поставили для него
стула».

Джек Лондон, «Мексиканец». Этот образец победы в грязной игре нас долго поддерживал... Самый тиражный сов. автор!

стр. 65

Портрет на фоне
Пушкина, и птичка
вылетает.

Парафраз песни Окуджавы «На фоне Пушкина снимается семейство». На фоне Пушкина и пробка вылетает! И пуля вылетает! И деньги! И т.д. Гений!

- стр. 65
 Меня посетила знакомая. Убей меня бог, не помню, кто это: «Меня недавно муза посетила — немного посидела и ушла». Высоцкий? «Во мне заряд нетворческого зла...»
- стр. 65
 ...танк, который гуляет сам по себе. Киплинг, «Кошка, которая гуляла сама по себе». Англо-сакский германский замес подается из подсознания, как снаряд.
- стр. 65
 ...кэптен Джон Морган. Знаменитого пирата и последующего губернатора Ямайки звали, разумеется, Генри Морган. Джонном Пирпонтном Морганом звался американский олигарх рубежа XX века. Зачем мне захотелось обозвать пирата Джоном? По трафарету — Иван, Джон, Ганс, Абрам? По детской матерной песенке «Капитан, каких немного, — Джон Кровавое Яйцо»? Очевидно, для обогащения внесознательных ассоциаций. Соединить пирата с акулой бизнеса. Графика и фонетика имени «Генри» будет поинтеллигентнее «Джона» — крепковатого, простоватого и т.д.
- стр. 65
 ...мерзкую плоть... Так назывался известный у нас некогда роман Ивлина Во — «Мерзкая плоть».
- стр. 67
 Павлина ранили стрелой. «Оленя ранили стрелой». Это цитата откуда-то из мировой классической драматургии, причем обыгрывается в русской классике XIX века — не то у Островского, или еще где. Кто-то там величественный и пьющий бродячий актер, кто-то — чья-то несчастная дочь, и вообще алкоголь, поражение и благородство никчемной образованности. Автор издевается над собой изо всех сил.
- стр. 67
 б/у — «бывшее в употреблении». Армейский профессиональный жаргон — о предметах вещевого довольствия, которыми до раздачи уже пользовались другие. А то сейчас все знают «секонд хэнд», а родимые выражения могут и забыть.

стр. 67

...такой русской, хучь
в рабины отдавай...»

стр. 67

...Рогинский, Малкиэль,
Ольман...

стр. 67

...из недодавленных
в Киевах и Ташкентах...

И. Бабель, «Начало» — один из автобиографических рассказов периода Гражданской войны.

Почти все после распада СССР разъехались: одни вернулись в Москву и Петербург, другие продвинулись в Германию и США. Выпить не с кем!

Среди «русскоязычной» интеллигенции Эстонии действительно был удивительно высок процент евреев — которые приезжали

из Молдавии, Украины, Средней Азии поступать в эстонские вузы, что было вполне возможно на общих основаниях и без протекции и взяток, а «дома» действовали негласные инструкции евреев много куда не принимать, и на приличную работу устроиться здесь было легче. Эстонцы отчасти полагали, что лучше еврей, чем русский, — евреи, мол, тоже небольшой, неагрессивный и трудолюбивый народ, придавленный грубыми русскими оккупантами, отчасти собратья по несчастью. Хотя во время Второй Мировой войны все евреи в Эстонии были исправно уничтожены, и Риббентроп лично прилетал поздравлять эстонские оккупационные власти с решением проблемы и объявлением Эстонии «юденфрай» — свободной от евреев; но это было раньше. А потом стал действовать принцип «враг моего врага — мне если не друг, то все-таки товарищ по несчастью». Русские же полагали, что пусть будет в Эстонии процент эстонцев хоть чуть пониже, а прочих, даже и евреев, — чуть повыше, так что черт с ними, пусть селятся и работают. Их немного, над ними эстонские и русские начальники, много не навредят, и вообще они запуганы и управляемы, и корней у них тут нет, а эстонцы — скрытые антисоветчики все, родня сплошных «лесных братьев». В начале восьмидесятых был страшный скандал, когда финны обнародовали советский перспективный план развития Таллинна, по которому к 2000 году население города должно было достичь миллиона человек при соотношении русских

и эстонцев 3:1 (до этого было 1:1 при полумиллионе).

стр. 67

«За победителя боги,
побежденный любезен
Катону».

Восходит к фрагменту одной из частично сохранившихся речей Марка Порция Катона (234—149 до н. э.), более всего оставшегося в истории фразой: «А все-таки я считаю, что Карфаген должен

быть разрушен». Воевал под Сципионом Африканским, позднее, уже сенатором, был врагом Сципиона и сторонником самой жесткой политики по отношению к побежденным. Но в старости сильно смягчился и подобрел — хотя никаких конкретных гуманных следствий его доброта уже не имела... Данная фраза должна была как бы демонстрировать его добросердечие и справедливость.

стр. 68

...хук правой в печень...

Представив себе нормальную левостороннюю стойку двух боксеров (левое плечо впереди, левая рука перед лицом), может логично

показаться, что в правое подреберье противника надо въезжать своей левой. Но. На деле. Правое подреберье прикрыто правым локтем. Атака же требует подготовки, для хука плечо необходимо как минимум опустить и повернуть. Опустив, ты открываешься, а повернув левую из нормальной стойки — производишь полускользкий удар сбоку по низу правых ребер и прессу. Так в печень не въедешь, а хук требует достаточной траектории движения руки. Эффективный удар в печень производится крюком правой на контратаке: поймать противника на ударе его правой, уйти нырком — и вот тогда его правое подреберье находится как раз напротив твоей правой руки, а твое правое плечо находится в положении нормальной стойки, т.е. опущено и отведено назад, готово для нанесения удара; ощущение от такого пропущенного удара напоминает выпускание из тебя всего воздуха через дырку под ребрами.

стр. 68

...змеиное молоко, мы
сами-то еле живы.

Отсыл к Стругацким, «Парень из преисподней»: «Какие у нас, змеиное молоко, братья, мы сами-то еле живы».

стр. 68

...что бы ни делал человек в России, а все равно его жалко.

Одно время фраза была крылатой. Когда в разгар «перестройки» группу бывших диссидентов пригласили из эмиграции на дискуссию по ЦТ, они долго молчали гуманистическую чушь, пока Владимир Максимов этой фразой не подвел невольный итог болтологии: теле-аудитория была в восторге.

стр. 69

...по обе стороны океана...

Так был озаглавлен знаменитый в шестидесятые очерк Виктора Некрасова, опубликованный в «Новом мире» и удостоившийся личного и прицельного разноса генсека Хрущева: мол, низкопоклонство перед Америкой. С этого началась для живого классика советской военной литературы Некрасова бесконечная цепь неприятностей, кончившаяся в семидесятые его выдавливанием в эмиграцию — которая тоже оказалась для него несладкой.

стр. 69

...и нет для нас другого глобуса.

Парафраз знаменитого в семидесятые анекдота: в КГБ вызывают допускающего нелояльные высказывания еврея и предлагают добром уехать в Израиль; «Но я не хочу ехать в Израиль!» — «А куда вы хотите? Туда и езжайте!» — «А можно?» — «Можно!» — «А куда?» — «Куда угодно!» — «А подумать можно?» — «Думайте.» — «А... посмотреть по карте можно?» — «Вот идите в ту комнату, там есть глобус, выбирайте и валите.» — Через некоторое время вспотевший еврей возвращается из другой комнаты: «Простите, конечно... а другого глобуса у вас нет?»

стр. 69

...как космонавты на Андромеду.

стр. 69

...в журнале «Алеф».

Отсыл к знаменитому в шестидесятые фантастическому роману Ивана Ефремова «Туманность Андромеды» — эдакой величественной и фальшивой утопии. Издается в Тель-Авиве тиражом всего тысяч в пять, но издатель — какая-то весьма ор-

тодоксальная еврейская организация — рассылает его по массе мест, где есть еврейские общины. Тогда главным редактором был мой приятель Давид Шехтер, а потом — другой приятель, Павел Амнуэль. Уж лень теперь и копать подборку, какой именно мой рассказ из «Легенд Невского проспекта» был опубликован в «Алефе» в самом конце 92 г. А вот пиво пили марки «Маккаби».

стр. 69

...Юру Дымова.

Мы кончали с ним школу в Могилеве. До той встречи я и не подзревал, что Дымов — еврей. Ассимиляция или мимикрия?..

стр. 69

...перегруженный альбатрос.

Считать ли это намеком на известное стихотворение Бодлера «Альбатрос»? Или на его перелет через океан с багажом?

стр. 69

...ваши цветущие яблони на Марсе.

«Утверждают космонавты и мечтатели: и на Марсе будут яблони цвести!» Из известной официально-оптимистическо-лирической песни советских шестидесятых; авторов не помню и помнить не хочу; надеюсь, что хоть этого не пел Кобзон.

стр. 69

«Кэптэн Блад ошень любиль...»

Финальная фраза чудной детской пиратской книжки Рафаэля Сабатини «Одиссея капитана Блада»; она была особенно популярна у подростков начала шестидесятых. И, черт возьми, — Блад всегда побеждал!

стр. 70

«Я с самим маршалом Фрагга разговаривал...»

Стругацкие, «Парень из преисподней». Да. Бойцовый Кот есть боевая единица сам по себе.

стр. 71

У лакея свое представление о величии.

Лев Толстой, «Война и мир»: «Для лакея не существует подлинно великого человека, потому что у лакея собственное представление о величии».

стр. 72

У успеха много отцов.

Старая арабская пословица. «...поражение всегда сирота».

- стр. 72
...большого ума
благородные доны...
- стр. 72
...в любой луже есть гад,
между иными гадами
иройский.
- стр. 72
Занять каждого своим
делом...
- стр. 73
Ежли роман — зеркало,
с которым идешь
по большой дороге...
- стр. 74
Можно простить
увольнение отца,
но не потерю
спецраспределителя.
- стр. 74
Воскобойников
- Боже, как мгновенно и как
надолго стала разобрана на клас-
сику цитат «Трудно быть богом»
Стругацких. А ведь Борис неод-
нократно утверждал мне, что «мы с Аркашкой не любим
эту повесть». Ничего, другие любят! Второе место в рей-
тинге цитирования всей русской
литературы!
Салтыков-Щедрин, «История
города Глупова». Самый злобо-
дно-антиправительственный
всегда наш классик.
Бомарше, «Женитьба Фигаро»:
«Займем каждого его собствен-
ным делом, и тогда ему некогда
будет соваться в чужие».
— «Роман — это зеркало, с кото-
рым автор идет по дороге и кото-
рое отражает...» и т.д. Подчер-
кнуть нужное: а) Стендаль;
б) Бальзак; в) В. Губарев, «Коро-
левство кривых зеркал».
«Можно простить смерть отца,
но не потерю вотчины». Маки-
авелли, «Государь». Похоже, все
его ученики сегодня в России
(кроме изгнанных).
И вполне был мягкий человек и
не графоман. Что характерно:
чем дольше я живу, тем больше
среди моих знакомых и друзей
оказывается сотрудников КГБ — при том, что общее число
знакомых, естественно, сокращается. В новые времена
оказалось, что меня самого хотели привлечь к агентурной
деятельности, но в моем досье уже были записи, на осно-
вании которых резолюция на рапорте вербовщика гласила:
«Привлечение к агентурной деятельности считать нецеле-
сообразным». Иногда, встречаясь в Москве, мы с Женей

Григом, старым другом, бывшим замначальника отдела контрактов ВААП СССР, отставным полковником Пятого управления, посмеиваемся на тему, что было бы, если бы ему разрешили меня вербануть. Женя написал познавательнейшую книгу «Да, я там работал», вышедшую в конце девяностых.

И в том же конце девяностых я встретился в петербургском писательском клубе с Валерием Воскобойниковым. Мы пересеклись взглядами и промолчали. Показалось, что он настроен к общению, хотел бы что-то сказать. Но джентльмену трудно общаться с человеком, которого он обвинил в тайном сотрудничестве с репрессивными органами!.. Клянусь! — не по моей инициативе мы очутились позднее в одном вагоне метро, сидящими рядом. Он был терпим, добр и печален: вот вы написали, что я был связан с КГБ, а ведь на самом деле я это сделал просто потому, что его любил... вот, понимаете, и все. Я не чувствовал себя хорошо, глядя ему в глаза и выслушивая. Я чувствовал себя плохо. В любой момент и по первому требованию я готов ответить мордой за каждое свое слово — так нас воспитывали. Но тут этого никто не требовал. И вот теперь — я не знаю правды. Логика жизни — против глядящих в тебя печальных глаз.

Простите меня все...

стр. 75

...к глазу Большого Брата.

«1984» Орвелла была одной из «главных» запрещенных книг в СССР.

стр. 75

Федор Панферов

Когда родился? Когда умер? Что написал? За всем этим теперь надо лезть только в справочники

и литературную энциклопедию. А ведь был классик, член ЦК КПСС, один из начальников нашей литературы, маршал, небожитель! Зачеты и экзамены мы на филфаке по нему сдавали. Все-таки история часто бывает справедлива. Бездари и суки уходят в небытие, и как не было их никогда. Я за них рад. Они отравляли своим смрадом воздух и распределяли его по карточкам, — воздух, которым полагалось дышать нам. И ведь даже они были мучимы родным строем, в котором пристроились жрать кус!

- стр. 76
А откуда, интересно, взялись в академической грамматике все ее правила? Очень просто: кто-то взял и вставил.
- стр. 76
Ученого учить — только портить.
- стр. 76
По законам, понимаешь, современной аэродинамики шмель летать не может.
- стр. 76
Не учи отца делать детей.
- стр. 78
...собственную книжку... снабдив ее надписью...
- стр. 78
...зря похаял редакторов: один меня поучил.
- стр. 79
Характер у меня легкий, зато рука тяжелая.
- Очередной парафраз: «Когда мы пришли в Капитолий, Джек, в конституции штата не было половины тех законов, что сейчас. Откуда же они там взялись? Очень просто — кто-то взял и вставил». — Роберт Пени Уоррен, «Вся королевская рать».
- Пословица, пословица, русская, русская. И тем не менее каждая сволочь тебя нарочит учить, если не боится.
- Чистая правда. На конец XX века по известным аэродинамике законам не получается, чтобы шмель мог взлететь. Он напоминает процветание России!..
- Салонный вариант. Опять же — современный фольклор, русская народная пословица: «Не учи отца ебаться».
- Сборник рассказов «Разбиватель сердец», изд. «Ээсти Раамат», 1988, тир. 40 000 экз. Боюсь, я сделал невольную бестактность.
- Айн Тоотс, мой первый редактор, и поучил, за что ему отдельное спасибо.
- Распространенная ироническая переделка устойчивой фраземы: «У него тяжелый характер, но легкая рука» — о человеке мрачноватом, но доброжелательном и несущем удачу. Тьфу-тьфу: у моих врагов жизнь не тоё...

* * *

Примечание в примечании: Этот комментарий написан также эмигрантом, живущим в изрядной изоляции.

Иногда, общаясь мало с кем и по преимуществу с олигофренами, я уже теряю представление, что общеизвестно — а что, наоборот, малоизвестно и трудно определимо, поскольку основной мой собеседник — я сам. Вот и получается, что комментарий написан иногда как бы для нерусских школ, для иностранцев, изучающих русский язык и историю русской культуры семидесятых годов двадцатого века. И то сказать: чем дальше от Советского Союза семидесятых, тем более чуждым и непонятным становится все, что составляло сферу интеллектуальной жизни культуропотребителей того времени.

* * *

стр. 79

Сам себя не похвалишь —
ходишь как оплеванный.

Перedelка иронической поговорки «Сам себя не похвалишь — никто <тебя> не похвалит», которая и сама есть перedelка классической русской «Не хвали себя сам — жди, когда похвалят другие».

стр. 79

...с юстиниановым
правом...

С легкой руки Наполеона Юстинианов кодекс, легший в основу Конституции Французской Империи, стал в течение XIX века правовой праосновой большинства «демократических» современных государств. (Черт, но наполеоновскую империю нельзя назвать «демократической». Ну, тогда «цивилизованных современных европейских государств» или что-нибудь в таком духе.) Юстинианов Кодекс — объемный свод римского права — составлен в Западной Римской Империи при императоре Юстиниане (527—565), византийце, уже после падения собственно Рима. — В свое время поручику Бонапарту Юстинианов Кодекс попался на гарнизонной гауптвахте по случайке, он прочитал его от нечего делать буйный ум — и цитировал наизусть пятнадцать лет спустя французским правоведом, которым поставил задачу разработать достойное Великой Революционной Франции право.

стр. 79
...с юстиниановым
правом мы тоже
знакомились
не по Гегелю...

стр. 79
...кто-то должен был
прокукарекать первым...

стр. 79
Горенштейн, Фридрих
(род. ок. 1930)

публикацией в «Юности» — а публикация в «Юности» тогда автоматически означала пропуск в литературную элиту — не то рассказа, не то короткой повести с коротким же названием, не подлежащим хранению в памяти: не то «Дом с мезонином» (Но это Чехов!..), не то «Дом и корабль» (Но это сов. писатель-маринист Александр Крон, был такой!..), не то «Мансарда с башенкой», но это звучит явно глупо. Сексуально закомплексован, постоянной нитью проходит проблема мужчины с траханьем: с кем может — не нравится, с кем хочет — не получается, вот так и подходит импотенция, старость и смерть. В новом веке на российском читательском рынке не существует. (Тоже еврей?!)

стр. 79
Войнович, Владимир

Родился примерно тогда же, все это одно поколение, которое вошло в двадцатипятилетие, в возраст рабочего жизненного разворота, во времена хрущевской оттепели, т.е. в конце пятидесятых — а тогда в сов. литературе для людей энергичных и способных настал период условий тепличных и до неправдоподобия благоприятных: за сталинские пятилетки все было вырублено, соцреалистическая графомания достигла стадии неграмотного бреда, и тут — расширили издательские планы! расширили штаты приема в Союз писателей! создали новые издательства и журналы!

Отсыл к поэме Маяковского «Хорошо!»: «Мы диалектику учили не по Гегелю, бряцанием боев она врывалась в стих, когда под пулями от нас буржуи бегали, как мы когда-то бегали от них».

Опять же присказка: «Наше дело прокукарекать, а там хоть не рассветай». Снижение пророка до поэта, а поэта до петуха.

Из поволжских немцев, с семидесятых живет в Германии. Обрел статус определенной известности в шестидесятые пуб-

(потому что уж ну вообще же все уже было подошедшим) — а писателей-то и нет, повывели! И всех чего-то стоящих молодых вносили в голубой вагон под руки — тиражи! слава! деньги! поездки! — был такой период, был...) — Обрел известность публикацией в 1962 году в «Новом мире» короткой повести про прораба «Хочу быть честным». Вошел в литературный истеблишмент, распробовал вкус денег и славы, в семидесятые свалил в США. В романе-антиутопии «2042 год» обкакал Солженицына, как умел. Придавал большое значение своему «советско-швейковскому» пародийному роману «Приключения солдата Ивана Чонкина» (кажется, название именно — или в общем — таково), юмор которого, на мой взгляд, отличается пошлостью и плоскостью: туповатый юмор простолюдина, сдобренный усердно фекальной темой.

стр. 79

Максимов, Владимир

Родился чуть раньше, в конце двадцатых (28? 29?), умер в девяностые. В семидесятые эмигрировал в Париж. Я не сумел узнать, что он написал. Но, кажется, именно он стал издавать в Париже литературно-внесоветский журнал «Континент», который для сов. русск. культуры был чем-то вроде герценовского «Колокола». Если ты напечатался в «Континенте» — тебя автоматически не печатали и выгоняли с работ в СССР — зато ты автоматически входил в обойму (обойма была емкостью с магазин ручного пулемета) «прогрессивных советских писателей», входивших в западный истеблишмент сов. писателей — переводимых, приглашаемых и т.п.

стр. 79

Севела, Эфраим

(Род. в конце 30-х)

Что-то вроде кинодраматурга по образованию, т.е. из людей, правильно понимавших службу в советской литературе: энергия, связи, деньги, хрен ли тратить жизнь на корпение над шедеврами, которых может и не выйти. В начале семидесятых, по его собственным утверждениям, проявил геройство, протаранивая сов. органы для разрешения вообще эмиграции евреев в Израиль, куда

и отбыл с «первой волной» года где-то 73-го. Этой маленькой страны его буйному темпераменту хватило ненадолго, и переехал в США. Твердо знаю, что писал повести с еврейским элементом и юмористическим элементом. Очень мал ростом и занозист.

стр. 79

Эдуард Тополь

Один из самых кассовых беллетристов на российском книжном рынке середины и второй половины девяностых годов. Родился там же — конец тридцатых. Тоже из сценаристов — т.е. людей, которые мерили деньги не той меркой, что простые советские граждане. Дал о себе массу интервью, где сказал о себе много достойного и хорошего. Эмигрировал в США в семидесятые. Стал писать боевики с колоритом а'ля руссо-советико, что в горбачевский период «перестройки» и всплеска мирового интереса ко всему русскому — принесло успех, известность, переводы на иностранные языки. Как часто бывает, первые книги были энергичны и хорошичитаемы, хотя назвать откровенный боевик высокой литературой нельзя. Всего написал полтора метра произведений, если мерить собрание сочинений по толщине корешков. Последние книги — «Россия в постели» и «Новая Россия в постели» читать в общем трудно: сборник очерков и монологов о проститутках и вообще сексуальной жизни. Очень славолюбив... как, впрочем, и остальные: это так естественно. Но лучше многих!

стр. 79

Незнанский, Фридрих

Чуть постарше Тополя. Много лет в США работал с ним в соавторстве. Потом они отчаянно расплевались. Тополь объявил Незнанского графоманом, трутнем, самозванцем, которого он, Тополь, пригрел и поставил в соавторы из жалости; а теперь Незнанский лишь ставит свою фамилию на сочинениях, написанных «лит. неграми»...

* * *

Таким опусам надо, знаете, давать отлеживаться. Я перечитываю этот именной «меморандум Веллера» три года

спустя после написания — и тарашу глаза: а чегой-то это я злопыхаю, как самовар, растопленный сушеными мухоморами? Я — кроткий, приятный и миролюбивый? Какая шлея натерла мне под хвостом? И вообще — какое мне дело до всего вышеупомянутого?

Позлословить с приятелем за бутылкой — это понятно. Но писать это зачем?! Если это самообнажение автора — то зеркало ясно диктует: такой стриптиз нам не нужен!

Граждане. Знали бы вы, что говорят неофициально писатели друг о друге и вообще о литературе! Самым приличным в этих речах является обычно слово «хуй».

Мое второе «я» утверждает, что ничего подобного я на самом деле никогда не думал и уж тем более не писал. А третье «я» подначивает: покажи, покажи им, как рубят правду-матку братья-литераторы, а то ведь читатель никогда не услышит звучание инструмента в отсутствие зрительного зала.

* * *

...по заказу издательства. Однако еще до эмиграции в семидесятые Незнанский успел выпустить в СССР книгу «Рассказы следователя» — так себе, но написал же. Из справедливости же надо сказать, что триллеры Незнанского ничем не хуже триллеров Тополя. Хотя по части самораскрутки Тополь, конечно, куда круче.

стр. 79

Аксенов Василий
Павлович
(род. 1932)

О нем уже писали мы здесь, да и так известно. Что факт — к сведению новых поколений в середине шестидесятых Аксенов действительно и безоговорочно был номером первым живой, современной советской литературы. Его простенькая повесть «Коллеги» и гораздо лучший, свежо-сентиментально-наивно-модерный роман «Звездный билет» были самыми известными — без официозной вонючки и треска — книгами у читающей публики. В восьмидесятые и тем более в девяностые постарел в Вашингтоне, издает новые книги в Москве и зимует во Франции.

стр. 79

Лимонов

См. выше. Седенький, худенький, грустный, неугомонный.

стр. 79

Владимов, Георгий

Того же разлива. Рвась в истэблишмент и отставая от передовиков, даже в оттепельные благоприятные годы пошел по

линии написания соцреалистической книги, удобной партии, и создал роман о рабочем классе «Большая руда». Действительно, получил высокую премию, по роману сняли фильм, музыку к фильму написал Микаэл Таривердиев, то было его звездное время: «Та-рару-ра!» — запела страна: «Там, где сосны, где дом родной, есть озера с живой водой... ты не печалься, ты не прощайся — все впереди у нас с тобой!..» В разговорах фильм тут же был окрещен «Большая ерунда». Самые мастито-признанные ровесники-коллеги стали коситься на Владимова с неудовольствием и свысока: они, мол, так не халтурили. Владимов переживал. В семидесятом году, уже закручивались гайки и хрустели кости, Владимов опубликовал в «Новом мире» славный роман про мурманских рыбацков-траловых «Три минуты молчания». Написано было с полным знанием дела. Молва утверждала, что траловые и сельдяные знали не по одному рейсу молчуна Гошу Владимова, не подозревая в писательстве. Интеллигенция получила удовольствие и признала. Год по всем рыбацким клубам портов страны шли читательские дискуссии по книге. Вот и слава! Но шли глухие семидесятые, и Владимова, по утверждению людей близких, буквально выпихнули недоброжелатели — завистники, псевдодрузья, конкуренты, ревнители чистоты идеологии. Он стал пить. Умер в начале девяностых.

стр. 79

Зиновьев, Александр

То же поколение, но этот еще и философ с экономистом. Сначала свалил, потом стал на Западе публиковать свои книги:

беллетристической ценности они изначально не имели, но издевка над совком была пронзительная — вышедшую около восьмидесятого года «Зияющие высоты» читала вся столичная интеллигенция, ее цитировали. К со-

жалению, оппозиционность и перпендикулярность оказалась кредо Зиновьева — не прерывая эмиграции, он стал врагом перестройки, потом — врагом нового разлива демократии, потом о нем и вовсе перестало быть слышно. Потом почти вернулся.

стр. 79

...кучка была могуча.

Весь XX век в истории русской классической музыки фигурировала т. н. «могучая кучка», цвет и гордость русской «прогрессивной» музыкаграфии, если можно так выразиться: Балакирев, Бородин, Мусоргский, Римский-Корсаков и забытый ныне Кюн. Название принадлежит идеологу кучки критику Стасову. Она же — Балакиревский кружок. За пределами России на фиг не нужны.

стр. 79

Стране открывали
ее героев...

Устойчивое и крылатое выражение сталинской эпохи: «Страна должна знать своих героев». Ага. Стахановцы. Лауреаты.

стр. 79

Мне есть очень мало
дела до всего вашего
семейства, сказал
Коменж.

Проспер Мериме, «Хроника времен Карла IX», глава XI, «Заправский дуэлянт и Пре-о-Клер». Эпиграф к главе вполне не лишен смысла: «И раньше, чем один из двух уйдет, другой

испустит дух» («Дуэль между Стюартом и Уортоном»). Заметьте уж, читать это следует только в переводе Михаила Кузмина, поскольку в семидесятые—восемидесятые годы масса хороших книг, переведенных на русский с французского и английского, была испоганена плохим и очень властолюбивым переводчиком Николаем Любимовым, умудрившимся под покровительством властей создать целую школу перевода и изгадить все, до чего он успел дотянуться: Флобера, Пруста и много еще чего.

стр. 79

«Где я был и что я видел».

Книга Бориса Житкова, знаменитого в тридцатые—пятидесятые годы советского детского писателя. Эта книга, для старшего дошкольного и самого младшего школьного возраста,

переиздавалась множество раз. Это был гибрид жанра путешествия с малой детской современной энциклопедией. В шестидесятые годы ее переиздавать перестали в силу страшной примитивности литературной и устарелости примитивных же описываемых реалий.

стр. 79

Где ты был, ничего ты
не увидел, хрен с тобой.

бель, «Конармия», «История одной лошади».

стр. 79

Дали боги дожить,
и стало спартамцам не до
чужих бед, своих хватит.

предъявили сообщение, что Киру надобно подсократиться, ибо спартамцы этого его размаха и ущерба собратьям не потерпят долее. В ответ Кир, не хуже обитателей Лаконики владевший весомой краткостью речи, бросил: «Если боги позволят мне дожить, спартамцам будет не до чужих бед — своих будет достаточно».

стр. 80

Вот и у пчелок
с бабочками то же самое.

между полами. Пойди, поговори с ним как мужчина с мужчиной. — Гм. Как именно ты предлагаешь мне все ему рассказать? — немного смущается отец. — Ну, может быть сначала на примерах животных там, птичек, так все-таки приличней: про пчелок, про бабочек. — Отец вздыхает и послушно идет в комнату сына, долго мнетя и наконец произносит: — Жан! — Да, папа. — Ты помнишь, в субботу мы с тобой ездили в публичный дом? — Да, папа. — Так вот, мама просила тебе передать, что у пчелок с бабочками точно то же самое.»

По строю, интонации, лексике — парафраз: «Чистый Карл Маркс, — сказал ему вечером военком эскадрона. — Чего ты все пишешь, хрен с тобой?» И. Бабель, «Конармия», «История одной лошади».

В «Истории» Геродота есть эпизод, где к молодому Киру (II, Великому, естественно), захватывающему греческие полисы в Малой Азии, явились в поверженную Лидию послы Спарты и

Из студенческого анекдота семидесятых: Мать обращается к отцу: «Наш Жан стал совсем большим, пора объяснить мальчику суть взаимоотношений

стр. 80
...провались он пропадом
со своей обгорелой
тетрадкой и сушеной
розой.

стр. 80
...почему же почему так
обрезали ему.

стр. 80
— Господи, да конечно
все это полная...

стр. 81
...Вик. Ерофеев публично
констатировал конец
советской литературы.

к бурной и страстной дискуссии, быть или не быть далее в ближнем будущем великой советской и русской литературе. Надо признать, что выступивший в меньшинстве и почти в одиночестве Ерофеев оказался прав. Если бы имеющийся у него ум, а также энергию, образованность и даже талант Виктор Ерофеев употребил не на самораскрутку и разные прожекты, а на творчество, хороший получиться бы мог писатель. Смотришь на него в теляшке — и сам сомневаешься в эпитетах, отпущенных девять лет назад (см. часть 1)... Стареет все — даже комплименты. Уберите зеркало!!!

стр. 81
Гвардейская королевская
рота обнаружила себя
голой.

стр. 81
...Со святыми упокой...

М. Булгаков, «Мастер и Маргарита», Часть вторая, гл. 19. Так кто не провалился — тот плавает поверху и жрет субсидии. А розы давно у нас не пахнут...

— Городской фольклор, стансы восходят к анекдоту об огорченной новобрачной, обнаружившей у молодожена-еврея чересчур уж короткий член.

Многоточия в этом абзаце последовательно заменяют документальные выражения: а) хуйня; б) мудаки; в) поебень.

— Сейчас даже не вспомнить заголовок статьи, опубликованной около 90-го года в «Литгазете» — а тогда, на пике миллионных тиражей, она послужила

Отсыл к андерсеновской сказке о новом платье голого короля. Боже мой, и ведь это история едва ли не всего искусства XX века. Тяжко жить среди уродов, господ?

Одна из православных обрядовых похоронных молитв.

стр. 81
...ибо даже соловей,
по справедливому
замечанию классика, поет
оттого, что жрать хочет.

М. Зощенко: «Вася, как вы думаете, отчего соловей поет? — На что грубый Вася отвечал: — Жрать хочет, оттого и поет».

стр. 82
Рафинэ...

— (*raffineur* — *фр.*) — изысканный, утонченный.

стр. 82
...не в кайф...

— (*слэнг*) — не нравится.

стр. 82
...сечь...

— (*слэнг*) — понимать.

стр. 82
«Илиада»
Гомер
«Улисс»
Джойс

Вопрос о степени идиотизма читателей определенно может свести с ума.

стр. 82
Двести лет назад
обращение к маленькому
человеку...

Принято считать, что в русской литературе впервые к «маленькому человеку» обратился Карамзин, сделавший «Бедной Лизой» «русский сентиментализм», и Пушкин в повороте в «Медном всаднике» от романтизма к реализму.

В европейской же литературе, хоть в то же Возрождение, маленьких людей бегало как блох. Вечно бедная Россия отставала.

стр. 82
Подзорную трубу
повернули другим
концом...

Напоминает анекдот о высылке набора для ловли и упаковки крокодилов, включавшем в себя подзорную трубу, пинцет и спичечный коробок. Пользуясь трубой, следовало обнаружить в

реке торчащую морду крокодила, затем перевернуть трубу к глазу другим концом, взять крошечного крокодила пинцетом и сунуть в коробок.

- стр. 82
...Акакий Акакиевич...
Коли все мы вышли из гоголевской шинели, с него и пошла ведь канонизация маленького человека. Я часто думаю, каким спесивым и беспрекословным зверем стал бы Акакий Акакиевич, назначенный начальником канцелярии и быстро, при своей мягкости и бесхарактерности, доведенный до отчаяния и состояния аффекта более агрессивными подчиненными. О, маленького человека можно жалеть и призирать, но нельзя возвышать и давать ему власть — всем хуже будет! Примеров тьма. Нет господина хуже, чем вчерашний раб, сформулировали еще римляне. История советской власти дала тому тьму подтверждений.
- стр. 82
...Вещий Олег...
Исторический прототип романтической баллады Пушкина. Парафраз чеховского «Люди просто сидят и пьют чай, а в это время рушится их счастье и складываются их судьбы». Ср. с отрывком «Театр» в «Кухне и кулуарах».
- стр. 82
...а чаепитие заглушило грохот сражений.
По одной из древних восточных эстетических теорий верхом изобразительного искусства является т. н. «Белый дракон», формально представляющий из себя чистый белый прямоугольник — как бы включающий в себя все семь цветов спектра со всеми оттенками и сумму наложений всех изображений; как бы сумма всего на свете дает ноль в итоге, а в ноле уже содержится закодированная развертка всего бытия. Кстати, вполне сочетается с эстетикой Аристотеля — т.е. искусство есть акт «приложения рамы» к чему угодно в жизни.
- стр. 82
...Белый Дракон
Старый авантюрист — это Виктор Борисович Шкловский (1898—1984), писатель, литературовед, солдат I Мировой войны, революционер, член партии эсеров, боец Гражданской вой-
- стр. 82
Верните мяч в игру, вдохнул старый авантюрист.

ны, партизан, бежал от ареста ЧК через границу, жил в эмиграции, вернулся в конце двадцатых, трясся и молчал всю остальную жизнь — а когда-то обожал и умел устраивать скандалы везде и, несмотря на малый рост и раннюю лысину, был крайне силен физически, готовился в юности к карьере циркового борца и был, судя по воспоминаниям дам уже ушедших, отчаянным бабником и непревзойденным любовником. «Верните мяч в игру» — заключительная глава его книги «О несходстве сходного»: имеется в виду заключительная сцена из «Блоу ап» («Крупным планом») Антониони, когда люди играют в теннис, лишь условно обозначая игру при отсутствии мяча — т.е. игра не-реальна, процесс условно-надуман и подразумеваемый смысл в нем отсутствует.

стр. 82
Кубок Дэвиса.

стр. 82
Это ваши личные игры
в бисер.

обыгрыш евангельского «не мечите бисер перед свиньями».

стр. 83
...шванк, фацетию,
анекдот, хронику, сагу.

Самое престижное из теннисных соревнований? Ельцин, Тарпищев, Спортфонд, корт, — эпоха течет сквозь нас.

— Герман Гессе, вполне знаменитый писатель: «Игра в бисер» — самый, пожалуй, знаменитый его роман. А также

Литературную энциклопедию и словарь литературных терминов читайте сами, тупые бездельники. Тогда, кстати, вам будет понятнее, почему близ начала этого текста цитируется именно сага. О, эстетика саги очень близка современным «документально-художественным» писаниям, когда наивные критики пытались на реалистическом уровне отделять реального героя от него же, но описанного в тексте, даже если текст выглядит совершенно документальным, т.е. правдивым с соблюдением только реальных деталей. Это прискорбно, когда отделы критики ведущих современных литературных изданий знакомы с модными авторитетами нашего времени типа Барта или Гаспарова, но не знают и не понимают о пове-

ствовательно-описывающей литературе того, что знал и понимал семьсот лет назад тот же Снорри Стурлусон. А потому что он сегодня не в моде. Черт; видимо, избытком вежливости я пытаюсь обычно компенсировать недостаток уважения к окружающим; сегодня я больше уважаю бандитов, чем литературных критиков — только потому, что бандиты лучше справляются с делом, которым взялись зарабатывать себе на жизнь.

стр. 83

Не поступимся принципами.

— «Не могу поступиться принципами» — так была озаглавлена вызвавшая необыкновенный шум статья в газете «Правда», опубликованная (уточняйте

сами, ну вас на фиг) примерно весной 1989 года; автор — Нина Андреева — мужеподобная дама средних лет, что-то вроде преподавателя марксизма в ПТУ под Ленинградом, ратовала в ней за моральные ценности советского общества; автоматически стала знаменитостью и одним из лидеров российской коммунистической партии. В последние годы картины жизни меняются так быстро и радикально, что еще через десять лет и это ведь уже мало кому будет памятно и понятно.

стр. 83

...кратко и исчерпывающе сказал Денис Горелов.

— (Род. 1967). Один из лучших российских кинокритиков и журналистов нового поколения. В описываемое время работал в очередной версии журнала «Сто-

лица». Отличаясь изяществом и блеском стиля, между делом выразился в глупом глянцево-м журнале «Матадор» о современной литературной критике как о шайке безмозглых и неинформированных идиотов — в пристойных и сдержанных выражениях.

стр. 83

Геббельс, Йозеф

— Можно было бы и не объяснять, кто это такой, но как-то обидно для литературы выходит: текст о литературе, сейчас мы

будем давать ссылки про Трифонова и Гроссмана, а про Геббельса, мол, и так все знают — он, выходит, гораздо

знаменитее русских главных писателей в их собственной стране. Да, так это и есть, но им обидно было бы. Кстати: известность бонз III Рейха крайне выросла в СССР после опубликования семеновских «Семнадцать мгновений весны», а особенно, конечно, после телесериала. Можно сказать, Юлиан Семенов успешно популяризировал верхушку гитлеровской Германии в СССР. А шеф IV Управления Имперской Безопасности — гестапо — Мюллер — в исполнении Броневого стал на многие годы просто любимым историческим героем советского народа. Я все никак не могу собраться написать статью об истинных причинах и истоках притягательности фашизма для российской молодежи¹ — от интеллигентских эмоций тупых демократов на эту тему уже тошнит. — Итак, Геббельс (1897—1945) до того, как покончил с собой, был министром пропаганды — образованным и, как вы догадываетесь, талантливым и умелым. От большинства министров пропаганды в мировой истории его отличает также приверженность своим идеалам: во всяком случае, при крушении государства он покончил с собой, и вся его семья тоже, — случай нередкий для войн античности и средневековья, но достаточно исключительный для XX века.

стр. 83

Трифонов,
Юрий Валентинович
(1925—1981)

Знаменит был в глухые семидесятые необыкновенно, причем удачно сочетал благосклонность властей с любовью интеллигенции. Из номенклатурной сов. семьи, рос в элит-

ном «Доме на набережной», в двадцать пять лет шлепнул молодежно-патриотический роман «Студенты», получил за него тут же Сталинскую премию (позднее ее не просто переименовали стыдливо в «Государственную», но и ретроспективно стали писать всех лауреатами не Сталинской, а Гос. премии — см. энциклопедии). Вошел в советский официозный и официальный литературный истеблишмент и жил в нишей голодной стране (кто пом-

¹ Уже написал: глава в книге «Кассандра».

нит, что еще десять лет после войны половина «простых людей» на безлесных перифериях жила в землянках?) сытно и интересно, наверху. В 69—71 гг. опубликовал в «Новом мире» (куда пробиться в те годы простому смертному без мощных связей было не просто невозможно, но исключено по определению, будь он трижды гений) три повести раздумчиво-реалистического характера — «Обмен», «Предварительные итоги» и «Долгое прощание»: усталые интонации среднеустроенных московских интеллигентов. Вот тут описанная им среднеустроенная и среднезарабатывающая интеллигенция и сказала его номером первым. В новые времена не востребова-

стр. 83

Рыбаков,
Анатолий Наумович
(1911—1998)

Лауреат Сталинской премии за роман «Водители» — шофера, как вы понимаете, тоже передовой рабочий класс. Советско-юношеско-приключенческо-гайдаровская повесть «Кортик» чи-

талась широко и переиздавалась очень много. Будучи евреем, что справедливо явствует из отчества, в «период застоя» опубликовал роман «Тяжелый песок» о Холокосте в СССР в бывшей черте оседлости во время II Мировой войны: роман был прочувственно принят основной массой советской интеллигенции, бо евреев в ней был процент очень высокий, а среди неевреев было очень много юдофилов, поскольку быть юдофилом означало быть оппозиционером (скрытым, конечно), свободомыслящим, высокопорядочным и т.п. Поскольку о преследованиях евреев писать в СССР было не принято и запрещено, то «Тяжелый песок» был как бы книгой высокопорядочной и «прогрессивной». Но поскольку в нем же фальшиво и противно говорилось об отчаянной дружбе, взаимной любви и вообще гуманном торжестве интернационализма про-меж евреев и русских-украинцев-поляков-румын, которые с согражданами-евреями были как друг, товарищ и брат, то на людей честных и понимающих книга производила скверное впечатление проституции на костях собственного и весьма придавленного народа. Самой высокой пробы

благородство тех, кто укрывал евреев, рискуя — и часто расплачиваясь! — жизнью собственной семьи, трудно оценить в наступившие мирные времена. Но — и естественно — гораздо больше было тех, кто заранее прикидывал делить имущество соседей-евреев, да и практически все уничтожение евреев (за исключением нескольких концлагерей уничтожения, обслуживавшихся частями СС метрополии) производилось на местах силами местных формирований, нац. частей территориальных СС и местной полиции из жителей. Вспоминается случай, как на посвященной военной теме встрече белорусских и украинских писателей в Минске Олесь Гончар долго и помпезно говорил о героических подвигах украинцев во время войны — из его слов получалась такая картина, что украинцы ну во всем же могут быть поставлены в пример скромным белорусам, — пока сидевший рядом в президиуме Василь Быков, лучший, самый талантливый и честный из советских писателей о II Войне, не пробурчал явственно: «Ага. К нам даже полицейские зондеркоманды присылали с Украины». Ибо бытовой и вполне массовый антисемитизм украинцев вполне известен еще со времен Богдана Хмельницкого и ранее. Так что «Тяжелый песок» оставлял тяжелое же ощущение работы на официальную линию коммунистической партии — провозглашение советского интернационализма. Хотя сторонники книги выдвигали тот аргумент в ее защиту, что изображение интернационализма понадобилось Рыбакову для того, чтоб под эту сурдинку вообще сказать вслух об уничтожениях евреев, что было запрещено упоминать даже в связи с Бабьим Яром (что и вызвало оживленную дискуссию в связи со стихотворением Евтушенко «Бабий Яр» еще в 62-м году, кстати же). — Ну, а в конце 80-х Рыбаков опубликовал роман «Дети Арбата» — молодая московская интеллигенция в кровавые тридцатые, НКВД и т.п. Был шум, роман стал читаем всеми и знаменит — опять же, только да счет темы, взятой вовремя. Забавно, что на московской Международной (ежегодной сентябрьской) Книжной Выставке-ярмарке 1989 года австралийское издательство, выигравшее целый аукцион,

устроенный по продаже прав на «Детей Арбата» по миру за пределами СССР, и уплатившее за права сто тысяч долларов, не сумело отбить свои деньги, потому что книга по миру пошла очень плохо. Средняя профессиональная беллетристика, а тема на Западе была давно заезжена вещами более крутыми. (И сериал не спас.)

стр. 83
Гроссман,
Василий Семенович
(1905—1964)

Вполне исправно благоденствовал на официальной литературе, пока в конце жизни не написал роман-эпопею «Жизнь и судьба», своего рода «Войну и мир» для бедных. Роман изъяли, Гросс-

мана придавили, бедолагу: он, как нередко бывает у процветающих творцов, сознающих изначальную халтурную заданность своих вещей и мучимых нереализованностью своего таланта и душевных сил, искренне ударился в честность, изображение правды, полный напряг способностей и знаний,— и тут-то и начались неприятности на главном и самом дорогом деле его жизни. Но — вам известны в истории мировой литературы случаи, чтобы писатель халтурил на потребу властей и своего кармана до пятидесяти лет — и создал шедевр после пятидесяти? Бедный Гроссман, его эпопея написана действительно кровью сердца и мозга. Опубликованная в конце 80-х, она стала на короткое время одной из «культовых», как сейчас стали говорить, книг советской интеллигенции. И вскоре канула в небытие. Ибо там не было ни открытий интеллектов и психологии, ни художественной шедевральности и свершений в искусстве. Вот так оно...

стр. 83
Айтматов, Чингиз
(1928—2008)

Народный писатель Киргизской СССР, Герой Социалистического труда, живой классик в сорок лет, гордость «Советской литературы народов СССР», как назы-

вался тогда этот предмет на филфаках университетов. В постсоветские времена удачно трудится по богатой линии типа посла Киргизии в БЕНИЛЮКС и т.п. Трижды лауреат Госпремий СССР (уже не Сталинских, уже позднее);

хотя Ленинскую, которая по статусу выше, крутые парни из Москвы так ему ни разу и не дали, промеж собой делили. Правильнее всего охарактеризовать его до поры до времени как Трифонова с национальным киргизским колоритом. Оставим сейчас в стороне то, что официально он писал и по-киргизски и по-русски, и были слухи о бригаде переводчиков-литобработчиков, и когорта редакторов «Нового мира» была хорошо вытрена делать дерьмо из конфетки и конфетку из дерьма. Но в 80-м году он опубликовал роман «Буранный полустанок», и сразу стал ценным не только официально, но и почитаем сов. интеллигенцией. Слово «манкурт» действительно вошло в активный словарь русского языка! Почему Айтматова не читают сейчас и вряд ли будут когда-нибудь? По тем же причинам, что и вышеупомянутых. Кому нужны перлы — читают Набокова и Джойса. Кому нужны мысли читают Шопенгауэра и Аристотеля. Кому нужна мода — читают Бердяева и Кастанеду. Кому нужно чтиво по зубам для эскейпизма — читают Маринину и Шелдона. А большинство вообще не читает, делом занимается. В слой читателей четырех вышеупомянутых суперзвезд советской литературы перестроечного периода были, как течением в горле пролива, сведены самые разные струи: в широком море свободного государства и свободного рынка эти струи растеклись, дифференцировались, нашли каждая свое место, исчезли как общность. Так в условиях советского дефицита много людей любило сыр — просто сыр, одного вида, разных сортов не было; а когда предложили людям сто сорок сортов, по вкусу и карману, то на тот, первый, когдатошний, сыр — спросу нет никакого, да и сыр-то малоинтересен, ни то ни се, и качество средненькое, хрен с ним.

стр. 83

Какое время было, блин!
Какие люди были — что ты!
О них не сложено былин,
зато остались анекдоты.

— Игорь Иртеньев, год так примерно девяностый. Родился Иртеньев в 47-м, если не вру, году, и мы приятельствовали с этим славным человеком и в девяностые — знаменитым поэтом-сатириком, — и еще в семидесятые

в Ленинграде, два нищих непечатаемых литератора; в те времена друзья знали его как Гошу Рабиновича.

стр. 83

Дети, крепитесь,
с вашим дядей Авелем
произошло несчастье.

Отсыл не только к Библии. Парафраза притчи из книги Феликса Кривина «Божественные истории» (1966 г.): «Каин убил Авеля. И с тех пор всегда повторял своим детям: „Берегите этот

мир, за который отдал жизнь ваш дядя“». Еврей Феликс Кривин родился около 1930 года и жил в Ужгороде; несколько его вышедших книжечек «постлитературных притч» были любимы знатоками. Уж не знаю, что он делает сейчас в Израиле.

стр. 83

...история по Гумилеву.

В начале девяностых Лев Николаевич Гумилев, сын, естественно, Николая Степановича и Анны Андреевны, не только не

нуждался уже ни в какой рекламе, но и стал просто одним из самых популярных авторов страны, считая все литературные жанры. Пожалуй, никогда не было в России историка более широко читаемого публикой и известного ей. Его книги в пятидесятитысячных допечатках соседствовали на лотках с детективами и любовными романами, и по весьма коммерческим ценам разлетались как горячие пирожки. Чем еще раз доказывалось, что широкий читатель вполне интересуется серьезной наукой, если умный человек с хорошо подвешенным языком излагает ее увлекательно.

стр. 83

...война по Суворову...

Виктор Богданович Резун (р. 1947), фигура сегодня одиозная, офицер Главного РазведУправления Генштаба, резидент в Швейцарии, перебежчик, приговорен к расстрелу, живет в Англии, и т.д., и пр., своей книгой «Ледокол» настолько изменил мировую историографию о подготовке и начале II

Мировой войны, что после «Ледокола» традиционная точка зрения уже невозможна. Только в первый год издания в России, после публикации в журнале «Дружба народов», книга вышла общим тиражом 700 000 экз., тут же и прочно

став одним из главных бестселлеров сезона. Смешно, что ни издатель, ни книготорговцы, по их собственным словам, не ожидали такого успеха. Зато автор вполне ожидал его, ради того и затеял оглушительный сыр-бор со своей жизнью.

стр. 83

Бунич

— Не путать петербургского историка и писателя Игоря Бунича с московским экономистом Павлом Буничем — последний,

возможно, более серьезный человек, но гораздо менее интересный. В том же сезоне, что и «Ледокол» Суворова, «Золото партии» Бунича было просто-таки главным бестселлером сезона: история советской власти была дана под таким углом и в таком изложении, что у читателя дух захватывало, оторваться невозможно было. И счет царских червонцев, которые тут же были выкачаны из России по общему счету, и парад германских войск перед большевистским Смольным после отбития Юденича от Петрограда, и загадочные смерти всех министров обороны стран Варшавского договора в течение одного месяца, и т.д. Подтасовок море, домыслов масса, — но как свинчено, как изложено! Куда там беллетристам. Успех был оглушителен!

стр. 84

«Одлян»

— Нехитрая автобиографическая книга Леонида Габышева, обычного мужика, который еще малолеткой оттянул срок в коло-

нии для несовершеннолетних — и на излете восьмидесятых, лет ему тогда было за тридцать, изложил это все вполне читаемо; «Новый мир», выходявший тогда сказочным, пример для истерии журнального дела останется навсегда, двухмиллионным тиражом — беспрецедентно в мире для толстого, серьезного литературного журнала — напечатал это: прочли все, Габышев прославился. Открывшаяся простая жестокость лагерного быта подростков ужаснула страну, поразила воображение, осталась в памяти. Как часто бывает в подобных случаях, более Габышев ничего заслуживающего внимания не написал, с большого горизонта исчез. Автор одной хорошей книги о своей жизни частый вариант. Но «Одлян» читали с жадностью!

стр. 84
«Желтые короли»

Уже я не помню, как имя автора, фамилия которого Лобас — советского эмигранта, опять же не-

хитро и читаемо описавшего жизнь нью-йоркских таксистов, каковым таксистом и сам работал. Напечатано в «Новом мире» в то же время. Шло на ура.

стр. 84
Гений успеха
Радзинский...
(р. 1936)

В двадцать восемь лет Эдвард Радзинский написал славную и нехитрую «молодежно-современную», с физиками и лириками, стюардессой лайнера и атомной проблематикой, пьесу

«104 страницы про любовь». Через два года пьеса шла в сотнях театров страны, начиная с лучших и блестящих, как товстоноговский БДТ; фильм по пьесе был неплох и его посмотрела вся страна, но фильмы были и получше, и куда более любимые и запоминающиеся — время Рязанова, Козинцева, Гайдая, Кеосаяна, и вообще вершинное время советского кино, теперь это все именуется «золотым», — а вот пьесы настолько кассовой в Союзе не было. Если не официозно, а «по жизни» — Радзинский стал драматургом страны номер раз. И сумел продвинуть свои пьесы на Запад, на Бродвей! Ух ты, для совка это было черт знает что. Что же касается денег, то материальное преимущество положения ставящегося драматурга, в отличие даже от киносценариста, не говоря о прозаиках, заключалось в том, что автору пьесы капали проценты от сбора после каждого представления в каждом театре: элита процветающих сов. драматургов считала ежемесячный доход тысячами и десятками тысяч рублей; это были официальные советские миллионеры. К чести и еще одному признанию ума Радзинского, он не лез в официальные литературные и театральные игры, не принимал и не участвовал, не получал никаких премий и не занимал постов — он занимался своим делом. Он писал так, чтоб публике было интересно. В новые времена интереса к жизни и истории он переключился на историю — и вывел свой успех на еще более высокую орбиту. А затем стал в

кратко-устно-популярной форме излагать свои книги по телевидению — и оказался гениальным артистом в театре одного актера. Даже когда он излагал банальные для каждого как-то знающего тему вещи в своем «Наполеоне» (да и что можно сказать в трех получасовых передачах о Наполеоне, которому посвящены библиотеки) — слушать его было наслаждением, он завораживал. (Прекрасное опровержение мнения тупых телевизионщиков насчет нехорошести «говорящей головы в кадре» — мол, картинка и движение нужны: это смотря какая голова и что и как она говорит, оживление визуального ряда способно было только размыть и ухудшить впечатление от речи блестящего Радзинского.) Это искусство? Ну, во всяком случае вряд ли литература. Зато приятно, увлекательно, манко. В своем жанре — безусловно мастерски. Человек хотел успеха — и сделал его.

стр. 84
Васильева,
Лариса Николаевна
(р. 1935)

Прозаик и поэт, в советское время благополучно издавалась и вполне благоденствовала в официально выходящей литературе, но публике была практически неизвестна: так, все про-

фессионалы в курсе, официально-фактическое положение вполне высокое, но для публики — сероватая фигура второго-третьего ряда. В новые времена тряхнула бельишко жен-вдов высшей кремлевской номенклатуры громкого сталинского периода, и сборник вольных очерков «Кремлевские жены» стал бестселлером, принеся славу (ну, с обогащением на гонорарах в новое время пока гораздо проблематичнее...). Не могу сказать, почему молва приписывает ей в отцы знаменитого конструктора знаменитого танка Т-34 Жоржа Котина: во-первых, Котина звали Жозеф, во-вторых, это никак не «Николай», в-третьих, Котин был генеральным конструктором тяжелых танков КВ и ИС, но не Т-34. (А каков юмор судьбы: Генерального конструктора танка Т-34 звали Кошкин! Котин и Кошкин — КВ и Т-34! Уж не Сталин ли мягко шутил с кадрами?..)

стр. 84

Шаламов

Варлам Тихонович

(1907—1982)

Отсидел, как известно, много лет в колымских лагерях, в пятидесятые был выпущен, реабилитирован, вернулся в Москву, писал рассказы о лагерях, не печатался,

естественно. Ему повезло со своей литературой гораздо менее, чем Солженицыну,— его никто не тащил паровозом. Даже в хрущевскую оттепель, когда появились в печати произведения на лагерную тему,— рассказы Шаламова были слишком круты, честны, наги, и — без привнесения некоей «высшей организующей идеи» насчет того, что справедливость должна восторжествовать, что достойные люди даже в лагере остаются людьми, что чувство исторического оптимизма все-таки владеет автором и прочая херня, которую обязательно ввинчивали в свои писания авторы менее честные, упорные и талантливые. В результате редакторы давали Шаламову много советов и возвращали рукописи. А в литературе он понимал. И эстетической концепции придерживался собственной. Состояла она в том, что когда правда жизни настолько жестока, крута и владеет всем существом человека, как это было в колымских лагерях, то высшая задача автора — это суметь дать всю правду, только правду, ничего кроме правды — честным, простым, ясным и выразительным языком, адекватным для передачи этого поистине убийственного материала, который воздействует сильнее любой беллетристики, и безо всяких этих финтифлюшек и прекраснодушных домыслов. Рассказы Шаламова останутся в русской литературе навсегда. Это веха истории, документ эпохи, написанный так, что он не может стареть: там нечему стареть, там сугубый реализм обнажен до вечной сути.— — Да, так когда Шаламов, естественно переживавший свое непечатание, прочел в «Новом мире» «Один день Ивана Денисовича» Солженицына — который появился только потому, что полностью совпал с представлениями Твардовского, тогдашнего и самого знаменитого главного редактора «Нового мира», о том, каковой надлежит быть литературе, и Твардовский лично редактировал текст мрачного, несговорчивого и высокомерного Солженицына, и

всеми своими возможностями лично у Хрущева пробивал публикацию,— когда Шаламов прочел эту повесть, достаточно слабую и вполне заурядную с чисто литературной точки зрения, но явившуюся «первой настоящей ласточкой», и ласточка эта на глазах превращалась в беркута, и слава Солженицына явилась мгновенной и мощной, и лагерный мир стал открыт широкому читателю ... (у Твардовского были свои представления о литературе, он издевался над «нетленкой» и «литературой для вечности», он отклонил «Мастера и Маргариту», что широко известно, он «рубил правду в матку», но не в самую матку, его отец был в тридцатые раскулачен и сослан, а сам Саша Твардовский написал «Страну Муравию» и получил за этот гимн коллективизации Сталинскую премию и орден Трудового Красного знамени, и поэтому всю жизнь пил и стал алкоголиком, и допустимую меру правды чуял безошибочно, и в результате напечатал в своем «Новом мире» массу сермяжно-реалистических произведений, которых давно никто не помнит за бездарностью и никчемностью...) — так вот, встретив на улице знакомого с «иванденисовическим» номером «Нового мира» в руках, Шаламов, жалковато улыбаясь, спросил: «А вам не кажется, что в советской литературе появился еще один лакировщик?» (Теперь уж и забыт советско-литературно-критический термин «лакировка действительности» — который в советские времена лепили к тем, кто сладко и розово идеализировал эту действительность даже по сравнению с тем каноном, который был предписан соцреализмом.)

стр. 84

Высоцкий

Любая справка тут унижительна для поэта, чья истинная слава в русской поэзии непревосходима на протяжении всей ее истории.

Сколь поучительно, естественно и прискорбно, что даже люди, обожавшие Высоцкого — а таких было десятки миллионов, полстраны уж как минимум — не считали его «поэтом». Здорово, конечно, до слез здорово, до дрожи, до глубины души и мозга костей,— но... «поэзия» — это нечто другое, изящество там, изысканность, тонкость кружев... ну, если не Мандельштам, то уж хотя бы Евтушенко:

все-таки традиционной, приличней, и слог повыше, и метафоры всякие красивые видны. Сколько сарказма в том, что народнейший всех времен поэт России искал рекомендаций официально признанных стихосложителей и, если верить слюнявым мемуарам разных там, гордился положительным отзывом кумира интеллектуалов Бродского, мертворожденного нобелевского лауреата для потребления внутри условно-эстетизирующего круга.

стр. 84

Жванецкий,

Михаил Маньевич

Кстати, ровесник Высоцкого — 1938 г.р. Он был уже в славе, восьмидесятые годы на дворе, когда меня на одной встрече с читателями спросили: «Скажите,

пожалуйста, а вы считаете писателем Жванецкого?» Слоеная сомнительность комплимента, содержавшегося в вопросе, ввела меня в задумчивость. С одной стороны, всенародное обожание Жванецкого явствовало бесспорно. С другой, сам вопрос подразумевал, что скромный я-то — не только, значит, писатель, но и могу, имею известное право, значит, считать либо не считать Жванецкого писателем, т.е. как бы равным себе по профессиональной принадлежности — высокой принадлежности к славному писательскому цеху! — и это мое мнение для спрашивающего что-то значит, весит, имеет значение, влияет на его собственное мнение по этому вопросу: вот он знает, что я — писатель, а насчет Жванецкого, которого знает гораздо лучше — не уверен. Ну, спел я дифирамб, естественно, но дело не в этом. Трафаретность раскладов удручала.

стр. 84

Пикуль, Валентин Саввич
(1928—1990)

Стал знаменит года с 72-го — после выхода «Пером и шпагой». И был из тех знаменитостей, книги которых купить невозможно, но критика о нем не говорит ни

слова, и журналы его не печатают. Положение изменилось, когда в 80-м году «Наш современник» напечатал «У последней черты», интеллигенция застонала об антисемитизме Пикуля, а роман подвергся критике главной идеологической канцелярии ЦК КПСС и лично идеолога Политбюро

т. Сулова. Заметили, значит, наконец, Пикуля. По части антисемитизма (хоть Гоголя, хоть Достоевского): антисемитов много, а талантов мало: что за идиотское пристрастие моралистов подменять оценку работы оценкой «облико морале» — как правило это исходит от людей, которые стараются своей высокой моралью компенсировать свою профессиональную бездарность. В перестройку Пикуль успел хлебнуть признания от телевизионщиков и т.п. Но «серьезные критики» и эстеты до сих пор полагают, что «это, конечно, не литература». Почему? Потому что «он перевирает историю». А то Гомер был документалистом. По прошествии тридцати лет славы Пикуль не удостоился ни одного нормального критического анализа. Зато переиздается постоянно!

стр. 84

Штирлиц

Господа. А ведь Штирлиц — самый знаменитый литературный герой, созданный русской литературой XX века. А вот так вот.

Ни больше ни меньше. Он пошел жить в фольклор. Он стал фактом общественного сознания. Именем нарицательным. Это ли не высшее признание писателя? И, опять же, — нет ни одного серьезного литературного, именно литературного, анализа творчества Юлиана Семенова. Фигли, мол, взять с патриотических боевиков. Попробуй сказать «высоколобым», чьи лбы плавно переходят непосредственно в задницы, что Семенов был умный, образованный, талантливый человек — скажем, талантливее, образованнее и умнее того же Трифонова! Да, и халтурил, да, и продавался, — но знал, черт возьми, цену себе и своей работе. Даже простейший текстовый анализ показывает, что и Пикуль, и Семенов владели и словом, и материалом гораздо лучше так называемых «серьезных писателей».

стр. 84

Стругацкие,
Аркадий Натанович
(1925—1992)
и Борис Натанович
(1933—2012)

С огромным отрывом от прочих лучшие и знаменитейшие советские писатели-«фантасты», которые в семидесятые годы переводились на иностранные языки примерно столько же, сколько все прочие сов. писатели вместе

взятые. Разбогатеть им не удалось — почти все деньги забирал ВААП (Всесоюзная ассоциация авторских прав) для гос. казны. Цитируются наизусть уже третьим поколением читателей. В середине девяностых «Литгазета» устроила наконец «круглый стол» по Стругацким, где какая-то дубина заявила с достойно-покаянной интонацией: «Да, критика проглядела братьев Стругацких». Гм. Критика без особого напряжения может признаться в своем снобизме. Но ни за что не признается, что снобизм — это замена самостоятельного отношения следованием общепринятым мнениям и оценкам: замена анализа знаком, замена мышления утверждением чего-то уже принятого и комфортного. Цитируются все чаще.

стр. 84
Леонов,
Леонид Михайлович
(1899—1992, если не вру)

Герой Соцтруда, академик,
предмет сборников статей типа
«Мировое значение творчества
Леонида Леонова». Крайне на-
поминает стихи Эренбурга
«Священные коровы»: «Есть

такие писатели, их не ругают, их не читают, их почитают». Уже в пятидесятые был классиком. Решительно же не написал не только ничего особенного, но даже ничего, что выделяло бы его из рядов Панферова, Бабаевского, Залыгина и пр. сугубо официально-условных столпов сов. литературы. Студенты сдавали по нему экзамены — но мне не известен ни один, кто читал бы Леонова. Удивительная фигура. Когда в 89-м году Горбачев лично поздравил его с 90-летием, телевизионный репортаж напоминал не то путешествие на машине времени, не то фантастический спектакль слияния реального и мифического: оказывается, Леонид Леонов действительно существовал, разговаривал, имел определенную внешность. И обожал писать длинно.

стр. 84
«Филумена Мартуруано»

— Пьеса итальянского драматурга Эдуардо де Филиппо (Пассарелли) (1900—1984), которую в семидесятые годы ставили в Со-

юзе все, кому не лень. После того как Софи Лорен сыграв

ла в киноверсии, стадо и бросилось. Ну, нормальная коммерческая работа была.

стр. 84
Руцкой

В бытность свою вице-президентом при Ельцине Руцкой ведь абсолютно правильно ввел уже было чрезвычайное положение в Чечне. Как взвыла интеллигенция, как ему дали по балде сверху! И что? Через полтора года — кровавая война. Чуть-чуть не добрал хороший когда-то дядька Руцкой мозгом и кулаком. Комполка. Взлет-посадка, убитых списать.

стр. 84
...затурканного
интеллигента в главвора
страны!

Главворов в начале девяностых было около десятка, бывших номинальных интеллигентов из них — половина; затурканных, строго говоря, не было ни одного, не те характеры, но нетрудно определить, у кого был самый на вид непрезентабельный костюмчик и реноме совкового скромняги в быту, — а деньги там делались миллиардами. Не буду я называть фамилию — юридически это доказать невозможно, а человек он давно вполне серьезный. Вот так-то начинания, вознесшиеся мощно, теряют имя действия!.. чем я хуже лидеров думских фракций с их неназыванием фамилий главных взяточников и расхитителей. Не нравится? Ну, вспомните, от кого больше всех зависело? Кто заведовал материализацией духов и раздачей слонов? Вот ведь дался всем этот Чубайс!

стр. 84
...педерастическую
версию классики...

У Валентина Гафта среди прочих пародий есть и такая: «Не Питер Штайн, не Питер Брук, а просто пидор Р.Виктюк». На восхождении его карьеры я видел в Таллинском русском драмтеатре виктюковского «Ревизора» — с него, строго говоря, шум и взлет и пошли. Голые сиськи городничихи и голые задницы статистов были таки да незаурядным решением гоголевской комедии. Стриптизов еще не было в Союзе, народ валил валом на «эротический спектакль». Возможно, по причине излишне возбуждимого воображения, все связанное с гомо-

сексуализмом вызывает у меня чисто физическое отвращение. Клянусь, Господь Бог не для того создал мужчину, чтоб другой мужчина трахал его в задницу. Лечиться надо! Гибнет, гибнет белая цивилизация.

стр. 84

...Пинштейн...

— Аркадий Пикштейн, старик уже сегодня, аргентинец, потомок российских эмигрантов, об «этническом происхождении»

догадываетесь с трех раз; мультимиллионер, продюсер кучи латиноамериканских телесериалов-мыльных-опер типа «Просто Мария», «Богатые тоже плачут» и т.д.— эта страшная и дешевая муть, чудовищно примитивная и отвратительно снятая и поставленная, в первой половине девяностых не просто заполонила телеэкраны России, но и овладела душами масс, от рыдающих скотниц Сибири до бросающих все дела для передачи профессорш Москвы.

стр. 84

...Когда мужик не Блюхера и не милорда глупого, а весь Союз писателей по кочкам понесет?

— Некрасов, конечно, «Кому на Руси жить хорошо», у него «...Белинского и Гоголя с базара понесет», но ведь с тех пор выросло как многообразие русской литературы, так и объемы рынка, в который народ, увы ему, несчастному, вступил.

стр. 84

Блюхер, Гебхард
Либерехт (1742—1819)

— князь Вальштатт, генерал-фельдмаршал прусской службы, командовавший прусскими войсками при Ватерлоо и

урвавший свою часть лавров как сопобедитель Наполеона. В русской историографии стараются не упоминать, что в 1813—14 годах, после смерти Кутузова и вступления русских войск в Европу, Блюхер командовал объединенной русско-прусской армией.

стр. 84

Милорд Веллингтон,
Артур Уэлсли
(1769—1852)

— пэр Англии, герцог и фельдмаршал, командующий британскими и голландскими войсками при Ватерлоо, глуп, разумеется, отнюдь не был. В те

чение пяти лет (1808—13) он возглавлял успешную борьбу англичан и испанских партизан против превосходящих сил французов, достигавших в Испании 100 000 человек, а после войны был премьер-министром Великобритании (1828—30). Просто Некрасова очень раздражал зажим национальных героев: он был большой патриот и гуманист. Следует отметить, что наряду с олеографиями Блюхера, Веллингтона и прочих иностранцев и безродных космополитов на базарах и ярмарках продавались портретики Дениса Давыдова, генерала Раевского с сыновьями и без сыновей, Багратиона, Милорадовича (так гадко и глупо убиенного в 1825-м году Каховским) и прочих героев Отечественной войны 12-го года. Некрасову этого было мало: он хотел, чтобы мужик читал демократическую литературную критику Белинского. Он был темпераментный человек, Некрасов, и большой культуртрегер. И вот в XX веке Советская власть полвека вдальблывала в школьников Белинского. А человек не любит, когда в него вдальблывают. Он не тренажер для дятла. Лично я Белинского терпеть не могу, и ничего умного из него не вычитал. И портрет его люди понесут домой с базара в одном-единственном случае — если его строжайше запретят, и тогда «элита» объявит его гонимым гением; либо если за это будут хорошо платить. Но и то и другое Виссариону неистовому никак не грозит. Спите спокойно, Веллингтон и Блюхер! до того, как стать осыпанными золотом и обвешанными звездами маршалами, вы были умелыми и храбрыми солдатами; вам еще очень не скоро грозит забвение — люди больше любят победителей великих войн, чем литературных критиков.

стр. 84

Теккерей, Уильям
Мейкпис (каково второе
имя! почти «писмейкер»!
кому что говорит это
слово) (1811—1863)

Классик первого ряда великой
английской литературы золотого
викторианского века. Еще на
моей памяти человек, не читав-
ший «Ярмарку тщеславия», не
мог претендовать на звание ин-
теллигентного.

стр. 84

...Шерлок Холмс...

— Как широко известно, его создатель, сэр Артур доктор Конан Дойль, быстро возненавидел свое удачное и удачливое детище, и в завершение трех повестей и двух сборников рассказов убил сыщика. Конан Дойль хотел быть настоящим, глубоким, серьезным писателем! Он хотел, чтобы его знали и ценили за исторический роман «Белый отряд» прежде всего! Тупой же читательской толпе хотелось сыщика, и хоть тресни. Автор воскресил его, потерпел немного, снова убил. И так еще дважды. В результате никто не осведомлен о наличии в Лондоне музея Конан Дойля, а музей Шерлока Холмса на Бейкер-стрит 221-Б принимает толпы. Ах, доктор, это больше, чем литература — это жизнь.

стр. 85

...около эколо.

— По-моему, так назывался один из постмодернистских романов Валерии Нарбиковой. Где она?

стр. 85

Как в ересь,
в неслыханную простоту...

— Естественно, все знают, строчка Пастернака «...впасть, как в ересь, в неслыханную простоту».

Я не люблю Пастернака, а его философская лирика очень напоминает мне умную женщину, каковая умная женщина как морская свинка, по старой мужланской шутке: и не свинка, и не морская... Вот такой гений и титан, как Лев Толстой, много лет к старости и в течение оной впадал в ересь и в неслыханную простоту; мода на Льва Толстого давно сошла, отношение к нему спокойное, и вот «Война и мир» остается колоссом среди романов мира, а его «простые писания» давно представляют интерес лишь для профессиональных изучателей его творчества и свидетельствуют профессионалам в области психологии искусства, что с вершины все тропы ведут вниз...

стр. 85

...в неслыханную
простоту, которая
грешнее воровства.

— Давно живет как русская народная пословица: «Иная простота грешнее воровства». Я все время пытаюсь приписать эту фразу то Державину, то Крылову.

стр. 85
Нарбикова, Валерия

— Светившая в годы перестройки «новая краткосрочная звезда ограниченно-элитарного радиуса видимости».

стр. 85
Харитонов — Виктор (?)

К сожалению, сначала ушел из жизни, а уже потом посветил недолго — в те же перестроечные

годы, когда из сундуков, сусеков и заглазников выгребли все, что не было опубликовано раньше. Модернизм и гомосексуализм не сулили ему лавров при советской власти. Так Букера дали Харитонову Марку.

стр. 85
Ну что ты, говорит,
Левушка...

— Из литературных анекдотов, приписываемых Даниилу Хармсу (Ювачеву) (1905—1942): «Однажды Лев Толстой написал детские стихи. Приходит к жене

и говорит: — Послушай, Софьюшка, вот я тут детские стихи написал. Правда же лучше, чем Пушкин? (А сам дубину за спиной держит.) — Прочла она и говорит: — Ну что ты, Левушка, конечно Пушкин лучше.— Тут он трах ее дубиной по голове! И с тех пор во всем полагался на ее литературное мнение».

стр. 85
А кто ж, батюшка мой,
любит того, кто его
умней.

— Продолжение реплики: «А промеж моих свиней я сам самый умный». Старик Скотинин, «Недоросль», Фонвизин. Мне больше нравится данное при рождении исходное написание фон

Визин, этому немцу было чем гордиться кроме обрусения фамилии. Нагладен и скорбен конец жизни фон Визина, разбитого параличом и впавшего в ипохондрию и мизантропию, когда он, живший на Васильевском острове, велел кучеру править по набережной Невы к Двенадцати коллегиям, останавливал у Университета, и слабым треснутым голосом кричал выходящим студентам, потрясая над головой палочкой и указывая на себя: «Смотрите, молодые люди, до чего доводит образование!..» Вот вам и пропаганда ученья...

стр. 85

...позвонил из Ленинграда
приятель с радостной
новостью...

— Я имею честь считать себя
другом (вот уже двадцать пять
лет) Олега Всеволодовича Стри-
жака (р. 1950), писателя и чело-
века энергичного настолько, что

он оказывается в положении перпендикуляра едва ли не ко
всему, с чем соприкасается. Он бесспорно заслуживает от-
дельной книги, а история наших отношений — второго
тома этой книги. Как он был ленинградским кадетом; как
бежал со сколоченной группой из училища, взломав ору-
жейку и вознамерившись пробиться в Боливию к Че Геваре;
как на флоте выслуживался в старшины, разжаловался
за буйство, и так раз за разом; как, работая и кормя семью,
кончил журфак с отличием за три года; как флотским рем-
нем гонял по всем Соловкам всесоюзный семинар драма-
тургов; как получал премию за роман «Мальчик»; и т.д., и
т.п. А как с ним хорошо было пить вдвоем!

стр. 85

...многотиражка
«Петербургский
литератор».

— С газетенкой связана одна из
самых изящных и приятных
историй в моей скромной, но
многослойной биографии. В соб-
ственную бытность многотирас-
том, вполне молодым, длинно-

волосым и бородатым получателем ежемесячной зарплаты
я закатился в пятницу на пьянку к другу. Друг был женат
и имел собственную однокомнатную квартиру. Так он
вместе с женой упылил куда-то на сутки, оставив меня
вместе с двумя своими друзьями. Мы выскребли свои руб-
ли и пошли за вином. Место незнакомое, дорогу спросили
у встречной девушки, увлекли с собой, завлекли в гости,
но скоро она ушла, к нашей печали. Но вскоре вернулась,
к нашей радости, — с двумя подругами и бидончиком пива.
На большее, очевидно, финансов трех юных созданий не
хватило: они только что кончили школу, и было им, как
выяснилось позднее (и правильно, что позднее) по сем-
надцать. Мы их не клеили — они сами дошли со скуки.
Дальше было еще интереснее: допив к середине ночи вино
и пиво, двое друзей куда-то ушли вдвоем. Они любили

друг друга. Девушки были ошарашены и уязвлены. Я был тоже ошарашен, но в данном случае — скорее приятно. Даже гомосексуализм, надо признать, может быть прекрасен — все зависит от контекста. Дальнейшее времяпрепровождение каждый представит себе сам — в меру своей испорченности, завистливости и сластолюбия, уравновешиваемых скептицизмом. Девушки не были красавицами, но у каждой имелись свои ярко выраженные достоинства: если у одной было красивое лицо, то у другой — большой бюст, — втроем они иллюстрировали встречающуюся иногда справедливость природы и гармонично дополняли друг друга. Так вот, много лет спустя, в описываемые девяностые (еще до пожара в петербургском Доме литераторов, после чего Ленсоюзпис стали называть союзом погорельцев — а газетенка помещалась в комнатке на верхнем этаже) — я пил кофе-водку днем в этом Доме писателей, и какая-то вполне нестарая и ничего еще баба стала меня разглядывать. Это была одна из трех, она узнала меня первой: она работала в «Петербургском литераторе» машинисткой и была горда своей причастностью литературе и личным знакомством с писателями. С высот этой карьеры она и спросила, чего это меня сюда занесло? Час я ее поил и выслушивал наставительные мнения о современной ленинградской литературе. Потом прискакал негодующий редактор газеты, начальник своей единственной сотрудницы, по ситуации выпил с нами, и из моего с ним диалога девушка узнала мою фамилию, оставшуюся ей неизвестной двадцать лет назад, как не знал ее фамилии и я. И тут же составила себе простое мнение, что в литературной табели о рангах я значительно выше ее начальника. Мелкое удовлетворение плебейского письменнического тщеславия мы оставим в стороне, это пошло и неинтересно. Интереснее другое: в ее глазах яснее ясного читалось резко и высоко выросшее мнение о себе, чувство радостное и захватывающее. В ее жизни мгновенно случилось большое приобретение: да еще в семнадцать лет — и ведь это остается в самосознании на всю жизнь — она была на равной ноге (не будем развивать это выражение), запросто, свой-

ски, дружески и т.п. не с кем-нибудь, а с писателем. Жизнь подверглась ревизии, прыжок самооценки воспринимался подарком, судьба стала удачнее, чем час назад, на лице плавало выражение невесты. В этом выражении имела немалое место благодарность мне — за то, что я не стал бомжом или грузчиком, и тем не уронил ее женского достоинства. И если сначала я развлекался, как тайно садиствующий циник и хам, то уходил с печалью обманщика, к которому относятся гораздо лучше, чем он того заслуживает... Вот и смейтесь после этого над снобизмом...

стр. 86

«Он пах духами...» и т.д.

— Из рассказа «Гуру», которым открывался сборник «Разбиватель сердец».

стр. 86

Арьев

— О славном человеке Андрее Арьеве, завкритикой журнала «Звезда», мне нечего добавить к сказанному в тексте.

стр. 86

К тому времени
господин Мольер имел
возможность... ..
...на всех углах.

— М. Булгаков, «Жизнь господина де Мольера». Его две жены, его беседы со Сталиным, его жизнь внутри бомонда и горе отлучения... А врачом работать уже не хотел!

стр. 88

«Уловка-22»

— Джозефу Хеллеру, давно почти классику американской литературы, не повезло с этим блестящим

романом насчет российских изданий: первое, еще конца семидесятых, воениздатское, было в отличном переводе, но чудовищно усечено редактуру-цензурой; последующие переводы новых времен были полными, но худшими.

А вообще разлагает армию.

стр. 88

...лейтенанта
Шайскопфа...

— В переводе фамилия означает «дерьмовая голова». Кто хочет — может вскрывать аналогии о оттенки контекста.

стр. 88

...истории одной лошади.

— «История одной лошади» — название одного из рассказов «Конармии» Бабея, каковой

рассказ уже упоминался семью страницами выше в связи с «Где я был и что я видел».

стр. 88
...обсуждал с
художником...

— Георгий Малахов был очень хороший график; он умер рано. Гравюра, пошедшая на обложку первого издания «Легенд» мне и сейчас представляется замечательной.

стр. 89
Вышеупомянутой чекой.

— Цитата из армейского анекдота: — Рядовой Иванов! — Я!
— Ответьте, какой чекой крепят-

ся станины гаубицы в походном положении.— Вот этой, товарищ сержант.— Неправильно! — Ну... железной.— Неправильно.— Ну... длинной этой.— Никак нет.— Окрашенной! — Неправильно.— Ну вот... с загибом на конце? — Плохо знаете матчасть, товарищ Иванов. Сказано же в наставлении: «Вышеупомянутой чекой»! Дивная модель

культурных дискуссий.

стр. 89
О покойниках — правду
или ничего.

— От латинской поговорки «О мертвом — хорошо или ничего». Отлично стыкуется с поговоркой «молчание — золото».

стр. 90
У меня был когда-то
рассказ, где покойник
на похоронах последнее
слово оставляет за собой.

— «Положение во гроб», впервые опубликован в «Огоньке» весной 90 г., переиздавался в ряде сборников. Никто не понял: писатель не умирает.

стр. 90
Дар

— Очень часто я напоминаю себе растерянного Чапаева из одноименного кинофильма с его бессмертным вопросом: «Кто такой?.. Почему не знаю?..»

стр. 91
...игру в испорченный
телефон.

— А ведь на самом деле была когда-то такая игра — в ту же эпоху, что «бутылочка», «фанты» и приватные викторины на раз-

девание. Играющие по очереди повторяли каждый последующему игроку одну и ту же фразу, опуская в ней одно

(первое, второе, третье и так далее) слово, которое тот должен был восстановить по смыслу и передать фразу дальше по цепочке, опустив уже следующее после восстановленного им слово: в результате, вернувшись по кругу к первому игравшему, который и запустил первоначальную фразу, конечная фраза не имела с ней ничего общего.

стр. 91
...новый поворот, мотор не ревет...
— Парафраз из очень-очень знаменитой на рубеже восьмидесятых песни «Поворот» молодого и любимого молодежью страны Андрея Макаревича с его «Машиной времени»: «Вот — новый поворот — и мотор ревет — что он нам несет — пропасть или взлет — ты не разберешь — пока не повернешь — за па-а-ава-а-рот!» Все дискотеки вопили это без устали.

стр. 91
...еле лапками колышет: сдох.
— Из детско-абсурдистских стихов, ставших фольклором: «А комар уже не дышит, еле лапками колышет — сдох».

стр. 91
Свет погасшей звезды.
— Кроме очевидного физического смысла и очевидной же следующей из него метафоры есть и еще значение: так назывался

роман Александра Чаковского, еще не главного редактора «Литгазеты», еще не одиозной и многовластной в литературе сволочи. Роман, может, одиозный, сентиментальный, примитивно романтический с советско-коммунистическим оттенком, а все-таки неплохой был роман, с искренней душевностью, с нитями военной романтики и той самой катарсической нотой оптимистической трагедии. Вышел он в самом начале шестидесятых, и фильм по нему был, и одно время его широко читали. А кто сейчас помянет добрым словом старую суку Чаковского, чиновного лакея Кремля? А ведь был и он человеком, и сердце имел, и над вымыслом слезами обливался. И талант имел когда-то. И редактором «Литатурки» «Старый Чак» был крутым и крепким, толковый был редактор. Безоговорочно лучшим еженедельником страны была при нем газета, все за ней гонялись.

стр. 91
Клевешешь, Перси,
на него: клевешешь!

— Шекспир, «Генрих IV». Не вдаваясь даже в содержание трагедии-хроники, оставляя даже в стороне сам жанр,— отметим, что фраза имеется эпитафией к главе XIII (именно тринадцатой) «Хроники времен Карла IX» Проспера Мериме — книги, также упоминаемой выше и точно в той же связи; в самой же главе капитан Жорж отстаивает перед всемогущим адмиралом Колиньи честность происшедшей дуэли и подвергается оскорблениям адмирала (завтрашнего покойника) — будучи его сторонником...

стр. 92
...мы с вами
одной крови — вы и я.

— Киплинг, «Книга джунглей».

стр. 94
И Ганапольскому
в «Эхе Москвы»...

— Я надеюсь, что «Эхо Москвы» будет еще долго-долго лучшей и самой популярной российской радиостанцией, а вот как ловко выдавили с первого канала теле-

видения «Бомонд» блестящего Матвея Ганапольского, бывшего номером раз (и хронологически, и по качеству) среди наших телеинтервьюеров-собеседников звезд — это поучительно и печально. Если человек человеку волк, то на телевидении — человек человеку скорпион, гля.

стр. 94
Брэдбери, Рей
(1920—2012)

— Знаменитый американский классик фантастики, был в шестидесятые—семидесятые в Союзе одним из вообще знаменитейших и самых издаваемых

мировых писателей, его читали просто все приличные люди. Новым поколениям в новых условиях уже не представить себе тот уровень известности, славы Брэдбери.

стр. 94
Прогрессивное Останкино
сочло, что он играет на
руку красно-коричневым.

Народ так хотел развалить и свергнуть доставшую его власть и империю, что не желал понимать даже очевидных завтрашних последствий. Что русским в

оккупированной Прибалтике не приходится ждать ничего хорошего от завтрашней освободившейся Прибалтики — было ясно всем там живущим. Но коли демократы были за освобождение угнетенной Прибалтики — о ней полагалось говорить «хорошо или ничего». Сначала ТВ вопило «за нашу и вашу свободу», потом дружно перестроилось и стало так же огульно вопить про «угнетение русскоязычного меньшинства»: объективность и нюансы не входят в сферу интересов политиков и журналистов. Но если Бог чего не хочет, так он принимает меры: в день и час, когда я приехал с кассетами в Останкино, там кипел затяжной митинг-пикет чернорубашечников — а я приехал в черных брюках и черной рубашке, ну как специально: с соответствующим выражением на меня смотрели и пикетчики, и охрана, и журналисты. Ну не судьба была!

стр. 95

Ультима регис...

— Сокращение. Ультима рацио (лат.) — последний (решительный) довод; ультима рацио регис — соответственно «последний довод королей» — эта надпись порой отливалась в старину на стволах пушек.

стр. 95

«Так делают в Париже!»

— Флобер, «Мадам Бовари». Последний аргумент, которым клерк Леон, приобщенный отблеска столичной жизни, склоняет провинциалку Эмму предаться страсти здесь и сейчас, сев в фиакр.

стр. 96

География — наука психологическая.

— Отсыл к классическому «география — наука для извозчиков»: фон Визин, «Недоросль» (также упоминавшийся выше семью страницами).

стр. 96

...место возле параша...

— определяется в камере «народом» для тюремных париев. Вообще в девяностые тюремно-уголовный жаргон занял место французского языка для русской аристократии первой половины XIX века. Вторая сигнальная система отражает первую, будьте спокойны Социально-престижная функция языка.

стр. 96

Америка

— это такая страна.

стр. 96

Середняком в Риме, чем патрицием в деревне.

— Парафраз цезаревского «Я предпочел бы быть первым здесь (в этой деревне), чем вторым в Риме», — в ответ на философски-насмешливое замечание собеседника (в бытность Цезаря наместником в Галлии), что и вот в этой деревушке кипят страсти между теми, кто мечтает стать первым в этой ничтожной и безвестной дыре.

Откуда: «Лучше первым в деревне, чем вторым в Риме».

— Редьярд Киплинг, «Посвящение» к книге баллад «Семь морей»: «Действительно и по чести — в лишениях и опасностях под далекими чужими небесами отраднo сознание и слова: —

стр. 96

...ошутил себя гражданином великой державы...

Я принадлежу великой державе!»

— Конечно, конечно: в семидесятые Хемингуэй был еще кумиром множества советских интеллигентов, и эпиграф из Джона Донна (1572—1631, англ. поэт —

стр. 96

Раз человек не остров, а часть материка...

читали?) к изданному наконец «По ком звонит колокол» цитировался журналистами бесконечно: «Нет человека, который был бы как остров...» и т.д.

— Гордое восклицание римлянина при разных ущемлениях. Нищий плебей предъявлял этим свое достоинство. Мол, за мной

стр. 96

Я римский гражданин!

законы и мощь Рима. Вроде как сегодня гордое заявление «я американец!».

— Любимый мною, как и еще многими, Станислав Ежи Лец, остроумнейший и единственный остроумный из всех, кто когда-либо жили в Польше: «Стоит ли пробивать головой стену, чтобы

стр. 96

...пробивают головами стенку в соседнюю камеру.

пробив, обнаружить, что она оказалась в соседней камере?» Я был поражен, что великим и знаменитым королем афоризмов Ежи Лецом написано всего семь сотен подобных фраз — столько их публиковалось на разнообразнейшие темы: просто, значит, очень высок процент блестящих.

стр. 96
прохаря

— Сапоги, грубые рабочие башмаки, опорки — обувь зеков (шире — вообще обувь). Лагерный жаргон.

стр. 96
...и закон.

— Не тот, который Конституция или Уголовный кодекс, разумеется, а тот, по которому сосу-

ществуют люди в камере и на зоне.

стр. 96
Правильная хата.

— Тот же жаргон: камера, где живут по закону, своим правилам, без «беспредела», по тюремно-уголовной справедливости, в

отличие от анархии или голого права силы.

стр. 96
Кому повем мою печаль?

— Классические стихи, бывшие когда-то почти народной песней и забытые ныне — настолько забытые, что и сам концов не най-

ду. Мелодия, естественно, минорная. «Печаль», конечно, рифмуется с «жаль». Посередине строки цезура.

стр. 96
...за одиннадцать
пфеннингов...

— Разменная монета Австрии и Германии называется правильно не «пфеннинг», а «пфенниг», без третьего «н». Откуда в русско-советской традиции взялось это

третье «н», я лично понятия не имею. В девяностые годы от этого в общем ушли — но в предыдущие десятилетия пфеннинг писался по-русски именно так, и так звучал в наших головах, если заходила о Германии-Австрии речь.

стр. 97
На полпути к Луне.

— Так назывался рассказ В. Аксенова, давший название сборнику его рассказов, вышедшему в середине шестидесятых. Глав-

ный герой, крутой и незатейливый парняга-работяга, гру-

бый, но в глубине души чистый, по дороге в отпуск влюбляется в самолете в стюардессу, и весь отпуск проводит в самолетах, накрутив ужасные тыщи и спустив деньги,— а там и домой, в чертову глушь, на тяжелую привычную работу пора. Он, значит, уже не тот тупой, что был, он книжки читать начал, о жизни задумался, получшал, любовь его изменила — но и, конечно, интеллигентом не стал еще: короче, от одних отделился, к другим не пристал, пока, по крайней мере. Ни то ни се, маета духа, полурождение чего-то.— — А одновременно «отправить на Луну» — один из эвфемизмов Гражданской войны и первых советских лет, не самый распространенный типа «в штаб Духонина», «налево» или «в Могилевскую губернию», «в расход», но тоже имел место — расстрелять, значит. Вот и Пилат и Иешуа по лунному лучу...

стр. 97

...благородный дон, за неимением ируканских ковров...

— О блестящие Стругацкие! «Трудно быть богом!»! Дона Окана приглашает Румату в будуар под этим предлогом: ковры показать...

стр. 97

...в кабинете главного редактора «Московских новостей».

— Таковым был уже демократичный Виктор Лошак, с которым мы и до этого были уже заочно знакомы и имели общих друзей; с Егором Яковлевым я не пил.

стр. 97

...и за литром кукурузного самогона...

— Виски был не кукурузный и пах не так плохо, но об этом двумя страницами ниже. Просто — эпоха дешевого импорта.

стр. 98

...любовь Дзержинского к маузеру.

— Здесь не столько про главу расстрельного ведомства ЧК, но более — отыгрыш известного анекдота: На международном

конкурсе скрипачей наш занял второе место и так убивается, что сопровождающий его искусствовед в штатском сочувствует и утешает: — Ну что ты, второе место ведь тоже неплохо.— Да как ты не понимаешь: занявшему первое

дают поиграть на скрипке самого Паганини! — Да ну и хрен с ней, делов-то. Тебе тоже дали настоящего Страдивари на конкурс.— Да ну как тебе объяснить... да для меня поиграть на скрипке Паганини — все равно что тебе пострелять из маузера Дзержинского! — — Во времена этого анекдота сотрудники КГБ под видом «одного из специалистов группы» сопровождали любые заграничные делегации, все это знали, но тема была сугубо запретной к упоминанию, как бы все это считалось совершенно секретным. А теперь вот уже объяснять надо: нет актуальности — нет и шутки...

стр. 98

Человек звучал гордо.

— Не только советский сверхклассик Горький со своим (действительно хорошая пьеса!) «На дне»: «Человек — это звучит гордо», — провозглашает карточный шулер и бомж Сатин. Но прекрасно развил тему Шендерович: «Человек — это звучит гордо, а выглядит мерзко».

стр. 98

Обезьяна, вставшая на задние лапы, взяла в переднюю палку...

— Этой энгельсовской обезьяной, которая посредством осмысленной палки двинулась в люди, задолбали поколения советских школьников и студентов. Труд вот так и превратил ее в человека, заклинали нас.

стр. 98

...и по этим рукам призывалось дать, и крепко дать.

— Из рассказа Ильфа про циркового дрессировщика-немца с говорящей собачкой. Репертуарная комиссия, составленная из ответственных идеологических

товарищей, просматривает номер на предмет контроля и утверждения. Немец играет, собачка встает на задние лапы и трусливо поет по-немецки: «С головы до ног я создана для любви». Председатель комиссии просит перевести ему на русский и багровеет: «Что?! Люви!.. Нет, этой собаке нужно дать по рукам, и крепко дать!» В конце концов комиссия велит читать собаке политический доклад на десяти страницах.

стр. 98

Достать чернил
и плакать.

январь накатил, налетел. Достать чернил и плакать». Или: «Зима катит в глаза. Достать чернил и плакать». Короче, Лиза утопилась.

стр. 98

...но щек на свете
меньше, чем желающих
врезать по ним дважды.

— Дискуссия с евангельским «если тебя ударят по левой щеке, подставь правую». Тут кладбища братвой заполнены!

стр. 98

Была бы шея, а любитель
по ней дать всегда
найдется.

— И снова фон Визин со своим «Недорослем»: «Была бы шея, а хомут найдется». Или это уже русская народная поговорка сама по себе, а фон Визин тут и вовсе ни при чем! Э?

стр. 98

...человек создан
изменять мир...— *и далее*
до конца абзаца.

Желающих отсылаю к своему сочинению «Все о жизни» — здесь срезана одна из верхних точек сути упомянутой книги.

стр. 98

...джигит может быть
оборванец, но чтоб
оружие в серебре.

— Владимир Гиляровский (1853—1935), «Мои скитания». В 1876 г., добровольцем в русской армии на Кавказе в ходе русско-турецкой войны, среди головорезов-пластунов, сын губернского

судьи авантюряга Гиляровский отчаянно хотел быть суперменом, стопроцентным бойцом: в их, как выразились бы сейчас, элитной отдельной диверсионной части была своя мода, вполне логичная: неуставная кавказская одежда кто во что горазд, небрежный вид — и дорогое, качественное, ценное и ухоженное оружие. Прибывший с инспекцией сверху старый боевой офицер, ветеран Кавказа, отмечал подобный вид с одобрением и удовольствием. Примерно так.

— После вышедшей в 73 году и переизданной около ста раз книги В. Богомолова «Момент

стр. 98

...о моменте истины.

истины» («В августе сорок четвертого»), где момент истины — это когда контрразведчик колет теплого шпиона, и передачи Андрея Караулова «Момент истины», когда он также очень споро и умело колет знаменитых собеседников — как-то подзабылось, что термин этот из боя быков: когда, значит, они остаются один на один, и матадор на него храбро идет, значит, а зрители смотрят: вдруг бык сам его прикончит? кто кого? Ну и оперная музыка подразумевается, наверно.

стр. 98

Один даст съесть пуд соли — другой возьмет в разведку.

пуд соли съесть» — долго, значит, вместе жить и вместе питаться, чтоб узнать по-настоящему. Другое — послевоенное, пошло с сороковых: «Я бы с ним в разведку пошел (или не пошел)», — т.е. в двух словах — человек надежный или ненадежный. Проверять солью — это, значит, долго, а разведкой — это сразу: берешь его или нет. Боже, и лишь

стр. 99

...жизнь острее, чем в бою, и мрачной бездны на краю.

стр. 99

«Вальтер ПП», 9 мм...

лета 7,65, короткий патрон, но варианты французского и турецкого производства есть под 9 мм парабеллумовский.

стр. 99

...забористого бурбона «Катти Сарк»...

из чего ни попадя, в том числе и кукурузы, а также пше-

— Соединение, как вы понимаете, двух присловий. Одно старое — о том, что знаешь человека, он проверен временем и в разных ситуациях: «Мы с ним пуд соли съели», или «С ним раньше надо

потом предаст.

— «Есть упоение в бою и бездны мрачной на краю». — Ну-с, так это Кушкин или Лермонтов? Обожаю поэзию.

— автор вообще большой педант в деталях, поэтому считает нужным заметить, что калибр этого компактного карманного пистолета

— Вот упоминаемый тремя страницами выше «кукурузный самогон» может выступать как определение бурбона, американского виски, который гонят

ницы, кленового сиропа и прочих фруктов-корнеплодов. Дешевый бурбон, и верно, не арманьяк, но снобизм не подобает тем, кто пил «Московскую» водку областных разливов; что же касается «Стрелецких», «Охотничьих» и пр.— так уже непонятно не только то, как мы могли пить эту ужасную рыгаловку, которая одним своим запахом включала рвотные рефлексы, но и откуда снизошел талант на виноделов, которые умели это производить. Поистине «у нас была великая эпоха». — — Что же до «Катти Сарк», то это безусловно скоч, т.е. виски шотландский, а скоч делается исключительно из ржи или ячменя, сорта же «бленд» (смешанные) производятся из смеси двух указанных злаков, пропорция смеси в каждом случае своя. Автор излагает это исключительно в подтверждение своих глубоких познаний по части игрушек для взрослых мужчин — но не может объяснить, для чего ему захотелось назвать «Катти Сарк» бурбоном: возможно, слово «бурбон» оформлено графически более адекватно для передачи состояния нажора. Поскольку пол-литра — не доза, опьянение свое объясняю и оправдываю исключительно тем, что за полчаса до этого я имел неосторожность хватить в первом попавшемся баре стопарь водки — а вот этого в 93-м году в Москве нельзя было делать ни в коем случае: этот ослабленно-бытовой вариант русской рулетки сплошь и рядом кончался отравлением, печеночной коликой и пр.— могли ведь и просто керосина налить.

стр. 99

...Нэн — короткой рубашки...

— «Катти Сарк» и означает «короткая рубашка»: шотландская народная ведьма по имени Нэнси обычно изображалась летящей в короткой рубашке, так вот

первая, несчастная и романтическая любовь заказчика и владельца клипера была, по его мнению, на Нэн похожа; ведьма летела роstralной фигурой корабля; история легендарной «Катти Сарк» есть отдельная и знаменитая сага в истории мореплавания, будете в Лондоне — заедьте в Гринвич: клипер там!

стр. 99

...с непревзойденной в истории скоростью парусника...

лов при полном ветре в бакштаг — феноменальной; но вечный рекорд поставил бостонский чайный клипер «Джеймс Бэйн», который пер в шторм с незарифленными парусами и выдал 21 узел; это известно чуть менее.

стр. 99

Боги, боги мои.

стр. 99

— А я ведь хотел уехать в Австралию, Бисмарк.

взят приукрашено; Бисмарк издавался в СССР в 1940-м году. Смысл диалога — что теперь вот и без Австралии все в порядке, устроили французам Седан и т.д.

стр. 100

...мемуарами Бунюэля.

меры стеба: разве что «Амаркорд» и «Механическое пианино» сделаны на том же уровне. В отличие от не менее знаменитого Ингмара Бергмана, своего младшего коллеги (р. 1918), который был при всех талантах заунывен и зануден — но где ж тут потянуть шведу против испанца! только южане понимают наслаждение жизнью, а без этого нет кайфа и в искусстве. Кураж! вот что было у Бунюэля и не было у Бергмана.

стр. 100

...в двадцать седьмом году сделать «Андалузского щенка»...

— Не совсем так, «Катти Сарк» осталась просто самым знаменитым — и, возможно, самым совершенным — парусником, а максимальная скорость в 19 узлов

— ...яду мне, яду! — продолжение фразы. Булгаков, как вы уже догадались, «Мастер и Маргарита».

— Диалог восходит не столько к «Битве железных канцлеров» Пикуля, сколько к мемуарам Бисмарка, откуда Пикулем и

— Русский перевод вышел году в 86-м. Луис Бунюэль (1900—1983, испанец и т.д.) был киношником феноменального вкуса и

— Строго говоря, «щен» таки правильнее переводить «пес», как по-русски и принято этот фильм называть, но ведь произношение несет свой шарм, непереводимый из «очка в очко»;

фильм вышел в 28-м году, но «крутить» его Бунюэль начал раньше.

стр. 100

...Евгению Рейну.

— Есть определенная несправедливость судьбы в том, что хороший поэт Рейн более известен широкой публике в качестве друга Бродского.

стр. 100

Ку де мэтр!

— Ни в коем случае не «Каков мэтр!», а вовсе даже «Мастерский удар!» (*лат.*)

стр. 101

Ростан, Эдмон
(1868—1918)

— не только франц. драматург-неоромантик, но поэт — его «Ненюфары» в период декаданса были почти манифестом неоромантиков.

стр. 101

И тут я — весь в белом.

— Из известного анекдота: Мужик приходит наниматься в цирк и излагает директору проект своего номера: — Мой номер основан на контрастах.— Это что значит?..— Ну вот, представьте: меркнет свет. Барабанная дробь. Под купол поднимается на канатах огромная бочка. Свет гаснет... Литавры! Бочка раскрывается... и весь цирк в дерьме!!! И тут — свет! музыка играет туш! Прожектор! И тут выхожу я — весь в белом!

его номера: — Мой номер основан на контрастах.— Это что значит?..— Ну вот, представьте: меркнет свет. Барабанная дробь. Под купол поднимается на канатах огромная бочка. Свет гаснет... Литавры! Бочка раскрывается... и весь цирк в дерьме!!! И тут — свет! музыка играет туш! Прожектор! И тут выхожу я — весь в белом!

стр. 101

Лютики-цветочки.

— «Лютики-цветочки у меня в садочке! Милая, хорошая, не дождусь я ночи!» — можно сказать, веселая народная песня о любви.

стр. 101

Не ходи в наш садик,
очаровашечка.

— Из ленинградского анекдота. В шестидесятые годы «Катькин садик» — официально называемый тогда «Площадь Островского»

(все-таки, полагали все почему-то, русского драматурга, а не советского патриота закалки стали) — стал одним из мест встреч гомосексуалистов. «Тундра»-«волки», то есть обычные обыватели-гетеросексуалы, в основном об этом даже не догадывались: им-то что. Итак. Заходит

мужик в этот сквер с памятником Екатерине напротив Елисеевского, перед Александрийским театром. И чего-то один ему подмигивает, другой за попку щиплет. Сел на скамейку — сосед руку на причинное место ему кладет. Он подпрыгивает и в охрениии бежит жаловаться милиционеру: что за дела! Милиционер слушает с ласковой улыбкой, похлопывает сочувственно по попке и советует: «А ты не ходи в наш садик... очаровашечка!..»

стр. 101

Каждый пишет, как он слышит.

— Булат Окуджава. «Дайте дописать роман до последнего листочка... Каждый пишет, как он дышит...» и т.д.

стр. 101

Медведь те на ухо.

— Интересно, это пожелание или констатация «Тебе медведь на ухо наступил», т.е. нет музыкального слуха?

стр. 101

«О время мое, украшают тебя мемуары, как янычары пашу: я не хочу писать мемуары, но фактически я их пишу».

— Леонид Мартынов (1905—1980) много издавался и был в фаворе и немалой популярности на рубеже семидесятых; из того же стихотворения насчет ненюфаров и мемуаров.

стр. 101

Соло для фагота без ан сам бля.

— Из анекдота. Выходит конференсье и объявляет: Выступает баянист Петров... гм... без ансамбля! Гм... Без... Ан? Самбля... Один, бля, выступает! — — Но

сначала ведь — «Соло для фагота». Ну да, так кончается один из поздних и хороших «мовистских» текстов Катаева, где ранее он рассуждает, что наконец-то на старости лет стал писать без соблюдения всяких канонов и жанров, а так, как всегда хотелось: «Не роман, не повесть, не мемуары, а так, соло для фагота без оркестра».

стр. 101

...мы на аэродроме в Сиднее сидели и на кофе налегали.

Почему «на аэродроме», а не «в аэропорту», как было бы логично и правильно? А потому что цитата. «Мы на аэродроме в Копенгагене сидели и на кофе на-

легали. /Там было все изяшно, комфортабельно и до изнеможенья элегантно/». — Евтушенко, «Встреча в Копенгагене» /живой Хемингуэй геройски зашел в бар выпить, сильно из толпы выделялся, ну прямо как Хемингуэй, так потом это он и оказался, постфактум поэт узнал/. Стихи года так шестидесятого. — — Вот вам и возврат к Копенгагену, с которого все и началось. И «литературная встреча», которой на самом деле скорее не было.

стр. 102

...старому немцу... Немец был мудр, самовлюблен и прозорлив. Ему нравилось обобщать.

мудрости» и «Мир как воля и представление». Это, значица, «Встреча с Шопенгауэром». Вы ощутили реальность происходящего?

стр. 102

— И реализм в литературе — на деле идеализм без берегов?

в любом случае художник имеет дело только с реальностью, а трансформирует ее через себя он всегда, разница лишь в степени и направлении трансформации: так что любое искусство можно расценивать как реалистическое, каковым оно является в праоснове. Мысли в этом немного — т.е. расширить до предела границы реализма и тем самым лишить понятие всякого отграничительного смысла, т.е. лишить смысла вообще. Но к нашему тексту применение его концепции забавно и не лишено основания.

стр. 102

Я чувствовал, что тупею.

скую дискуссию: «Д'Артаньян чувствовал, что тупеет».

— И две последующие его реплики насчет трагикомизма нашего положения и идеалистической философии. — Чистенький Шопенгауэр. Портрет и пара из ключевых формулировок из «Афоризмов житейской

— Роже Гароди с его «Реализмом без берегов» был моден и популярен в Союзе в конце шестидесятых. Нет смысла здесь углубляться в его нехитрую в этом сочинении концепцию: в

— Одно из моих любимых мест в «Трех мушкетерах» — часть первая, глава «Диссертация Арамиса», когда под тонкую теологиче-

- стр. 102
Мишка Вайскопф. — Известный израильский русский (нет, я все равно балдею от этих сочетаний) литературовед. По выходе текста страшно обиделся на меня за это, как он замечательно выразился, «амикошонство». Миша, прости, но мы в разных весовых категориях: ты написал про Гоголя, а я про тебя!!! (P. S. Уже простил.)
- стр. 103
Михаил Генделев — Кто не знает — очень хороший русский поэт, род. в 1950, ленинградец, с 1976 года живет в Иерусалиме; бесспорно звезда в русской культурной жизни Израйля. (P. S. Уже в Москве.)
- стр. 104
Дизенгоф — Менее знаменита в мире, чем упомянутые остальные три: центральная торгово-развлекательная улица Тель-Авива. Как везде в теплых странах, настоящая жизнь здесь закипает вечером. И: вечная страна — вечный фронт...
Вскоре умер от сердечного приступа здесь, в Израйле, на средиземноморском пляже...
- стр. 106
Евгений Клячкин (1933—1994) — Ну, заключительный авторский монолог из «Мертвых душ» все знают. А мчится на этой тройке, как тоже давно известно, приятный во всех отношениях господин Чичиков, старающийся сделать себе состояние на мертвых душах. (Это о писателях? О себе лично? О судьбе русской культуры вообще, или о былой славе России, или об ее эмигрантах? Прошу оценить возможную самоподставку автора своим критикам.)
- стр. 106
впрягли в бричку... — Нет, в бричке едет Чичиков. Так это кто и как его везет?
- стр. 106
...лебедя, рака и щуку... — У Крылова они «везти с поклажей воз взяли».

стр. 106

...мартышка в старости
слаба мозгами стала...

Брежнева, и народ лежал: «Вертит мозги и так, и сяк...
мозги не действуют никак!» Фольклор-с...

стр. 106

...кибитка потерял
колесо...

— У Крылова «глазами» и «очки», переделку затеяли первыми, кажется, студенты Шукинского училища во времена

— Максим Горький, «Дело Артамоновых»: в финале, уже рухнуло дело всей жизни, развал, финиш, пропажа смысла, нишета,— эти слова зловеще кричит сумасшедший татарин.

стр. 106

...и докатилось оно и до
Москвы, и до Казани...

— А это уже из самого начала «Мертвых душ», из предположений мудачков-мужичков: еще бричка въезжала в светлые надежды жулика.

стр. 106

...Трансвааля, страны
моей...

— Никак не могу дознаться, кто автор этой популярной в начале века в России песенки времен и про англо-бурскую войну. Все

больше знаем ведь по строчке у Маяковского: «Трансвааль, Трансвааль, страна моя, ты вся горишь в огне». А дело знаем исключительно по «Капитану Сорви-голова» и отчасти «Питер Мариц, юный бур из Трансвааля». Где горит, там и родина души. А где родина, там и горит.

стр. 106

...земля-то — она круглая,
и вертится.

— «Вертится» — это Галилей, а вот «земля-то — она круглая» — это уже волкодав и скорохват старший лейтенант Таманцев, любовь души полковника Владимира Богомолова в «Августе сорок четвертого».

— Песня Бена из фильма «Последний дюйм», крутой шлягер рубежа шестидесятых: «Трещит земля, как пустой орех, как щепка трещит броня. А Боба вновь

стр. 106

А борт трещал, как
пустой орех...

— Песня Бена из фильма «Последний дюйм», крутой шлягер рубежа шестидесятых: «Трещит земля, как пустой орех, как щепка трещит броня. А Боба вновь

разбирает смех: какое мне дело до вас до всех, а вам до

меня!» И далее по тексту: «...и в памяти не храня, не ставьте над нами печальных вех... какое мне дело до вас до всех!» Слова Марка Соболя, музыка Исаака Вайнберга. Где мы,

где вехи?..

стр. 106

...балда в проруби...

— Ну, да, эвфемизм, «говно в проруби», это и так все знают.

стр. 106

...меж хлябью вод
и небесной...

— Библейская лексика, канонический текст, но вот насчет Люцифера, который был там даже не ангелом, а вообще прямо духом света, что-то такое сбоку памяти болтается...

стр. 106

А я отнюдь не убежден,
что кто-то там наверху
хорошо ко мне относится.

— Курт Воннегут, «Сирены Титана», заключительная фраза книги, когда душа главного героя уже отправляется в путешествие в горнюю высь, а он в счастье воображаемых картин спрашивает у

посланца-сопровождающего, за что ему такая милость:
«По-моему, кто-то там наверху хорошо к тебе относится».

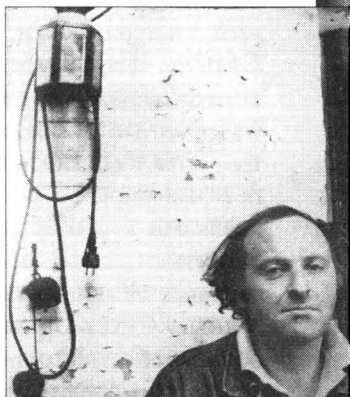
1 января 1999 года.

1 января 2003 года.

А также здесь и сейчас.

Ивану Венгуну
с уважением и благодарностью
7/5/89.
N.Y.
(. Довлатов.

СЛОВО
WORD



MARIANNA VOLKOV Text by SERGEI DOVLATOV
NOT JUST BRODSKY
Russian Culture in Portraits and Anecdotes
НЕ ТОЛЬКО БРОДСКИЙ
Русская культура и портреты и анекдоты

ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ
ЭМИГРАНТОВ ИЗ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
CULTURAL CENTER FOR SOVIET REFUGEES INC.

NEW YORK
1988

РЫДАНИЕ АККОРДА

Ощущения сорокапятилетнего советского человека в 1993 передать трудно. Это был голодный год разрушенной страны. Пенсионеры вымирали от нищеты. Студентки подрабатывали на жизнь проституцией. Среди всеобщей растерянности срастались бандитские группировки. Ставшие бандитами спортсмены и рвущиеся в олигархи комсомольские и научные работники нашли друг друга. Телефонные будки с вырванными трубками зияли разбитым стеклом. Вокзалы и перекрестки стиснулись рядами пестрых ларьков с сигаретами всех стран, пойлом, прокладками и свитерами. Автомат перестал быть экзотикой, разбитые подъезды закрылись двойными железными дверьми. Жизнь рухнула, выживали сильные и самостоятельные. Смесь страшного настоящего и безгранично свободного будущего рождала удивительный эффект: растерянность, надежда, страх, счастье и вера в одном флаконе.

Деньги обесценились, и выброшенная на мель культура сыпалась и задыхалась. Театры закрылись и впали в анабиоз. Отечественное кино прекратилось. Союзы писателей, композиторов и прочих художников перестали кормить и сделались бесполезны. От бескормицы российские творцы съезжали на Запад — искать денег на фильмы, заказов хоть на что-нибудь или просто читать лекции. Шоковые терапевты сообщили, что художник должен окупать себя: не вписался в рынок — умри, совковый иждевенец.

Но книжные лотки упрямо держались между контрабандным спиртом и кассетами с порновидео! Весь поток

сознания, зауми и чернухи запретных времен — издавалось на продажу: и от де Сада и Захер-Мазоха до «Одиссеи космической проститутки», от «Майн Кампф» до «Этногенеза и биосферы Земли», от Джойса и «Лолиты» до «Окаянных дней» и Шаламова. А прежде всего — американская фантастика и боевики: это был час их победного торжества. Русскими королями книжного рынка были Доценко с «Бешеным» и Шитов с «Собором без крестов».

Коротко говоря, писатели пребывали в полной неустроенности и охрениении. За бедностью последовала нищета, за разочарованием — депрессии. Штатные и официальные инженеры человеческих душ остались без сладкого пирога, зажили общей с народом жизнью и впали в мизантропию и пессимизм.

Мусорный смерч стоял над страной, и судьбы разлетались, как листья по глобусу.

Даже самые стойкие упивались неким мазохизмом, с мрачным весельем говоря об ежедневной отмене очередного маршрута автобуса, авиарейса, закрытии конторы и роспуске учреждения.

Ощущение, что ты теперь живешь не в едином Советском Союзе, а за границей России, в независимом иностранном государстве — было нереальным. Пограничники в придуманной вчера форме. Таможенники, прикидывающие твою ценность. Доллары, которые возили через границы в носках, трусах, поясах. Бешеная инфляция, когда вчерашние цены в рублях ничего не говорили сегодня. Пустые нетопленные поезда с тараканами и пьяными проводницами.

Но самое главное — дикое сочетание чувств: полная свобода, полная ненужность и полное одиночество. Тебе никто не прикажет и не запретит, но никто и не поможет и не поддержит. Сам смотри курс, сам греби, сам побеждай или гибни.

Если честно — это лучшее состояние для писателя. Природного одиночки, матерого индивидуалиста. А одновременно: весь раздрызг страны, все ее усилия и судороги проходят сквозь тебя. Счастье свободы воедино

с отдиранием тебя от бывлой страны по-живому — сильное чувство. Располагает к размышлениям.

В тебе происходит раздвоение личности: ты и здесь — и одновременно хотел бы быть не здесь. Но любой выбор — это отказ от варианта.

Это очень трудно понять тому, кто не испытал сам. Я давно хотел свалить из СССР за бугор, лучше всего в Америку — но одновременно не хотел покидать свою страну, по многим разным причинам. И вот это произошло без моего хотения и участия — само собой, ходом вещей, волею истории.

Любой эмигрант регулярно думает, как сложилась бы жизнь, если бы он остался. А любой, кто хотел уехать, но остался — представляет свою жизнь, если бы он уехал.

Вот в 1993 году, написав книгу разлуки и прощания с родиной — величественно диким милым Советским Союзом — «Легенды Невского проспекта», я и задумался... Сосала меня мысль неотрывно, теребила мозг и нервы, как треплют пеньковый канат на паклю: я и здесь, я и не здесь, я и неизвестно где; и то ли я это, а то ли хрен знает кто. Не то чтобы известный русский марш «Тоска по родине». Но как-то трудно приспособиться к новой реальности, осознать себя в ней.

Из этого и получился роман «Ножик Сережи Довлатова». Который не о ножике и не о Довлатове. А о советском писателе семидесятых-восемидесятых в двухзеркальном отражении расщепленной судьбы. Как два дискуссионные варианта одной тропы, которая все равно ведет в эмиграцию как метаморфозу сознания и пространства.

2

Мы никогда не встречались, один раз говорили по телефону, и никаких отношений у нас не существовало. Писать мне о Довлатове было нечего. Ни воспоминаний, ни мыслей о прочитанном (я впервые прочел шесть его рассказов в переданной рукописи, когда отбирал несколько для журнала).

Это затрудняло задачу. Для превращения разнообразных соображений, воспоминаний, впечатлений и прочих пейзажей с повествованиями — для превращения громоздющегося материала в роман, пусть поток сознания, пусть любой цельный и простроенный текст — требовался стержень. Цемент. Скрепляющая арматура. Несущая конструкция. Уж больно эта двухфюзеляжная конструкция — путь непечатающегося ленинградского писателя через Таллин раздваивается на американский и советский варианты — уж больно эта конструкция в принципе была хороша.

Оставалось только придумывать. Так, чтобы никого не задеть. Хотя бы редкие упоминания о Довлатове, другой стороне и ипостаси «жизни и судьбы», работали пресловутыми «скрепами».

Я придумал, что студентом редактировал Довлатова в «Неве». Но ведь как уместно это легло! Придумал диалог редактора с партаппаратчиком обо мне и уехавшем Довлатове. Придумал подругу с «довлатовского плеча» — чего быть не могло в силу разных причин; но какова эффектная подробность, согласитесь! Придумал свой разговор о Довлатове в Париже — впервые я туда попал два года спустя после написания. Ну а уж встреча с Шопенгауэром в Австралии, начавшаяся строками Евтушенко из стихов о встрече с Хемингуэем плюс афоризм самого Шопенгауэра и прочие цитаты, меня просто лично обрадовала. Я придумал разговоры в Доме печати, придумал взаимообличительный монолог...

Проще сказать, что было правдой. Факт публикации, разговор по телефону, присланный ножик, кусок из интервью Виктора Ерофеева и кусок письма самого Довлатова. Еще пара фраз по телефону с Арьевым и Генисом. И известие о смерти, по радио вечером в Цфате. Этого мало на роман, даже выпаренный до объема 70 страниц.

3

По-моему, бла-ародный человек отличается от жлоба тем, что иронизирует над собой, а не над другим. Жлоб этого не понимает и самоиронию принимает за чистую

монету: «Во, сам признался!»

Фразу «Павлина ранили стрелой» — то есть издевательский отсыл к Гамлету, «Оленя ранили...» после соответствующего монолога — никто не собирался замечать.

«Культурно-массовый» русский читатель прост в запросах и оценках. Юмор должен быть понятен. Характеры должны быть однозначно маркированы, и у каждого свой простой недостаток: кто пьет, кто лжет, кто глуп, при этом кто хороший и кто плохой.

4

Сам Довлатов был шутник известный, с фантазией и любитель позлословить с одними друзьями о других. И в его письмах найдется доброе слово для каждого. Характеристики чудные: «Снова о Лимонове. Он действительно забитый и несчастный человек. Бледный, трезвый, худенький, в мятом галстучке. Фигура комическая». «Гладилин пишет еще хуже». «Пошлите Седыху. Писатель он странный. У него редкий тип бездарности — полноценная неуязвимая кропотливая бездарность».

Было и веселее: «По недосмотру алкоголика Вайля и мудака Гениса». «Виноват кретин Генис». Знакомых у Довлатова было много. Так что включение и меня в круг тепло помянутых фигур было как бы знаком внимания.

Впервые он был напечатан в Союзе так. В декабре, стало быть, 88-го мы говорили по телефону о публикации, и чуть шире, как водится — об общих знакомых, новых ветрах и перестройке. В апреле я послал ему экземпляры журнала с его рассказами, к каковым приложил свою книжку, надписав в подходящих выражениях. В ответ он в мае послал мне из Нью-Йорка в Таллин свою книжку «Не только Бродский» с надписью: «Михаилу Веллеру с уважением и благодарностью. 7/5/89».

А 13/5/89 писал в Ленинград Арьеву: «У нас тут прогремел некий М. Веллер из Таллина, бывший ленинградец. Я тут купил его книгу, начал читать и на первых трех страницах обнаружил: «Он пах духами» (вместо «пахнул»), «продляет» (вместо «продлевает»), «Трубка, коя в лавке

стоит 30 рублей» и так далее (вместо «коия», а еще лучше «которая»), «Снизолшел со своего Олимпа» (вместо «снизошел до»). Что это значит?»

Это значит не более, что включился невинный рефлекс съязвить на чей-то счет. Но что характерно, истинным поклонникам и словарь лишний. Понятно, что в словаре:

«пах» и «пахнул» равноправные нормы;

«продлять» и «продлевать» равно нормативны и различаются лишь стилистикой контекста;

«коия» в словарях русского языка не существует, норма — «коя»; «которая» не лучше «коей», как вообще одно слово не может быть лучше другого, все определяет стиль фразы, архаика в разговоре — это торжественность как самоирония;

«снизошел до», как и «снизошел к» — всем известные устойчивые обороты. Так же устойчив, но реже употребим оборот «снизошел с небес (на землю, к людям, и пр.)». «Снизолшел с Олимпа» — как греческий бог с небес, и одновременно Олимп — как вершина славы, карьеры, местопребывание небожителя; освежение и усложнение оборота.

И страницы то не первые три, и книжку рассказов присланную и помянутую, «Разбиватель сердец», изданную «Ээсти Раамат» годом раньше, покупать не пришлось, и автор был не некий. Бывает.

...Время идет, и сердиться на это ерничанье уже невозможно, так же как принимать его всерьез. Никто не без греха и все там будем.

Только писатели знают, как они любят друг друга.

5

Воспринимая информацию, человек выделяет доминанту. За советским железным занавесом подростки выискивали в книгах сцены с эротикой; «Яма» Куприна была одной из главных книг в этом роде; о «Декамероне» мы вообще не говорим, но избранные места из «Швейка»

выделялись со значением. В кино про войну интересовали только батальные сцены, ну плюс мужественные разговоры. А в книгах выхватывалось действие, сюжет и главные характеры. Пейзажи, размышления, отступления — сознанием пропускались. Вроде бы их и читали, подряд ведь книгу читали, — но размышления с пейзажами проскакивали на автомате. А уж язык, стиль — если и обращал на себя внимание, так только романтический, приподнятый, торжественный и сентиментальный.

Почти все даже хорошие читатели стараются найти в книге «главное», «главную мысль». (Лев Толстой очень огорчился.) Так выедают мясо из супа или предпочитают из обеда мороженое и арбуз.

Таким образом, поклонники и фанаты Довлатова хотя и читают книгу именно о нем, коли уж он упомянут в заголовке. И все, что касается его, они выделяют вниманием, как увеличительным стеклом. Прочие соображения автора в их глазах имеют мало пользы и смысла, и являются скорее нагрузкой, довеском к главному.

Поскольку сам Довлатов ясен и прост, основная масса его верных читателей ожидают аналогичного качества от текста о нем. Им потребно и интересно читать про Довлатова, и это они воспринимают особенно внимательно; прочее маловажно, а если выглядит иначе — значит, плохо. Если сознанием задан образец качества — то принципиальные отходы от образца воспринимаются как худшее качество.

6

Феномен Довлатова как случай славы и любви, казалось бы не подкрепленных высоким литературным качеством текстов, примечателен и будет обсуждаться еще долго. Представляется, феномен здесь не столько в писателе, сколько в читателе.

Блеск рассказов Аксенова, Шукшина и Маканина, вышедших из активного читательского оборота, подтверждает, что литературный уровень — это еще не все.

Народ, страна, государство, культура, цивилизация — эволюционируют как система: идеология и эстетика эволюционируют вместе с ними. В эпоху распада культуры и схлопывания цивилизации — активный герой, масштабные свершения и светлые идеалы перестают быть. Нэ трэба. Философия пацифизма, эскейпизма и толерантности отвергла героя как носителя агрессивного нетерпимого начала, как сверхчеловека, фактом своего существования унижающего большинство — слабых, некрасивых и неумных.

Киногерои перестали быть мужественными и приобрели внешность вечных мальчиков и лузеров из народа. Героини-унисекс затемяют сексапильных красавиц.

Марк Ротко в живописи и Чарлз Буковски в литературе. Реалити-шоу в телевизоре. И рэп, эсэмэски и твиттер. Моцарт, Вермеер и мадам Севинье — Золотой Век прошлого.

А еще — старое всегда должно сменяться новым, пусть и худшим.

А еще — нарастающая функциональная неграмотность, когда под переизбытком информации раздробленное клиповое мышление не в состоянии охватить сеть взаимосвязанных фактов, а способно сосредоточиться лишь на одном, с трудом передвигаясь по простой и прямой цепочке связей. Комикс как иллюстрация аналитических способностей.

А еще — выживание в суе жестокого рынка и стремительно нарастающий вал информации вызывают потребность в простоте и легкости с ноткой иронии и печали.

Литература интеллектуального и эмоционального комфорта.

И чтоб ты был чуть выше героя. Он незадачливее и неудачливее тебя, и ты понимаешь и жалеешь его, уважаешь за талант и стремления и снисходительно прощаешь пьянство и непутевость.

Он как ты — только выше талантом и ниже всем остальным.

Любая книга Довлатова — это печальный плутовской роман, где герой хочет приспособиться к жизни и под-

няться на избранном поприще, над этой же дурацкой жизнью глумясь.

Довлатов идеально комфортен для необременительного, но культурного чтения постсоветского интеллигента.

И кстати — любимцы и кумиры читающей интеллигенции 70-х — Трифионов и Айтматов — как по уровню литературного мастерства и удобочитаемости, так и философской глубине, были Довлатова ничуть не выше. Поскольку же критика и общественное мнение объявили их мэтрами и величинами — то переход с них на Довлатова произошел на том же, в сущности, уровне.

Плюс отзыв Бродского. Бродский, зарыв как умел в США Аксенова и Евтушенко, помогал тем, кто в Союзе не печатался и, кроме того, был не конкурентоопасен; это справедливо, такова спортивная жизнь. Бродскому полагалось льстить и перед ним заискивали. Русский человек всегда создаст себе царя, властителя дум и диспетчера мысленного пространства.

7

Что интересно — несколько самых угловатых шуток в «Ножике» некоторые все-таки заметили. Я подставил Артуру Рэмбо Бодлера вместо Верлена, полагая, что средне-нормальному читателю это один черт: заметят? Когда пишешь, некоторые мелкие хулиганства кажутся почему-то забавными. Ну, почему Фридриха-то Горенштейна я сделал из еврея немцем, я знаю. Мне всегда страшно нравился капитан Горенштейн из «Хроники времен Карла IX», я и подумал, что еврей редко обижается, если его сочтут немцем.

А вот чего я не знаю — почему в наследии Довлатова ничего мне не помнится о музыке, театре, живописи, архитектуре и прочих музеях с концертами. А собственно, много ли подобного у других?..

Будем справедливы. Многие ходят в зоопарк смотреть на льва, чтобы разглядеть на нем блох. Музыка им при этом лишняя.

КУХНЯ И КУЛТУАРЫ

КУХНЯ И КУЛУАРЫ

Мимо тещино дома
я без шуток не хожу.

Частушка

Не плюй в колодец...

Пословица

Да нет, не та кухня, которая литературная, а та, которая обычная, шестиметровая, где чай пьют и реже — водку, да и то и другое все реже, и судят обо всем обстоятельно и (мой дом — моя крепость) безоглядно храбро. Не пожрать, так хоть потрындеть; а в литературе кто ж не специалист. Как там звали парнишку, накатавшего «Школу злословия»? не пивал он наших чаев, не сиживал на кухоньках, задвинутый плотно и глухо, как в танке. Кости мѳем — белей снегов Килиманджаро, учись, пиранья.

Разрушение легенд

— Издание, наконец, вещей, бывших полвека подзапретными легендами, сослужило многим из них дурную службу. Вообще редкий оригинал может сравниться с легендой о себе. Выход же общедоступными тиражами Хлебникова или Замятина многих разочаровал: интересно, талантливо, но вовсе не так хорошо, как в почтительном незнании ахалось, мудро-сокрушенно качалось головами и ставилось выше известного.

— По психологии запрета и незнания всегда воображается черт-те что, а узнаешь — с ног не падаешь, ничего сверхъестественного, и даже многое, уже бывшее известным, лучше.

— У кого это было: «Стоит обезьяне попасть в клетку, как она воображает себя птицей?»

Такт и ярлыки

— Уж такие мы тактичные: ни подлеца подлецом называть, ни гения гением, пока не канонизирован покойник, либо не «сформировалось мнение всей общественности». В кулуарах вечно такая полива — святых выноси, матерок свищет, а нажрутся — все друг другу гении, а в печати или с трибуны — не то горло спирает, не то промежность натерло: все на цырлах, закругленные формулировки, тьфу.

А я прямо скажу, и за слова свои отвечаю: Симашко в «Емшане» и «Искуплении дабира» — гений, и Маканин в «Где сходилось небо с холмами» — гений: без преувеличений, верх мирового класса. А Марков Георгий Мокеич — бездарь и подонок со своим штабс-капитаном Ерундой и дедом экс-щукарем Епишкой или как его, и обливанием грязью и Быкова, и Евтушенко, и Эренбурга, и Солженицына с высокой трибуны. И Иван Стаднюк со своей «Войной» — писатель для солдат с четырехклассным образованием и тупица.

— Всех тупиц не перечислишь. А х-хорош-ша секретарская литература!

«Как закалялась сталь»

— Что касается закалки стали, то мозги нам действительно сумели закалить до чугунного состояния, чего нельзя сказать о нервах.

— Бедный парень: искренне верил в то, за что дрался, герой идеи, жизнь положил, слепым трупом на койке —

писал! боролся! и не хуже других. Конечно, с литературной точки зрения ничего это из себя не представляет...

— Да? так вы что, не слышали, что на самом деле писала это за него бригада профессионалов? совершенно известная история. Он действительно пытался... а нужно было создать легенду, знамя, ударную книгу сталинской молодежи.

— Слушайте, я в литературе не сильно волоку, но один случай там интересный; примечательный. Про узкоколейку. Все помнят, да: строили, метель, зима, дрова возить, голод, герои?

Так вот. Я как-то на шабашке строил с бригадой узкоколейку в леспромхозе. Валим просеку, обсучковка, режем стволы на шпалы и укладываем, потом рельсы накладываем и пришиваем. По десять часов, в заболоченной тайге, гнус жрет, — пахота. И за месяц вдвядтером сделали километр. Тяжело; спали спокойно, жрали каши-макаронны — от пуза.

И вот в выходной как-то я вспомнил — и задумался: а сколько же они там километров-то сделали, в «Стали»? Интересно...

Прилетел домой — схватил книжку с полки.

Изумительная вещь обнаружилась! Я там такого вычитал — семьдесят лет назад бедные комсомольцы сами не подозревали! Явная диверсия была устроена — и до сих пор не раскрыта!!!

Ну, что городские власти в ноябре обнаружили, что скоро будет зима, а дров нет — это по-нашему, по-советски; это уже неплохо.

Сколько послали комсомольцев? — Триста.

Сколько верст надо построить? — Шесть.

Кто проходил в первом классе арифметику? Сколько будет разделить триста комсомольцев на шесть верст? — Будет один комсомолец на двадцать метров. Двадцать метров!

Объясняю, что такое двадцать метров. Это двадцать пять шпал и три звена рельсов (они шестиметровые). Шпала-кругляк под узкоколейку весит килограмм двадцать

пять. Рельс тогда под узкоколейку шел практически весь ТИП-18 или ТИП-22 — это восемнадцать или двадцать два килограмма на погонный метр, а весь рельс, стало быть, сто десять — сто тридцать кило. И вот эти двадцать пять шпал и шесть рельсов на человека они и делали героически бесконечные недели!! эпопея!! причем шпалы лежали уже готовые, только подноси и клади! да мы им эту вонючую дорогу вдвоятером за месяц сделали бы!

Организация — сверхбездарная! куча народу без толку. Делись на три смены вкруглосуточную, доставай любые тележки возить шпалы и рельсы вдоль трассы, — да там на два дня максимум работы для такой оравы!

А самое главное — на кой черт они долбили в мерзлой твердой земле ямки под шпалы?!! Какой идиот, какой саботажник им это велел?! Рабочая ветка на пару месяцев, скорость на ней не нужна, — на фига копать?! кладут прямо на землю! все, всегда, везде!!

Да — холодно-голодно-бандиты. Конечно. Так не два дня, а шесть: четыре шпалы и одна рельса в день. Норма дистрофика с нарушением координации. Да нет — просто смехотворно. Апофеоз идиотизма. Прообраз наших строек. Боже мой!

Закалка стали? Молотом по яйцам это, а не закалка стали!

«Повесть о настоящем человеке»

— В санчасти как-то после войны уже лежал, скука, читать нечего, мысли разные, и вот «Повесть о настоящем человеке» стал вдруг что-то читать не как книжку, ну, а как летчик. И возникли, должен сказать, вопросы. Кому их задашь? замполиту? или школьной учительнице — жене командира?

Маресьев, конечно, герой, книжку писал не он; хотя потом уже я узнал, что в сороковом году, во время воздушной битвы за Англию, над Нормандией был сбит на своем «Спитфайре» английский капитан, командир эскадрильи, который успел выброситься с парашютом и при

приземлении сломал оба протеза. Ног не было выше колен. Немцы были настолько потрясены, что на следующий день сбросили на его аэродром вымпел, где просили скинуть для него с парашютом протезы в назначенном месте. И на этих протезах он благополучно прожил в лагере до освобождения. (При этом, естественно, он не был ни русским, ни коммунистом, и комиссара Воробьева не знал; но это я сейчас такой умный, в свете перестройки и гласности).

Но по порядку. Бомбардировщики разгружаются над объектом, истребители прикрывают, немцев в воздухе нет, что же делает командир конвоя? — удаляется один в сторонку немножко пока повоевать. Тут на бомберов и мессеры свалились.

Это какая-то ахинея первая. Увлекся, понимаешь, рвением горел! Да если прикрытие — по любой причине! хоть на минуту! — оставляло бомберов, и немцы срубали хоть один, то командир истребителей автоматически шел под трибунал — и в редком случае шел в штрафбат, а так — расстреливался. Грубейшее нарушение приказа — охраны вверенных бомбардировщиков! Таково было положение, закон.

Дальше. Взяли его в клещи — сажать повели. Да на кой он им сдался? новая секретная машина, или ас знаменитый? или делать им нечего было? жгли всех пачками, а тут решили истребителя сажать.

Ну ладно: ведут. И тут он уходит наверх, вырываясь из-под верхнего. Только зацепить успели. Чтоб «И-16» ушел от «Мессершмитта» на вертикалях — это спорно. На горизонталях — ладно: скорость ниже, крыло короче, радиус разворота меньше, — маневренней на горизонталях, можно ускользнуть. Но на вертикалях — с меньшей скоростью, меньшей мощностью, меньшим темпом набора высоты, — не знаю, не слыхал.

Ладно: ушел. Тянет домой с обрезанным движком. Явно не дотягивает, внизу лес, садиться некуда. Вопрос: почему не прыгает с минимальной высоты, пока можно? Это ж самоубийство, почти нет шансов остаться в живых,

в лучшем случае переломаетесь в труху! Объясните мне, летчику, зачем втыкаться в лес?!

Лежит. Медведь подходит, шатун. Ходил я на медведя... Если на лес грохнется с неба самолет поблизости, то медведь тут же обделается и удерет от этого необъяснимого ужаса, и приблизится очень нескоро и очень осторожно. Ну, шатун, жрать хотел — пришел. Когтем цапнул — комбинезон не подался. Да он цапнет — жель раздерет, голову оторвет! «комбинезон не подался!» Понюхал — решил: мертвый. Это, может, Полевой решил бы, что мертвый, а медведь — он как-нибудь разберет, кто мертвый, а кто живой. И свернет шею. Голодный — закусит сразу, сытый — прикопает, чтоб запахок пошел, но сытый шатун — это редкость большая. Короче, глупый медведь попался и несчастливый. Потому что человек тут же, лежа, выстрелил в медведя из пистолета и убил его. Это, стало быть, лежа, навскидку, одним выстрелом, из пистолета ТТ — какого ж еще? — калибра 7,62 — уложил медведя. Странно еще, что не из рогатки он его убил. Как пропаганду мощи советского стрелкового оружия я это понимаю, а как рецепт охоты на медведя — пусть мне писатели растолкуют, это я не понимаю. Эту живучую махину — из этой пукалки? в сердце — фиг, на дыбки поднимать надо, иначе не попасть, с черепа рикошетом соскользнет, позвоночник из этого положения такой ерундой тоже не перешибешь. Короче, охотник на привале.

Кстати. Курс свой он знал, карту имел, расстояние до линии фронта представлял, — чего он тогда медвежатиной не запася? Или исключительно ежей и клюкву предпочитал?

А вот дальше он чувствует, что похоже, переломал плюсны стоп. Похоже, даже раздробил. И что же он делает? Снимает унты... Пока меня первый раз не ранило, я не понимал, почему на раненых одежду срезают, а не снимают нормально. А потому что движения эти всё в твоей ране смещают, давят, трут, кажется — просто мясо у тебя с костей завернется пластом, если штаны на тебе не разрежут, а снимать начнут с раны. И сапоги сре-

зают, и валенки. А когда раздроблены все мелкие косточки стопы — снимать обувь, — это пытка чище любого испанского сапога. Так мало того — он потом унты обратно натянул! Тут я не выдержал, спросил у доктора в санчасти. Удивился доктор, прочитал, помычал, уклонился. Так он потом еще встал на эти ноги и пошел!!! По горячке после ранения и на обрубках пойдешь, но это первые минуты только, а потом всё! это где ж вы видели, чтоб люди на раздробленных ногах шли да шли?!

Как хотите, но все это чушь.

С тех пор хотелось мне как-нибудь с Маресьевым встретиться и узнать, как на самом деле все было. Если только не случилось так, что вместо собственной памяти у него теперь сочиненное хреновым, я вам доложу, писателем Полевым.

Госкомиздат

— Гениальная контора, достойно координирующая наш бред в области книгоиздательства. Особенно радостно это выглядит на параллельных изданиях:

В течение нескольких лет десять разных издательств издают «Трех мушкетеров», скажем. Десять редакторов редактируют, десять художников художничают, десять корректоров вычитывают, десять наборщиков набирают и т.д. Почему не отдать все одному издательству и одной типографии? Потому что тогда тираж съест всю бумагу и всю мощность этой типографии, и издательство придется закрывать. И слава богу, закрыть! другие книги будут издавать другие издательства. А планы? штаты? зарплаты? Десятикратно будем повторять мартышкин труд и жаловаться на нехватку всего.

Полиглот

— Военная биография начальника Союза писателей СССР Карпова вызывает глубочайшее уважение, литературные же упражнения и заслуги представляются, как бы

это сказать, менее бесспорными.

Когдатошние его ташкентские знакомые отзываются о нем как о парне очень славном; но почему творческий союз должен возглавлять генерал, лучше объяснят, наверное, генералы, нежели писатели.

А казус, утверждают, произошел следующим образом:

Вновь назначенный Карпов сидел в президиуме на какой-то пресс-встрече с иностранцами, и, представляя его, сказали, что он в прошлом кадровый офицер, генерал в отставке, фронтовик и разведчик, прошедший всю войну и захвативший семьдесят пять «языков». Девочка, переводчица-синхронистка, мало знакомая с военной терминологией, перевела в запарке, что за время войны он овладел семьюдесятью пятью языками. Иностранцы замерли в изумлении перед столь необычайными способностями разведчика. Пока кто-то из наших не понял, наконец, в чем дело, и захохотал невольно, и устроили радостную овацию. Кто-то проорал в восторге: «Полиглот!» Так это прозвище за глаза и прилипло.

«Дата Туташхиа»

— Если бы Амирэджиби умел немного лучше, короче и тщательнее писать, этот роман занял бы место в мировой классике. Замах, контур, идея — величественны; боюсь, это тот самый обидный случай, когда есть все для гениальности, кроме достатка профессионального мастерства.

Лучший в мире читатель

— А я тебе так скажу: делать нечего — вот и читают. Покупать нечего — покупают книги. Выделиться нечем — выделяются библиотекой как ингредиентом престижа. При нужде найти невозможно — хватают нужное и ненужное при первом случае.

Кто читает? высоколобые книги я имею в виду? интеллигент читает. Кто есть советский интеллигент? человек с высшим образованием и низшей зарплатой, без всяких

возможностей создать себе материальное благополучие, работая по специальности. Он не может основать собственное дело, заработать миллион на изобретении, иметь всегда перспективу роста, работать по своему уму и способностям от пауза и расти без предела, — масса его умственной энергии не востребуется, сенсорный голод не удовлетворен, объездить мир невозможно, купить свой хороший дом невозможно, оставить детям состояние невозможно, поэтому он всегда немного Манилов. И он читает — вдумчиво, истово, эмоционально. А создать ему американские условия — бросит читать к чертовой матери, вместо этого будет жить, работать и развлекаться.

Для нас чтение — отчасти сублимация, компенсация, опиум, онанизм и самоутверждение. Вопрос «Вы читали...?» заменяет обычно вопрос: «Вы отдыхали во Флориде?» или «Вы купили клинику?» или «Вы совершили то-то и то-то?».

С каким умным и образованным видом судили пять миллионов интеллигентов о среднепробной беллетристике «Плахи» или «Детей Арбата»! Нет светской жизни, нет свободной жизни, — даешь духовную жизнь!

А что делать? водка? футбол и рыбалка? выпиливание по дереву?

Когда человек урабатывается — ему не до сложных книг. А если в работе еще и видит смысл своей жизни — ему не до второй серьезной работы, каковой является чтение серьезных сложных книг.

Книг у нас больше покупают, чем читают, и больше читают, чем понимают. Потому что нет у нас, нет ста тысяч читателей Пруста! Зато есть пять миллионов, которые за треху охотно поставят его на полку, а себя — на ступенечку выше в табели о рангах: образованность у нас все же престижна.

Так просто: серьезные книги ведь серьезны не абсолютно, сами по себе, а относительно большинства других, менее серьезных, и воспринимаются небольшой частью читателей, более склонных и способных к этому, чем большинство. Это элементарно, да, Ватсон?

И глупо сетовать, что большинство все более предпочитает ТВ и видео. Рассказ о событии был заменой собственного видения этого события, книга — заменой устного рассказа, а кино через эдакий диалектический виток предельно приближает нас к увидению и познанию события во всех красках, движениях и деталях: лучше один раз увидеть, утверждали, чем сто раз услышать.

Читать хорошо. Но жить все-таки лучше.

Пушкин и русский язык

— Весь восемнадцатый век на русский язык, фигурально выражаясь, натягивалась по возможности немецкая грамматика; общеизвестно. А в первой трети девятнадцатого у Пушкина (в прозе) и особенно у Лермонтова — у него это просто ясно видно — появляется нечто совсем новое: они как бы пишут французским языком по-русски, или русским языком на французский лад, если угодно: строй фразы, ее синтаксис — не русские, с точки зрения русской грамматики — местами буквально не мотивированы, а калькированы с французского. Любимые лермонтовские точка с запятой между отдельными словами, двоеточие как знак скорее интонационно-оттеночный, нежели несущий какую бы то ни было конкретную грамматическую функцию, — столь же характерны для художественного французского языка той эпохи, сколь нехарактерны для русского.

Вот это изящное и фривольное офранцузивание русского языка и стало началом и основанием языка русского литературного классического.

Дивная тема для кучи диссертаций. А что? Образованные дворяне того времени овладевали французским часто раньше и основательнее, чем русским; вот вышеупомянутые и впали в ересь: смешали языки — в хорошем, высоком смысле — придворный аристократический французский и житейский родной русский: вот и легкость, и гибкость, и блеск, и длинное дыхание фразы.

«Герой нашего времени»

— С руки Эйхенбаума принято возводить родословную Печорина к Констану-Шатобриану. Да-да, конечно. Но:

Почему Лермонтов бросил «Княгиню Лиговскую»? Такая штука: Печорин уже, от рождения, имеет все то, к чему бедный герой «Лиговской» стремится. Ну, достигнет... не в энтим счастье.

Вопрос: читал ли Лермонтов «Красное и черное»? Не знаю. Но по логике вещей — должен был, вероятно, прочитать.

И он, что естественно для человека толкового, в данном случае — для гения, начинает там, где другой кончил. Печорин, как и Сорель, красив, умен, горд, полон жизни, — но ему уже ничего не надобно добиваться, то, чего вожделеет один — другой уже имеет. И вот что из этого вышло.

Зачем было писать «Княгиню Лиговскую», если «Красное и черное», то бишь «Путь наверх», было уже написано. И он пишет уже «Жизнь наверху»: следующую и другую ипостась той же, в сущности, коллизии.

Хронологически, по датам, это вполне совпадает.

Психологически, творчески, тоже было бы естественно.

Сопоставительным анализом эта версия легко протраивается в подробностях и доказывается. Странно, что до сих пор этого никто не сделал.

Впрочем, в массе своей литературоведы такие же тупые люди, как и прочие граждане.

«Тарас Бульба»

— Гоголь, конечно, был гений... упаси Бог, я не замываюсь... все мы из шинели, так сказать, хотя большинство из телогрейки... но изучение «Тараса Бульбы» в школе... ну я не знаю...

Они же там всех режут, и это так, значит, замечательно, когда они режут; а вот когда их режут, это ужасно и мерзко. То есть когда они бьют — это хорошо и по-

хвально, а когда их бьют — это плохо. Сплошной гимн дружбе и интернационализму! Сплавали за море пожгли турок — молодцы. Порезали поляков — молодцы. Евреев потопили — молодецкое развлечение. Жиды трусливые, жалкие, грязные, корыстные и пронирыльные, и их потуги спастись от смерти вызывают только смех. Полезная для школы книга. Особенно полезно ее изучать, наверное, именно евреям, полякам и туркам. Удивительно гуманный образец великой русской классики.

Тургенев

— Характером и духом великий либерал, что видно из его биографии и произведений, был не слишком кремнев; Виардо в их любовном дуэте его переломила и подчинила навсегда, следствия чего прочитываются и без изучения психоанализа Фрейда. И все его герои не есть сильные люди, даже если хотят таковыми казаться и кажутся окружающим и даже себе: авторские антиномии, пертурбации, коллизии и мелихлюндии начиняют их всех.

И только в одном случае попытался создать Тургенев сильный мужской характер, каким сам не обладал и который мечтал себе выработать, иметь хотя бы для самосознания, самоуважения: это отец Владимира из «Первой любви». И когда он взмахивает хлыстом, а она смотрит неизъяснимо и целует на своей руке след его удара, вспухший рубец, — вдруг понимаешь, чувствуешь, что это неправда, не было, не могло быть, но очень хотелось, чтобы было: безумно мечтал Тургенев быть вот таким мужественным, повелительным, забравшим полную власть над любимой женщиной, предавшейся ему всем телом и душой.

— Если нет в тебе крутизны — крутого героя не сделаешь. Тот, кто так обращается с любимой женщиной, уж с нелюбимой женой еще лучше разберется; а тут — ах-ах, слезы-мольбы, дай развестись — хочу жениться, все плачут, болеют, умирают и уезжают. Да, Тургенев пытался иногда представить себя таким крутым, и в письме, есте-

ственно, сублимировал, но даже не знал, бедный, что дальше-то будет делать такой крутой! и давай его плакать...

— Бедолага! Недаром солдафон Толстой издевался в «Современнике» над его «демократическими ляжками»: «Шлепну шпака, как мух-ху!»

Бунин

— Да нет, не тот, конечно, который начальник в Лениздате, а который Иван Алексеевич. Уж так он себя любил, так щемяще и пронзительно любил, что просто не знаю... и жалел. Неприлично, не по-мужски, неловко иногда читать, в конце концов. В чем-то — основу его творчества составляет внимательная, понимающая, трогательная, с сочувствием и жалостью любовь к себе, любимому.

— Любил барин клубничку и себя в клубничке, и болезненно скорбел по отсутствию оного.

Литература и язык

— Блеск блеском, ан не блестящие произведения остаются вершинами; блеск литературы условен, понимание истин человека и бытия — абсолютно: энергию таланта следует скорее направлять на их постижение, нежели на шлифовку формы; хотя этим оправдываются и банальные бытописцы, но заурядность всегда найдет чем оправдаться...

Не блестящий мэтр академик Мериме, но «скверные стилисты» Стендаль и Бальзак остаются вершинами французской литературы; а достигнув формального совершенства, она в XX веке решительно деградировала. А поперла американская — грубоватая, мощная, витальная.

Блеск российского «серебряного века» — это талантливость мастеров, в совершенстве овладевших всей изощренностью высокого искусства любви — но потерявших могучий и неразборчивый инстинкт ее подлинной страсти. Толстой, не говоря о Достоевском, «плохо писали», — но в результате неплохо вышло. Мысль и страсть решают все! Привет пассионарности.

Поэты и кумиры

— Каждый чего-то не может понять, в силу, видимо, своей ограниченности. И вот моя ограниченность не дает мне понять, как на I Съезде письменников, когда встали у сцены метростроевки в алых косынках и с отбойниками на плечах, Пастернак у ближайшей пытался взять отбойник и держать сам, он не может, чтоб девушка тяжесть держала, а потом сказал, что даже не знает названия этого тяжелого «забойного инструмента»; моя тупая ограниченность не позволяет мне понять, что это он сделал искренне и естественно. Это вполне согласуется с «какое там, милые, у нас тысячелетье на улице?», но никак не согласуется со вполне здравыми и рассудочными поступками жизни Пастернака, а уж в 34-м газеты, радио, кинохроника так трубили о метро и шахтерах-стахановцах. Боюсь, что это тоже — создание имиджа.

И никак мне, скорбному умом, не понять, как можно неоклассицистов Ахматову и Мандельштама, при всем моем к ним человеческом уважении и преклонении перед трагичностью и муками пути, и поэта внутри поэзии Пастернака, и благородного интеллигентно-авантюриста Гумилева, писавшего стихи для гимназистов и барышень (помесь рашен Киплинга с рашен Рембо плюс эстетская циничноватая самоирония Северянина) ставить в один ряд с Поэтом милостью Божией Мариной Ивановной Цветаевой, естественной и страстной во всем, боль и нерв, надрыв и удаль, саможжение и безоглядность. Голову склонить — но не ряд, не чета, не ровня.

Ворошилов, Жюль-Верн и космополитизм

Покойный Евгений Павлович Брандис рассказывал:

В сорок девятом его, кандидата-филолога-германиста, за пятый пункт турнули из Пушдома и напугали на всю оставшуюся жизнь. И остался он без работы. И никуда не брали. А семья, дочка, кормиться надо. Изредка разрешали где-нибудь платную лекцию или выступление. Да тал-

линнская «Вечерка» брала статьи к юбилеям русских писателей.

Но какой-то детский клуб вела его добрая знакомая, и вот она приглашала его почаще рассказывать детишкам о всяких интересных книжках. А круг дозволенных интересных книжек был сужен до предела. Одним из незапрещенных оставался Жюль Верн: нет, в плане борьбы с низкопоклонством перед Западом тоже не издавали, но поминать запрещено, вроде, не было. И через несколько лет такой жизни Брандис, подначитавшись и поднаторев в безопасном и безвредном Жюле Верне, даже написал трехлистовую брошюрку, и даже ее маленьким тиражом издал как-то под каким-то скромным методическим грифом.

А тем временем умер Сталин, пошла большая чехарда в верхушке, и первый красный офицер Ворошилов оказался на курировании культуры. И директор Гослитиздата, соответственно, и явился к нему подписывать планы выпуска литературы на будущий год.

Ворошилов встретил его благосклонно, проворошил нелюбовно пачку листов, закурил: решил поговорить немного о литературе, наставить, поруководить издательским процессом.

— А вот ты такие книги, интересные там, приключения издаешь?

Директор напрягся, поймал, решил, сориентировался:

— А как же, Климент Ефремович, конечно, издаем!

— Какие?

— Э, м-н, ну, вот скажем...

— А я вот в детстве, помню, — откинулся на спинку Ворошилов, — очень любил Жюль-Верна. — Задумался мечтательно. — Очень был интересный писатель... Издаешь его?

— А как же, Климент Ефремович! Конечно издаем!

— Вот это хорошо. Это правильно! А что именно?

— Эгм. Да! Избранное!

— Что?

— Собрание сочинений издаем!

— Это дело. А сколько томов?

— Широкое собрание!..

— А?

— Двенадцать, Климент Ефремович! Двенадцать томов!

— Вот это — молодцы. Правильно. Хорошо. — Подмахнул план: — Пришли экземпляры в подарок, перечитывать буду.

— Слушаюсь!

Директора вытряхнули из лимузина у родного подъезда в предынфарктном состоянии. Выпил коньячку, закурил валидолом, рыкнул секретарше: — Всех специалистов по Жюль-Верну — срочно ко мне! Срочно!!! И — на — впечатай в план — в первый десяток позиций! — Жюль-Верн, собрание в двенадцати томах!

— Что?..

— Исполнять!!!

Все забегали, закрутили телефоны, залистали справочники, и к концу дня выяснили, что специалистов по Жюль-Верну в Москве не осталось ни одного. Кончились как-то специалисты. Кого посадили, кто помер, кто съехать успел давно, кто на фронте погиб, кто в эвакуации сгинул, а кто, возможно, скрывает, открешивается.

— Найти хоть на Камчатке!! Завтра утром!! Это — приказ!! — и палец в потолок. — Знаете, чем пахнет?!

Короче, вечером у Брандиса вдруг звонит телефон, который уж давно онемел:

— Евгений Павлович? Как поживаете? Как чувствуете себя? — Дымшиц звонит, та еще сука, тогдашний начальник ленинградской писательской организации.

Евгений Павлович в трубку мычит потрясенно, что мол, спасибо, все хорошо, ничего.

— У вас не было в планах съездить в Москву?

— Нет... А что? Пока не было... А... что?..

— Через часок пришьем за вами машину, вы соберитесь пока, билет на «Красную стрелу» шофер передаст. Съездите в командировочку, проветритесь, возможно и дела какие-нибудь окажутся.

Брандис уже сползает по стенке и воздух ловит:

— А в чем дело?..

— В Москве вас встретят, все объяснят.

Брандису худо. Жена плачет и собирает белье и шерстяные вещи. Если опечатают квартиру — к кому идти жить? С кем это все может быть связано?

Доставляет его машина к «Стреле», дает шофер билет и командировочные. В Москве на перроне ждет топтунок:

— Вы — Брандис? Пойдемте.

В машину — везут. Привозят. Что за подъезд — не Лубянка, не Петровка... мало ли контор. Коридоры, кабинет, начальник:

— Вы Брандис? Садитесь. Значит, специалист по Жюль-Верну?

О господи, молит Брандис, неужели и за этого уже сажают, что делать.

— Да нет, что вы!.. Какой я специалист?.. Я и вообще-то германист, а не романист, так что...

— Жюль-Верном занимались?

— Да нет практически...

— Что?!

— Ну, детишкам там рассказывал...

Директор вынул из ящика и шлепнул на стол брошюрку:

— Твоя книга?

— Ну, какая ж это книга... незначительная компиляция...

— Что?! Что ты тут выеживаешься?! Твоя?

— Моя... но...

— Значит, так. Мы в этом году издаем двенадцатитомное собрание сочинений Жюль-Верна. Что тебе надо, чтобы сейчас составить содержание?

Брандис на миг потерял сознание.

— Ты что — спишь?!

— Но надо работать... библиотека...

— Сейчас тебя отвезут в библиотеку, после обеда привезешь содержание! Все!

— Но — собрание... — слабо соображая, прошептал Брандис. — Нужны комментарии, справочный аппарат...

Директор чуть задумался.

— Хорошо. Сколько времени надо на том? Три дня

хватит? Через месяц подашь комментарии и справочный аппарат.

— Но это гигантский труд!.. я настолько не компетентен... я не могу... — пискнул Брандис.

— А тебя, тля, никто не спрашивает, — ласково разъяснил директор.

.....

— Вот так, — рассказывал Брандис, — у нас вышел роскошный, по сути — академический, двенадцатитомник Жюль-Верна, какого никогда не издавалось во Франции, да и нигде в мире. А я сделался специалистом по Жюль-Верну и потом получил уведомление от международного Жюль-верновского общества, что меня приняли в его ряды — а в нем всего триста человек. Правда, — вздыхал он, — на его ежегодные заседания меня в Париж так ни разу и не пустили.

Стиль Платонова и Толстой

— Платонова не люблю и читать не могу. Как не могу пообедать только икрой, или только медом, или только солью. Дегтярная вязкость и густота языка — подряд, в едином и очень условном ключе, на пространствах длинной прозы, вызывает рефлекторное отторжение. То, что хорошо как приправа и нечастый очень сильный элемент, в неограниченных дозах начинает с раздражением восприниматься искусственным, вычурным, специально придуманным. Так нельзя написать вещь, где каждое предложение, для усиления общего эффекта, кончалось бы восклицательным знаком. Пусть объяснят мне смысл конструкции «Он произвел ему ручной удар в грудь» вместо «ударил» или «но сам он не сделал себе никакой защиты» (от удара) вместо «никак не защитился» — и тогда я, туповатый недоумок, произведу благодарность просветившему мое понимание.

— Строго говоря, ничего принципиально своего Платонов в языке не изобрел. Он взял и возвел в абсолют и принцип своего письма то, что было у Толстого; но

у Толстого, который плевал на прописные догмы грамматики, исповедуя точный смысл, оно встречалось изредка и всегда было наилучшей формой выражения, краткой, точной, нужной. А нестандартность, аграмматизм лексических и падежных сочетаний — та же. «На лице его промелькнула та же улыбка глаз», — это Толстой. «Улыбка стыдливости перед своими чувствами», — и это Толстой. «Она не решилась сделать вопрос», — и это он. «Переноситься мыслью и чувством в другое существо было действие, чуждое ему». «...и без помощи внешних чувств она чувствовала их близость». «Увидав этот страх Наташи, Соня заплакала слезами стыда и жалости за свою подругу». Вот вам и весь Платонов с его «сытостью организма» и «для силы своего ума».

— Так ведь он таким образом и воплощал всю неестественность, беспросветность, уродливую заемную фразеологию и абсурд происходящего! Этот мир искажен во всем, в том числе и на уровне языка! И через язык также дается его искаженность!

— Понимаю. Но читать не хочется. Неинтересно. Здесь степень деформации языка выше степени трансформации материала и сюжета: одеяло перетягивается, мера нарушена, и главным остается общее впечатление, а для полного его получения достаточно и пары десятков страниц, дальше — просто излишне, все уже ясно и постигнуто.

Красивое вранье Паустовского

— Долго не мог понять: Паустовский — так хорошо пишет, и чем он мне не нравится?.. Пока не перечитал «Снег». Боже мой: война, эвакуация, карточки, ребенка кормить нечем, вечно хочется есть, холодно, дров нет, сортир во дворе — тоже зимой кайф для горожанки, известия с фронтов убийственные: жить, выжить, ребенок, и — о господи: рояль, витые свечи, заснеженный сад, красивый офицер, отдохавший до войны в Крыму — да кто в том Крыму тогда отдыхал?! бунинская, понимаешь, элегия!.. тут помыться бы теплой водой, мыла бы белишко

постирать да починить, ребенок заболает — чем, как лечить... какие свечи, какой рояль!

Или, из знаменитых же — «Ручьи, где плещется форель». Смотрит зимой часовой вслед саням: «Ах, сейчас бы глоток горячего вина!» очень изячно. Об чем думает такой часовой, притоптывая по снегу? сколько там еще до смены! погреться бы! пожрать! выпить! эх, сейчас бы вот с такой бабой! куда она поехала, к кому, интересно? развлекаются, сволочи! Или — лошадей в гору гонит вскачь, — надоели ему эти лошади, что ли? так он их еще с бега посреди дороги решил попоить ледяной водой из горного ручья — пусть обопьются, родимые, авось сдохнут! зато рыба-форель в ручье хвостиком взмахнула — красиво, понимаешь!

Я бы этот стиль назвал романтизмом, а вот эпитета к этому романтизму никак не подберу: не шоколадный, не цветочный, не рождественский, а не знаю даже какой...

Гайдар

— Писатели любили хвалить его «Голубую чашку»: «Ах, какой замечательный, лучший рассказ» — «А жизнь, товарищи, была совсем хорошая» — последняя фраза; тридцать восьмой год на дворе; привет всем, дивный рассказ.

А есть у него рассказ славный, маловспоминаемый — «Патроны». Наскакали, значит, белые на село, всех в сарай под замок, там плачут, расправы ждут, — вдруг стрельба кругом, удрали белые, мальчик спрятавшийся подходит к сараю: «Ну, как вы там? сейчас открою». — «Погоди, сынок, пусть наши откроют». — «Какие наши?» — «Товарищи, красные». — «Да нет никаких красных...» — «Как же? а стрельба!» — «Да это я кругом деревни в кустах костров нажег и патроны в них побросал, рваться начали, вот белые и сбежали. Так что — выходите... обождите, замок собою...» Нехитро, но смысл хорош; часто вспоминаю; не будет тебе никаких торжественных освободителей — давай своей собственной рукой, попрозаичней.

Битов и фортуна

— ...и вышла в начале шестидесятых книжка, и все ничего. А тут Михаил Лившиц, известный борец за реализм и нравственность, ее походя полил. Неприятно. Но тут полемика как раз разразилась между Лившицем и Эренбургом, и Эренбург, громя и поливая Лившица, и о Битове упомянул: и здесь, мол, неправ глупый ретроград Лившиц, прекрасный молодой писатель Битов, и книжка замечательная. Круги пошли, критики подключились, большая пря, и в эту прю Битова и втащило, попал на язык: которые, значит, за Лившица, те поливают, а которые за Эренбурга, превозносят. И оказался он как бы участком поля битвы, которую прогрессивная эренбургская группа выиграла. Короче, сидит дома, никого не трогает, звонят: Ленсовпис, просим зайти. Заходит: рады познакомиться, знаем, что ж ничего не несете, давайте можем заключить договор. И вот слегка обалделый Битов выходит из Совписа с договором, ни сном ни духом о нем ранее не ведая. Так вышла книга «Большой шар», а Битов оказался в большой литературе...

Владимир Гусев

— Каким редким даром, каким удивительным талантом надо обладать, чтобы сделать непереносимо скучное чтение из биографий таких героев и авантюристов, как Гарибальди и Луни! (Есть выражение «из дерьма конфету сделать», так здесь как раз наоборот.)

— Так вот потому он больше учит других, как надо писать.

Александр Чепуров

— В бане паразит один клеветал; хотел я его шайкой ляпнуть, так в пару не разглядеть было, кто.

Когда-то (рассказывал) Ленинградскую писательскую организацию возглавлял стихотворец Александр Прокофьев, по-простому в обиходе — Прокоп. Круто деловой.

Лауреат, черная машина, брюхо типа дирижабля «Граф Цеппелин» — эпоха, табель о чинах.

Вот подкатывает его лимузин к Союзу, а из дверей приятный такой молодой человек выходит. Узнает его через стекло, здоровается умильно и дверцу раскрывает заодно: уважение оказывает старшему, все равно рядом, вежливый такой.

И еще как-то раз также кстати выходит он. И еще. Мол, какие интересные совпадения. И уходит ненавязчиво своей дорогой.

И уже в коридорах Союза встречая, стал с Прокопом здороваться — узнавался. Разговора удостоился: приятнейший молодой человек, начинающий, бедный, и какой-то ненавязчиво приятно-полезный. Книжечки на автограф, как водится. И, короче, пригласил его Прокоп в литсекретари.

Что такое денщик босса? это маршалский жезл, сунутый тебе в ранец под грудку хозяйского груза и грязного белья: топай, парень! дотащишь мое — и свое получишь. Прокопу-то брюхо мешало до шнурков на ботинках дотягиваться, так Саня Чепуров вообще незаменимый мальчик был.

Прокоп, скажем, возвращается из Москвы на «Стреле», а Саня его уже встречает с цветами и женой (прокоповской): пожалуйста встречу. А Прокоп выплывает из вагона под руку с бабой. А Саня, не усекая, ему букет и ножкой шаркает, на супругу кивает. Прокоп почернел, ткнул ему обратно букет и потопал один. Мило услужил. Еле отмолился.

Вот так Саня и двинулся в начальники Ленинградского СП, каковое и возглавлял много лет весь «застойный период».

Новаторы и консерваторы в литературе

— Та самая энергия, которая заставляет человека стремиться изменять искусство, заставляет его стремиться изменять и жизнь. Спорить о новаторах и консерваторах глупо — это диалектическая пара. Примечательно, что

сейчас это размежевание в искусстве и политике удивительно совпадает. Традиционалисты-реалисты-деревенщики неизбежно оказались консерваторами и реакционерами: и одно и другое обусловлено их сущностью, их как бы недостатки со всей яркостью есть продолжение их как бы достоинств.

— Забавнее, что те, кто раньше умилялся: «Ах, Распутин... О, Белов...» — теперь сокрушаются: «Ай-я-яй, Распутин... ой-е-ей, Белов...» Хотя ни как писатели, ни как личности они совершенно не изменились. Никогда там не было большой литературы. Тот самый недостаток внутреннего потенциала, не дающий выйти за рамки общепонятной литературной традиции, не дает выйти и за рамки горестной традиции политической.

— Но эти ребята безусловно вызывают уважение. Честностью, стойкостью и последовательностью. Раньше их бесспорная заслуга была в том, что они открыто писали правду, не боясь неприятностей — правду, которую очень многие знали и написать в принципе могли, но избегали портить себе жизнь. Однако минуло дикое время, когда акт гражданского мужества провозглашался актом художественного свершения: сказать правду еще не есть литературное достоинство, этого мало. А теперь многие — без риска! — пошли в говорении правды и анализах гораздо дальше, и стоики-деревенщики в неизменности своей позиции из авангарда оказались в арьергарде...

— И — логично и прискорбно — в этом арьергарде сомкнулись с аппаратной швалью, повинной в бедах, за которые болит их сердце.

Напутствие молодым

— В семьдесят третьем на Конференции юных дарований Северо-Запада — нормальная пустая болтовня, бодяга, но по молодости-то и литературной девственности щечки горят! похвалы вдохновляют, поучения бесят! при том, что руководителей презираешь как мелочь второсортную — а признания хочешь! суета-с...

И вот — закрытие: маститые с трибуны слова говорят, старики-Державины, так сказать, изображают, что готовы передать свою лиру, хотя и лира у них не лира, а пишалка дурацкая, и вцепились они в нее, как голый в свечку. Михалков вещает, записку из зала зачитывает: подхалимская такая, низко-льстивая записка: ну, перебрал молодой по неопытности с лестью, решил, должно, что Михалков оценит и, скажем, познакомится с ним захочет. А на фига ж Михалкову такие знакомства? И, зачитав, он с сокрушенно-язвительно-умной улыбкой говорит: по литературной речке много всего плавает, и большие рыбы, и поменьше, и маленькие, а есть и то, что плавает поверху! Заржали все охотно: мол, достойно ответил Михалков. Ах, думаю, умный кит пресноводный, уж ты ли не плаваешь всю жизнь поверху?

И тут Гранин напутствует. От легкой жизни предостерегает, от соблазнов сладкого литературного пирога, благ и льгот, легких денег: это, значит, опасно, вредно для личности и творчества, не надо увлекаться слишком ранними публикациями, спешить в печать, строже к себе быть, суровее к себе. Я чувствую — белею! было б что под рукой запустить в трибуну — запулил бы, и плевать на все!

Семьдесят третий год на дворе! нас всех давят всмятку, и еще лет тринадцать давить будут, душисть наглухо серой подушкой, в печать не пробиться, нас дворнички ждут, спивание, психушки, эмиграция, отчаяние, а великий Гранин, понимаешь, нас остерегает от опасности легких литературных денег! Подыхающему с голоду — о вреде обжорства!

Часто упоминает — галстук он не любит. Правильно не любит. Потому что носить его не на чем. Галстук носят на шее, а шеи там нет, только и всего. Чем не причина для распашного демократизма.

Рекомендациями ихними, что творческими, что в печать, можно было подтираться сразу, но очень было забавно наблюдать, как кто-нибудь из руководителей с ви-

дом важным и ответственным начинал давать советы: ковал, значит, молодые таланты, влиял на течение литературного процесса. Это по какой-то странной ассоциации напоминало мне старинный анекдот о йоге, занимающемся онанизмом, лупя себя молотком по мошонке — зато промахиваясь он испытывал гигантское наслаждение.

Правда, вымысел, ложь

— «До свидания, мальчики» Балтера, книга в свое время знаменитая, — автобиографична и таковой выглядит. Выглядит она просто безусловной правдой, это рассказ о рубеже юности своей и друзей, выдумать это невозможно — смысл исчезнет. И вот, читая это лет в семнадцать, я задержался на одном месте — где он, днем, на песке: «Я не могу так тебя оставить...», берет свою Инку. «Я еще подумал, как трудно будет вытряхивать песок из густых Инкиных волос». И вдруг, перечитывая, почувствовал: неправда. Не было этого. Все было, а этого не было. Вот не знаю, почему, но хоть ты тресни — не было! И деталь, и психологический штрих, долженствующие подтвердить, увеличить правдоподобность, реальность, — «подумал», «песок, волосы», — не подтверждают, а наоборот, мешают. Ну, может, целовал он ее, трогал на этом песке, но не брал — ну голову заложить готов!.. Ну вот по всему остальному — не получается, мелочи не сходятся, рисунок не совпадает, разноречивой получается.

Через много лет познакомился я с одноклассником и довольно близким приятелем Балтера в школьные годы, завел разговор. Да!!! Он ее любил, а она его не очень, первая любовь, ничего не было, все знали.

Когда пишется по правде, присочинять нельзя ничего. Иной ключ, иная тональность, иная система условностей: уши всегда вылезут.

— Бедный хороший Балтер.

Имидж

— О, без умения построить и поддерживать эдакую легенду о себе — нет славы! Уж Наполеон, презирая толпу, умел именно играть свою роль. И стараются, как могут. Небрежно рекламируют свою короткую близость со столпами мира сего и публикуют фотографии с ними. Евтушенко не дает забыть, что он с глухой сибирской станции Зима, где и прожил-то крайне короткое время, Вознесенский культивирует свои клетчатые пиджаки и шейные платки, Семенов рассказывает о дружеских беседах с главарями мафий и Отто Скорцени, а Пикуль позирует в бескозырке и рассказывает о своем богатейшем и редком историческом архиве, коий он глубочайше знает.

— Без паблисити нет просперити. Простым людям приятны легенды: подай героя, необыкновенность, им и восхищаться не стыдно, и подчиненная близость к нему возвышает.

— Ах, боже, как смешно и самолюбиво поддерживал Фолкнер легенду о себе как о боевом летчике Первой мировой, на которую он попасть не успел. Маленький, мирненький, — слава большого драчливого Хемингуэя, кого он не переваривал, покоя ему не давала?

— Хемингуэй — вот непревзойденный мастер легенды о себе. Какой еще полутыловой санитар итало-австрийского фронта снял столько дивидендов с полуслучайного ранения, чтобы тянуть на героя? Кто еще из бойцов интербригад Испании снял славы с той войны столько, сколько тыловой журналист Хемингуэй? Какой профессиональный охотник на тигров-людоедов озабочен так, как покупавший тур сафари Хемингуэй — со слугами, оруженосцами, поварами и джипами? Какой клошар столько состриг со своей бедности в Париже? Когда же он рассуждает о Второй войне в духе, что не любит танкистов, потому что прикрытие неуязвимой брони делает людей наглыми — это просто бред самоуверенного дилетанта-туриста, не ведающего, каков век танкиста на фронте и как они горят.

— Он тоже знал, что делает. И продал он себя сознательно, в двадцать девятом году, Полине Пфейфер, за введение в высшие круги и рекламу среди вершин — сливок снобов, плейбоев и законодателей искусств. Что дало ему славу и богатство, но, естественно, не счастье. Вот он и задергался, страдал раздвоенностью желаний — и славы, денег и величия хочется, и делать чего хочется — тоже хочется. И, дрожа и дорожа своим реноме у магнатов, в пику им рекламно же нажирался с люмпенами и грозил дать в морду не понравившемуся гостю.

Фиеста

— И лучшей вещью Хемингуэя остается написанная в тридцать лет «Фиеста», — так и не прочитанная глупыми критиками во главе с Кашкиным, требовавшим ставить ударение в своей фамилии на втором слоге и принимавшим за чистую монету вежливые комплименты Хемингуэя.

А суть в том, что «Фиеста» — это «Идиот» в осовремененном американизированно-европеизированном варианте и вывернутый наизнанку. Все герои — грешные, аморальные, ненадежные, и делающие все — чисто по Достоевскому! — наоборот от нормального! Пылкая красавица любит исключительно импотента, который никогда не сможет ее удовлетворить. Он, любя ее, выступает в роли сводника, прекрасно понимая, что это не кончится хорошим ни для нее, ни для юного матадора, который ему также крайне симпатичен. Аристократ-богач-алкоголик, жених красавицы, оказывается стеснен в средствах — а только его деньги и были нужны. Но при этом — все эти люди приятны, милы, симпатичны, несчастны и вызывают любовь и сочувствие своей естественностью — нормальные живые люди, вот уж с такой судьбой и в таких обстоятельствах: они ходят по путям сердца своего. А единственный, рационально рассуждая, положительный герой — Роберт Кон, не такой как все, еврей, с комплексами, носитель морали и нравственных

ценностей, любящий героиню бескомпромиссно, который не просто выступает всегда носителем морали — но и борцом за мораль — причем с кулаками, боксер, любого укладывающий на пол; тем не менее он всех раздражает, для всех лишней, и читателю неприятен: тоже князь Мышкин наоборот! Что подтверждается демонстративно: Хемингуэй в это время читал Достоевского, так последняя фраза «Фиесты» дословно повторяет последнюю фразу «Униженных и оскорбленных» в переводе Констанс Гарнет, каковой Хемингуэй и читал; не такой был мальчик, чтобы допустить случайное совпадение с чем-то финальной фразы своего первого романа!

— Идиоты эти литературоведы!..

Пикуль

— Кто высунулся, того и хаот. На девять тысяч серийных письменников никто и не плюнет за ненадобностью, а у него полстраны читателей — давай польем! покажем, чем он плох!

«Ах, он врет, он фальсифицирует, он искажает и передергивает!» Да, врет, да, передергивает, ну и что? Он берет самые сенсационные, давно забытые всеми, кроме профессиональных историков, версии, и выдает дивный беллетристический вариант исторической сплетни. Или легенды, если хотите, или байки, или анекдота. А люди обожают легенды, байки и анекдоты, и ничего плохого здесь нет.

— Но он выдает их за правду!

— Как всякий хороший рассказчик.

— Но люди верят!

— Лучше верить Пикулю, чем Георгию Маркову или Галине Серебряковой, что, впрочем, и невозможно.

— Он шовинист!

— Верно. Но шовинистов много, а тех, кого можно читать — мало.

— Он плагиатор! Он перекатал дневники Бисмарка страницами, и массу еще чего!

— Да читателю-то какое до того дело? Он поучает, развлекает.

— Его читать невозможно!

— Значит, полстраницы делает невозможное; что, правда, вполне в нашем характере. Да, бывает и слишком длинно, развалисто, нудно, — но «Пером и шпагой» куда как неплохо. Масса людей и поныне бы у нас не узнала, что был Фридрих II, и Семилетняя война, и Олений парк Луи XV, и прочее.

— Так можно лучше читать книги по истории!

— Оставьте ваше ослиное фарисейство! Их и так-то читать невозможно от скуки, и где кроме читалок Москвы и Ленинграда они есть?

— Ох, писал бы он лучше свои морские романы.

— Вот это-то и не так. Там масса ляпов, драть дармоедов и тупиц редакторов. То у него «каталина» падает с неба на четырех звенящих моторах... она б, сердешная, и падала на четырех, да у нее всего два было. То, описывая шимозу в Цусиме, он порет нечто, не удосужившись, видимо, заглянуть в Брокгауза, шо це такое и как его делают. То котельное железо называет крепчайшим, хотя всем известно, что оно мягчайшее и в качестве преграды для снаряда подобно картону; то не знает отличия фугасного взрывателя от осколочного, а снаряды из морского орудия у него видны в полете и кувыркаются, как городошные палки, что, правда, списано из другого автора, но все равно чушь: снаряд наблюдается только от орудия, когда он удаляется от тебя и угловой скорости относительно тебя не имеет, а кувыркаться он, пройдя по нарезам и будучи стабилизирован вращением, не может никаким каким, кроме одной ситуации, но о ней Пикуль не упоминает: когда сблизившись с водой под очень острым углом, он рикошетирует — вот в таком рикошете и может лететь беспорядочно.

А вот в «Караване PQ-17» он делает вещь скверную. Англо-американский мощный конвой оставил караван, бросившись на перехват немецкой эскадры с «Тирпицем», чтобы отрезать его от баз и превосходящими силами

уничтожить в стороне от грузовых коммуникаций, обезопасив их и на будущее, но до этого торпедированный «Тирпиц» ушел, и союзники его не встретили, а немецкие подлодки расклевали беззащитный караван. Пикуль же подает это как предательское и трусливое бегство союзников ради спасения собственной шкуры. Недостойно.

Юлиан Семенов

— Он умный. И образованный. И все понимает. И понимает, что продал большой, энергичный талант за деньги и не самой высокой пробы, с оттенком иронии, славу.

— А чего еще?

— А — истина. Отложенные на потом и так не взятые вершины в искусстве. Поэтому он на самом деле печальный писатель. И его умные, печальные и образованные герои прокатывают воспоминания и изрекают пространственные сентенции, вовсе не требующиеся ни по образу, ни вообще по книге: это мысли и знания самого Семенова, которые ценны и хороши, и которым жаль дать пропасть втуне. Он сам не столько Штирлиц, сколько Мюллер; не столько Дорнброк, сколько Бауэр.

— И однако для меня несомненно, что он больший писатель, чем, скажем, Распутин или Нагибин. Больше смысла, больше искусства, да и просто гораздо интереснее, наконец. Да, есть и халтура, есть и своего рода шедевры. Лучшие его штуки и перечитывать приятно — а это симптом!

Не уподобляйтесь во мнениях эстетствующим снобам — это то же тупое стадо, только на уровне околотературных кругов.

Критика

— Банда кретинов, боже мой! Что за профессия: профессиональное высказывание мнения? Дивно: зарабатывать на хлеб обгаживанием чужого хлеба. И ведь понять не устаивают: им некогда, критика — их регулярное за-

нятие, быстро проглядеть — и выдать мнение. И не потому, что нравится или не нравится, а работа такая. Тяп-ляп — ускорение. Нет, несколько человек найдется, раз-два-три, но прочие, все эти пристраивающиеся к мельницам Клопы-Говоруны и ... — что бы они стали делать, если бы те, по кому они «проходят», перестали писать? Поразительная поверхностность, поразительная заданность в раздате ярлыков, поразительное невидение написанного. Вдуматься в смысл текста, допустить возможность, что они что-то элементарно не знают и не понимают — отсутствуют принципиально, принципиально отсутствует та самая интеллигентность мышления, коя есть сомнение и неудовлетворенность собственными достигнутыми результатами. Особенно это видно у нас на критике о Пушкине: работает целая кондитерская фабрика по выработке елея, патоки и глазури для Пушкина, каждое слово берется за эталон, каждая запятая заведомо гениальна, Пушкина как автора для них нет, есть идол, канонизированный гений, сияющий пророк, протрубить которому — не акт критики, не дань признания, но символ веры и причащения божества. Не то минигеростраты, не то лягушки, пашущие на головах волов... И при этом думают, что они умные, только на том основании, что любого умного могут обгадить и объявить глупее себя. История нас, конечно, рассудит; все это было бы смешно, когда б так сильно не тошнило.

«Молодая Гвардия»

— Сижу фанза, пью чай, никого не трогаю. Денег нет, журналы все рукописи возвращают, книга в издательстве двигается со скоростью построения коммунизма, работа двигается с той же скоростью, бессонница: короче, нормальная, жизнь: застой. Шарах — пакет из «Молодой Гвардии». Что за черт — я ведь им ничего не посылал, никого не знаю и знать не собирался. Письмо: уважаемый, тра-та-та, Вашу книгу нам рекомендовал Сергей Павлович Залыгин, предлагаем прислать рукопись, включив в нее

лучшее и из той, первой книги, не затягивайте, давайте, рецензию на книгу прилагаем, она Вам на периферии Вашей может сгодиться, все же центральное издательство, тра-та-та. И рецензия — Роберт Штильмарк, автор дивной «Наследника из Калькутты», расхваливает меня, грешного, на все лады. Ну — ура, ура, вся шайка в сборе, как гласит известный американский марш. И подписи — завредакцией Яхонтова, старший редактор Шевелев. То есть выпить необходимо на радостях, так ведь нет ни копейки. Ну, праздник!

Немедленно вынимаю из машинки неоконченный рассказ — сочиняю ответное письмо; такое письмо — это ведь дипломатический документ, составляется обдуманно, просчитанно, с толком. Рад, благодарю, тронут, вышлю, — максимум приязни при скромности, но с достоинством. Из последних своих семи экземпляров книжки той упомянутой единственной надписываю тепло и трогательно два и назавтра же несу бандероли на почту.

Денег на машинистку не бывало в помине, доступа к светокопировке тоже не бывало: долблю, как дятел, по пятнадцатому разу перепечатаваю собственные рукописи двумя пальцами, аж в глазах все зеленое, и тошнит: шлепаешь-шлепаешь, а они пропадают везде, и вместо того, чтобы новое писать, тюкаешь бессмысленно. Уж все переносы строк наизусть помнишь там, тридцать страниц в день даешь — и в глазах белый свет мутнеет и двоится. Интеллектуальная работа. Полезное занятие, с толком лучшие годы тратятся.

Через пару недель узнаю телефон той редакции, узнаю отчества подписантов радужного того мне письма, звоню солидно: получили ли письмо. Как-же-как-же, спасибо, чудесно, давайте к 1 Мая, и мы это тогда просто в будущем же году издадим. Огромное спасибо, непременно, крайне благодарен, только что не целую.

Дописываю еще несколько вещей, срок висит — непривычно, никогда не просили нигде ничего, нервирует срок. Верчу содержание так и эдак, поудачнее чтоб, поправильнее, поорганичнее, и чтоб не больно круто, не

больно то есть мрачно и резко все это в совокупности выглядело, а то, говорят, «„Молодая Гвардия“ придерживается заголовок „Оптимизм — наш долг“, — говорит государственный канцлер», как писал Кестнер. Ни хрена не получается сильного оптимизма. Тогда сопроводилочку пишу: мол, сделал все согласно всем требованиям, что именно так, как шел у нас разговор, выполнил, то есть, Ваши требования.

Через пару месяцев звоню ненавязчиво, — мол, не потеряла ли почта, а то она неаккуратная такая, клевету по-черному в оправдание своего звонка; спасибо, отвечают, все чудесно, получили, отдали на рецензию, позвоните через пару месяцев, рассчитываем уже иметь рецензию, и сразу в план и в работу. Суперспасибо, простите, всех благ, всех благ.

Боже, чудесно-то как; считаю сроки, считаю гонорар, иду в читалку посмотреть книги того же редактора, тираж смотрю, объем: во, поехало дело, лиха беда начало, скоро нарасхват буду, оценили.

А скоро звонят мне: тут Шевелев приехал из Москвы, в союз заходил, про тебя спрашивал, встретиться хотел, они тебя издавать будут, знаешь? позвони, он в «Олимпиаде» живет.

Навожу справку, звоню: о, искал вас, приходите, когда сможете? чудесно, поговорим, познакомимся. Мою голову, глажу рубашку, одалживаю деньги, кладу в портфель коньяк: покотился.

Улыбается Шевелев и руку жмет, приятен, весóm, рассказывает, кого он вот так нашел и в литературу вывел. Варвик — делатель королей. Через год рассчитываю вас выпустить. Балдею.

И от рассказа о себе переходит к расспросам обо мне. Кто, как, откуда, какие с кем отношения. А как вы знакомы с Залыгиным, что он рекомендовал вас?

И вот тут мой распущенный мысленно павлиний хвост затемнил мне мозги. Мне бы щеки надуть, паузу выждать, полуулыбнуться со смыслом и сказать типа: ну, это старое знакомство, нас с Сергеем Павловичем доволь-

но многое связывает, и чтоб ясно стало, что детальнее лезть бестактно. А я бухаю ему правду неловко как голый зад: что отлили мне жутких комплиментов на одной региональной литговорильне, Залыгин присутствовал, подошел после, руку пожал и книгу просил прислать, когда выйдет. Ну, я прислал, на ответ по занятости его уж безусловно не рассчитывая. И вот уже два года прошло, я и думать забыл, а Залыгин, видите, доброжелательный какой и незабывчивый человек.

И думаю, вижу по лицу шевелевскому ясно: что ж это я несу, болван, кем же я себя выставляю, роняю в прах собственные акции!

Поговорил он еще о нейтральном, а потом с некоторой такой не совсем уключей интонацией спрашивает: «Простите, а кто вы этнически?» Ах ты мать моя, думаю, наконец-то мы дошли до предмета нашего разговора. И смотрит он мне доброжелательно вроде и в глаза, а вроде и взглядом не встретиться, — в переносицу смотрит, как некогда иезуитов учили.

И тут я объясняю ему, что этнически со мной произошло большое несчастье, можно сказать, бытовая такая катастрофа, но поделаться ничего нельзя, смирился уже как-то, бывает, Онегин, я скрывать не стану, еврей, понимаете, что же тут. То есть и в паспорте у вас так же записано? — А что ж там записано — монтигомо ястребиный коготь? и в паспорте, и в военном билете, и везде, где можно записать. Пытался я, мол, обменять одну национальность на две судимости, но — не удалось, предложение превышает спрос.

После тридцати, знаете, как-то легче к этому относиться. Вот лет в четырнадцать, в комсомол нас в райкоме принимали, все хорошо, приняли, первые в классе, молодцы, билеты выписывают, и тут вдруг она спрашивает: национальность! Я даже одеревенел, и деревянным голосом в воздух проговорил: еврей. А следом Марика Лapidу принимали, так он побагровел и выдавил в ответ: «Как у него...» Интересно, она у него до сих пор как у меня, или он с ней что сделать сумел?..

Шевелев, однако, выражением лица понимает, сочувствует, считает это нормальным и выражает всяческое нормальное и хорошее отношение. И вскоре мы крайне дружески расстаемся, и он дружески воспринимает мои речи, имеющие подтекстом трудную мою жизнь, которую я живу не жалуясь и принимая как должное. Звоните, говорит, вскоре.

И через два месяца, копая с археологами остров Березань, добираясь я баркасом до берега, прую по жарнице на почту, плаваю там два часа — жду, когда Москву телефонистка даст, — и Шевелева не застаю. И еще рейс: болен. И еще: отъехал. И достал: нет, рецензии пока нет, не волнуйтесь, давайте через пару месяцев.

Звоню через пару, осень дождливая: нет, еще нет. А что, не прочитал? Прочитал... но не написал? не написал... Не понравилось? да как-то, знаете... мы другому дадим. Звоните. Через пару месяцев.

Звоним через пару месяцев. Нет, не написал, но это не важно, я сам сейчас прочту, это важнее, оно определяет. Н-ну; я понемногу понимаю при всем своем идиотизме, что нефиг тут уже, похоже, определять.

Но опять звоню. Да, говорит, рецензии-то есть... Что, не совсем положительные? Да, вы знаете... но ничего, мы тут еще попробуем.

Плюнул я на эту глупую историю и думать забыл.

Но к 1 Мая приходят две бандероли из Москвы. Иду на почту: вот они, родимые, две мои папки по пятьсот страниц — два экземпляра. Спасибо — вернули ведь!

Пришел, сел, закурил, ножницами аккуратно разрезал — пакет приложен. Письмо. Так мол и так, уважаемый, книга не получилась ни оптимистичная, ни жизне-радостная, как вы утверждали, и нам она не подходит. А также прилагаем две внутренние рецензии, с которыми издательство согласно.

И рецензии. Одна — забавная: автор раз за разом разносит рассказы, завершая: может, такое и имеет право на существование, но он лично не приемлет и рекомендовать не может. Разносит он именно те опусы, которые

год назад в ихней же рецензии Штильмарк поощрял.

Но вторая — о це да. Шрифт портативный, нечищенный, бумага серая, через полтора интервала лупит. Сразу видно — профессионал. И что лупит! у меня сигарета на штаны упала. И скрытое надругательство, и замаскированную издевку, мазохизм и мизантропия, садизм и пацифизм, только терроризма и онанизма там не было, кажется.

Я вначале отказы собирал. На память. Для счета. И чтоб потом показать им же. И т.п. Потом бросил. Чушь. Маразм. Дело делать надо, а не говно коллекционировать. Так что кинул я это в камин, сжег, и фамилии рецензентов близко не помню — на хрена? зачем держать в доме ли, в голове, злые бумаги, не любящие тебя. Еще не хватало.

И уж много спустя рассказал это приятелю одному, — повеселил. Они ж тебя, говорит, не за того приняли.

Я их тоже не за тех принял.

Вот и вся история, как я печатался в «Молодой Гвардии».

И хрен с ними. Жаль только до сих пор — ведь пятьсот страниц сам перепечатывал! Шевелев попросил двадцать листов представить, — естественно, рецензенту тоже заработать надо, ему же с листа рецензируемой рукописи платят, по десятке за лист; так что двое засранцев по две сотни на мне срубили. И хрен с ними.

Переводчики

— Когда читаешь два разных перевода одной и той же вещи — в прозе, я сейчас имею в виду, — кажется, будто переводчик кладет перед собой уже имеющиеся переводы и старается, чтобы ни одна фраза не совпала — хоть словом! — с тем, как она уже была переведена. И думаешь, что и сам неплохо мог бы быть переводчиком, имея уже один перевод — как подстрочник.

— А что ты думаешь? Так оно часто и есть.

— И сплошь и рядом ухудшают то, что удалось предшественнику!

— В этом плане гигант, конечно, Николай Любимов! Мало того, что подгрел под себя французскую литературу и изгадил кучу вещей, так еще поимел репутацию мастера и наставника. Каков был блестящий перевод «Мадам Бовари» Ромма — русский язык по нему писателям изучать можно было! — наш гигант все перепортит: где у Ромма «белевшие на земле щепки» — там у Любимова «валявшиеся на земле щепки» — лишнее, паразитарное слово, чего никогда не мог допустить Флобер. А как перевел некогда Михаил Кузмин «Хронику времен Карла IX»! — наш Колюня и Кузмина похерил, читайте теперь блестящего Мериме в его бестолковой обработке.

— Э... В старом переводе «Трех товарищей» было (Карл — призрак шоссе) — «победоносный навозный жук», в новом — «непобедимый замарашка»... спасибо вам за такой перевод.

— Страшно вымолвить, господа, но мне, глупому, кажется, что и Пастернак был далеко не такой хороший переводчик. Бо ни смака в нем, ни сока, ни раблезианства, ни иронии, а ведь Шекспир, кроме всего прочего, был гениальный кичмен, не боявшийся ни «литературщины», ни «дурного вкуса». «Кто это сделал, лорды?» вопрошает Макбет. Где эта неулучшаемая в контексте, адекватная фраза? Где «мою любовь, широкою, как море, вместить не могут жизни берега»? Пастернак всю жизнь был рафинэ, что и подчеркивал сам утрированно не без пользы для себя, и лучше всего ему, видимо, дались бы переводы французского декаданса.

— Ах, боже мой... Да встречал ли ты в литературных кругах человека, который не подтвердил бы, что слава Гамзатова — это плод удачного сочетания выигрышной социалистически-расцветшей биографии сына маленького народа и хороших стихов Хелемского и Козловского, или Гребнева, кого там еще? по мотивам его нехитрых сочинений, которые никто, кроме аварцев, в подлиннике не читал.

— Ну, расцвет малых и отсталых народов при социализме — вообще особая статья. Своего рода директивная

литература, которой предписано быть и цвести, подтверждая тем учение. И вот — свободные для них позиции в издательских и редакционных планах, и лихие литволки-поденщики пашут по полуграфомании, выколачивая из буквы рубль.

— Я вам, братья, банальное скажу: кто может писать свое — чужое переводить не станет, а кормиться уж лучше ночным сторожем, не свет клином сошелся на литфондовской даче и путевке в Коктебель.

Театр

— Не театр, а недоразумение божье. Режиссерский театр!

Раньше играли что? пьесы. Теперь играют что? спектакли.

Некогда драматург писал пьесу, актеры играли, зрители смотрели что-то новое. А режиссер был как бы начальником труппы, завлитом, администратором и так далее. И была основой театра драматургия. Дважды два, конечно.

Синематограф театр подрезал крепко. Так же как теперь ТВ подрезало синематограф. Смотреть лучшие вещи в лучшем исполнении, не слезая с собственного дивана, — так какой же осел теперь попрется в убогий областной театр наслаждаться хрестоматийным Шекспиром в третьеразрядном исполнении.

Теперь режиссеру драма как таковая не нужна. Ему нужно сырье для воплощения собственного гениального замысла. Литературная основа низведена до роли служебной, вторичной. А главное — засадить все под таким углом, с таким вывертом, чтоб все сказали: «Ух ты! как гениально он это прочитал! / поставил! / увидел! / трактовал!»

Главным конфликтом театра стал конфликт между режиссером и текстом, от которого он отталкивается, как прыгун от трамплина, чтоб навертеть свои сальто и кульбиты. Предпочтительны постановки по нашумевшей про-

зе, и чем труднее перевести ее в театральный ряд, тем больше чести, одновременно и рекламы.

Если может быть колбаса без мяса, почему не может быть театра без драматургии.

Массовость кино и телевидения лишили театр смысла играть уже известное или уже известным образом. Разделение специфики. Или убогое эпигонство, или оригинальность.

Голая городничиха, трясущая сиськами перед Хлестаковым — обычная ныне такая оригинальность. Вскоре мы увидим, как Хлестаков на авансцене трахнет Городничего. Привет Гоголю от Моголя.

— Чехов оказал театру... э-э-э... неоднозначную услугу, гениально давая чувства героев подтекстом обыденных фраз. И поехало: чем дальше текст от подтекста, тем, стало быть, театральнее. Телефонная книга как предмет постановки. Почему не справочник глистогона? Актер вздыхает: «Ох, что-то у меня спина болит», а зритель должен понимать: «Долой царизм КПСС! Да здравствует свободная любовь плюс землю крестьянам!» А если драматург сразу напишет то, что и должен понимать зритель, то режиссеру это на фиг не нужно: в чем же тогда проявляться гениальности его, режиссера?

Поэтому я лично хожу в кино. Пусть театр кризисует и умирает без меня. У каждого свои проблемы.

Будущее нашей культуры

— Похоже — заграничное... Театры, балеты, музыканты — уже живут и работают больше там, чем дома. Киношники, сценаристы, актеры — по возможности тоже хотят там — открытый богатый мир, большие заработки. И если все пойдет, как намечается идти — открытие границ, демилитаризация и превращение агрессивной сверхдержавы в сырьевую колонию — эмигрируют или уедут на заработки на неопределенное надолго двадцать-тридцать миллионов человек...

— Если только Запад границу им не перекроет.

— Возможно... и люди искусства, как многие прочие, предпочитают жить и писать за границей, а в Россию приезжать в отпуск, возить подарки родным, вдохнуть дым пепелов и причаститься истоков.

Нобелевка

— Шведы тоже странные ребята, не усечь мне их логики. Бунин получил премию, а Набоков — нет. Синклеру дали — а Уоррену, написавшему великий, видит Бог, американский роман «Вся королевская рать» — не дали. Неужто Уайлдер был меньший мастер и мудрец, чем Хемингуэй? ерунда. Что, новеллика Акутагавы или Борхеса меньшее явление, чем Зингер? Я уж не говорю о Райте и прочей ерунде. Увы — и здесь ошибки и вкусовщина и всякие внелитературные факторы-с... Прямо даже уменьшается желание получить ее.

60-е, 70-е, 80-е и т.д.

ПРИХОЖАЯ И ОТХОЖАЯ

Рукописи не горят

— Эту булгаковскую фразу знают все (все, кому следует это знать) — но не знают, что за ней стоит: как-то это ускользнуло пока от комментаторов. И хоть тресни — вот не записал сразу, по глупости, и забыл, и никак не вспомнить теперь автора и название книги, и не могу найти концов: кучу историй перерыл. Дело было так:

Вот Испания, и инквизиция, и XV век, и жгут моранов и не моранов, и блюдут чистоту веры. И приходят среди прочих к одному ученому и почтенному раву, и выгребают у него все свитки и пергамент, и устраивают аутодафе, и пусть радуются, что пока жгут не его самого, а только его книги.

Площадь, толпа, костер, искры, палач горящие листы ворошит. И пригнанные евреи стоят у помоста, принимают назидательный урок. И просветленный седой рав, окруженный учениками, отрешенно смотрит в огонь, беззвучно шепчет и улыбается иногда.

И один из учеников, не выдерживая, спрашивает:

— Раби, чему вы улыбаетесь? Ведь горят ваши рукописи, весь смысл и труд вашей жизни?

На что тот отвечает:

— Рукописи не горят — горит бумага... а слова возвращаются к Богу.

Квартирьер Сильвер

— Все нормальные люди читали (уже нет?..) в детстве «Остров сокровищ». Мы его знаем в классическом и отличном переводе Корнея Чуковского. (Знаток английского был известный и Стивенсона любил.)

И вот уже взрослым человеком решил я повторить удовольствие: перечитываю. И в одном месте, по гнусной привычке зануды, задумался...

Одноногий кок Сильвер рассказывает молодым матросам, которых склонил к пиратству, кем он был и чего стоил когда-то... «Вся команда как огня боялась старого Флинта, а сам Флинт боялся одного только меня». Ничего самохарактеристика.

Кто помнит, как назывался корабль капитана Флинта? «Морж». А кто помнит, кем был на этом корабле Сильвер — еще молодой, с двумя ногами? Это вспоминают редко. Ну? — здоровый, сильный, храбрый, жестокий? Нет? Квартирмейстером он был!

Ребята — с чего бы? Почему самый крутой головорез на пиратском корабле, которого боится сам капитан этого отчаянного сброда, числится по судовой роли квартирмейстером?

И что делает квартирмейстер на пиратском корабле? Квартиры раздает? Так каюты только у капитана, штурмана, главного канонира, по закутку у боцмана, плотника и кока — прочая матросня живет в кубрике или двух кубриках, либо же просто подвешивает на ночь парусиновые койки на батарейной палубе, как было заведено в тесноте на военных парусных судах. (Размеры-то были маленькие, а народу на паруса и пушки требовалось до черта. Даже линейные трехпалубные ста-стадвадцатипушечные корабли конца XVIII — начала XIX века имели длину порядка 50 метров, а экипаж на них доходил до семисот человек, и тысячи, и почти до полутора доходило на стасорокачетырепушечных громилах первого ранга, и сельди в бочке жили просторнее, чем они. А в XVIII веке сравнительно быстроходное и вооруженное

артиллерией судно, годное пиратам, имело водоизмещения не полторы-четыре тысячи тонн, как эти пузатые гиганты — а двести, четыреста, максимум семьсот. А народу требовалась хотя бы уж сотня человек — на паруса всегда плюс на пушки или для абордажа в бою. Нормальная команда такого судна — не менее полутора-двух сотен. Какие каюты!)

Я полез в словарь и удостоверился, что *quartiermeister* (нем.) ведает распределением военнослужащих по жилым помещениям. Похоже, хитрюга Сильвер сумел выбить себе непыльную должность.

Но. Но. Он был не совсем *quartiermeister*. В оригинальном тексте он был *quartermaster*. Ну, потому что по-английски, а не по-немецки. Вот такая незначительная, чисто языковая разница в написании.

Однако. *Master* по-английски — это начальник, старший, хозяин, командир. «Мастером» на многих флотах (неофициально — и на российском поныне) называют капитана. А «квартир» — это четверть, четвертак, четвертый.

А «квартирдек» — буквально «четвертая палуба» или «четвертьпалуба». Своего рода надстройка над верхней батареей палубой. И помещалась она на юте не всегда. А в XVIII веке поднималась уступом непосредственно позади изогнутого выступа форштевня, за креплением в корпусе бушприта, и занимала значительную часть между фоком и гротом, первой и второй мачтами. И расположена была, таким образом, на уровне скулы и за ней, вдоль носовой выпуклости борта и начала его ровной продольной линии.

Именно этим местом корабль прежде всего касался корпуса противника, сближаясь и сваливаясь с ним в абордаже. Отсюда прежде всего перепрыгивали на вражескую палубу. Здесь собиралась перед сваливанием абордажная команда.

«Квартирмастер» Джон Сильвер был командиром квартирдека, то есть абордажной команды! На корабле пиратов он командовал отборными головорезами, авангардом, морским десантом, группой захвата!

То есть: по должности он был главный головорез. Вот сам Флинт его и побаивался. И был этот первый боец команды вполне на своем месте. Вот вам и «квартирмейстер». Нюансы различий немецкого и английского правописания...

В истории художественного перевода много таких смешных блох: поколения читателей как-то свыклись с ними и не замечают. Что вам Чуковский, специалист по истории парусного военного флота, что ли.

Два слова о коммерческом переводе

— Не том переводе, которым деньги, а том, который для денег — с английского, как правило, на русский коммерческой литературы. Не той литературы, которая про коммерцию, а той, которая издается ради прибыли. Более или менее массовая, стало быть.

Переводчику платят с объема, и платят мало. А «качество» никто не проверяет, и никому оно, строго говоря, не требуется. Потребитель и так схавает: чего с балды взять, полагает издатель. Имя раскручено? — купит. И блестящее качество перевода спрос не повысит, тираж не увеличит, прибыли больше не даст. Так нечего переводчику переплачивать, и нечего много от него требовать.

И трудяга-переводчик стрекочет по клавиатуре и порхает пальцами и мыслью, как сын дятла и бабочки. И по десять страниц в день лудит, и по двадцать, и больше некоторые выгоняют, и мы имеем то, что имеем. Параперевод сублитературы.

Но некоторых книг все же жалко. Скажем, Мак-Линн был хороший писатель.

И вот у него в одном месте корабль запускает истребитель, вооруженный катапультной. Представьте себе, скажем, «спитфайр», у которого сверху пристроена такая древнеримская метательная хреновина с булдыганом, заряженным в ковш огромной ложки. Сюрреализм!

В оригинале все нормально: оснащенный катапультной

корабль выстреливает ею в воздух самолет (разведчик). Переведя все слова, дама-переводчик посильно связала их грамматически быстрыми хирургическими узлами. Еще так ткачихи-станочницы молниеносно и автоматически связывают порванные нити.

— Хе! Когда-то у нас роман Митчела Уилсона «Живи с молнией» перевели «Жизнь во мгле». Правда, это уже была идеология.

Философия для образованцев

— Общеизвестно, что «Легенда о Великом инквизиторе» Достоевского — образец философской глубины. В эту глубину я пытался нырнуть полжизни, аж гирию на ногу и камень на шею привязывал. Не ныряется. Где глубина мысли-то? Пока не дошло — что: в эпоху специализаций филологи не читают философии, а философы — литературы. По разумению филолога, «Легенда о инквизиторе» — глубокая философия на общем фоне прочей литературы, а по мнению философа — его мнение о ней просто не просвещено. Глубина увидена и создана филологами, сравнивавшими философию «Братьев Карамазовых» не с Кантом или Декартом — они их не читали, — а с письмами Чаадаева или Монтескье. Так что не надо пытаться увидеть в «Легенде» философскую глубину относительно уровня философии вообще. Это глубина относительно уровня беллетристики.

— Однажды я всю осень читал Кастанеду. Я его читал всеми способами. И тоже искал глубину. Я нырял и бился головой о бассейн, в котором не было воды. Пока до меня тоже не дошло. Умных и образованных людей мало. А полагающих себя таковыми — много. Вот для таких он и писал. Человеку свойственно хотеть знать, как устроен мир и как жить, чтобы правильнее и лучше. Настоящая философия сложна образованцу. А Кастанеда — то, что надо: все просто и на пальцах, даже думать не надо. Это такая массовая субфилософия, парафилософия для толпы с полумозгом и полупретензией.

— А еще есть парафилософ для образованцев — Ричард Бах. Притчи для бедных умственно. Этот бродячий проповедник нового времени как раз удовлетворяет представлению толпы о том, каковой надлежит быть «вумной и хвилосовской прозе». Массокульт для желающих причислить себя тоже к интеллектуальной элите. А ведь таково большинство покупателей некоммерческой прозы.

— Беги толпы. Беги толпы. Каждый контакт с нею портит твою жизнь.

«Классика должна быть скучновата»

Вот уж пошлая сентенция. Вот уж заблуждение полунинтеллигентов.

В идеале от книги требуются три вещи:

1. Блеск языка.
2. Глубина мысли.
3. Сила чувства.

Невредны еще две вещи:

4. Яркость картинки.
5. Интересность сюжета.

При наличии этих пяти моментов книга не может быть скучной никаким каким. Ну — не все классические произведения таковы.

Язык в большинстве случаев устаревает с веками или быстрее — и становится архаичным, неестественным и трудным для восприятия. Поэтому классика существует «живьем» только для настоящих любителей литературы. На прочих она может воздействовать лишь косвенно, через формирование всего литературного потока, достигнутого читателя современными произведениями.

Нельзя сказать, что читать Достоевского скучно — читать его трудно, ибо язык его ужасен и трудноперевариваем. Эта работа по переводу корявого многословия в мысли и чувства большинству читателей трудна, неприятна, излишня, надоедлива. Сегодня это писатель для «профессиональных читателей»: кто въехал — мыслей и чувств там хватает.

Скажем иначе: «Классика скучна для большинства». Вот это во многих случаях чистая правда. Во-первых, по устарелости языка. Во-вторых, по чуждости материала. Фиг ли нам эти мертвые души, дай-ка сегодняшние дела, реальные.

Философское сочинение большинству непереносимо скучно и в общем бессмысленно. Кто философию знает, интересуется, любит — будет на одном ловить кайф, на другом кипеть от несогласия, третье отбросит за глупостью: но скучно ему не будет.

В классику попадают двумя путями: кричат «ура» сразу или вытаскивают и поднимают из потока потом. Но в обоих случаях классика перед канонизированием вызывала живой интерес. У всех? Нет — в первую очередь у знатоков, профессионалов, ценителей и любителей. Они всегда правы? Нет, все смертные могут ошибаться. Есть ли в пантеоне классики плохие книги? Гм. Так сразу не назовешь. Да пожалуй что и нет. Ну, а все ли классические произведения гениальны и шедевральны? А вот уж тут фига.

Человека известили (в школе): эта книга гениальна уже потому, что она классика. Чего ждет человек? Откровения. Блеска, кайфа. Открывает. Не находит. Скучает. Плюет. Уважает, но не читает: а не любит! Скучно.

Господа. Книга не может быть скучна или интересна сама по себе. Сама по себе — она лишь набор черточек на бумаге. Скучной или интересной она становится в процессе чтения конкретным читателем.

И «Собор Парижской Богоматери», и «Отец Горио», и «Красное и черное», и «Ромео и Джульетта» могут быть многим скучны.

Каждый мерит по себе, вот и весь фокус, часть первая. Воспитанным на комиксах и «Три мушкетера» скучны. Серьезно высоколобому и Кант интересен.

А вот вторая часть фокуса. Книга явилась в литературе ступенью и вехой, реформировала родную литературу и язык. А потом все так стали писать, это стало обычным, нормальным, иначе уже и невозможно. О вехе следует знать. Зачем? Ну, чтобы иметь представление о процессе.

Конкретному человеку знание этого процесса на хрен не нужно, откровенно говоря. Не нужен современному человеку — среднему — «Евгений Онегин». Иностранцы о нем не слыхивали, а живут, и некоторые неплохо.

Но. Так передается культура. Так копятя человечеством знания. Стараются передать потомкам все, отстоявшееся как ценное. С веками что-то из этого все равно канет. А что-то пригодится кому-то, чтобы развить. Передача знаний — это неводом да в самосвал, а не удочкой в бидончик. Кого тошнит в школе от Пушкина — терпите. Окончите — можете забыть. Кому надо — не забудет.

Еще. Книга существует только в общем контексте эпохи. Надо знать пушкинскую эпоху, чтобы оценить сделанное им. А для девственно невежественного читателя он обязательно будет скучным — да сегодня многие пишут занятнее, понятнее, интереснее, и такой малопросвещенный ум больше извлечет для себя из бульварной книжонки, чем из Пушкина. Так не читай!

А ему велят читать. Мучат. И он, стараясь уважать «культуру», оправдывает классику: «она должна быть скучноватой». Она когда-то — вся! — была современной. Скучное отбрасывали.

Откровенность мне вредит, но поздно учиться притворяться, притвор и без меня полно. Я никогда не видел в «Мертвых душах» хорошей книги. Никогда не мог уловить в Гоголе юмора, ну ни разу же улыбнуться не хотелось. Архаика, неуклюжесть, многословие. Куда там «Ревизору» до блестящего Грибоедова!

Был блестящий юморист Зоценко. Жив блестящий юморист Жванецкий. А кто был юмористом во времена Гоголя? Смотришь сейчас — а никто. Да — французы и англичане были раньше и лучше. Но в России — Гоголь, можно сказать, юмор в литературе заложил, с него все это пошло. Он скучен — на взгляд с нашего сегодняшнего юмора, краткого, развитого, неожиданного. Его горе. Устарел для живого чтения. Наше горе — язык реформировался, многие классики отошли в генералы истории. А английский Диккенс — и сейчас смешон, изы-

щен, тонок, легок (правда, не в переводах на русский).

То есть. Все устаревает. И многое в классике — формально устаревает. И процесс «реставрации» классического текста навевает скуку на среднего читателя. Но это не «классика должна быть скучноватой»! Живой была, из рук рвали!

Еще. Языки устаревают быстро. Ну — несколько веков, вот и архаика. А мысли не устаревают вообще. Кроме того, Аристотель справедливо заметил: «Мысль, высказанная в блестящей форме, теряет половину своей глубины». Коряво — но главное в сути должно быть. А имеют в виду, что классика должна отличаться глубиной мысли прежде всего. Достоевский, опять же.

Граждане — а какая глубина мыслей в «Декамероне»?! Скабрзные байки. Классика! Почему?! А потому что за Средние века людишки так озверели — церковь так всем кислород перекрыла, глотку и промежность так всем зажала — что сальная шутка стала актом протеста, свободы, отрицания клерикальной культуры, прорывом к живому, человеческому, естественному. Сейчас такой «Декамерон» никому не нужен — а тогда это был скандал, событие, бунт! А вот шедевральности мысли и слова там искать не надо — нет их и не было. Но — нескучно!

Скажем иначе. Многое из классики с годами и веками скучнеет и выходит из живого оборота. Печально, но так идет жизнь. Но скучноватость — отнюдь не обязательный признак классики. В основе своей классика всегда была интересна! Но и другого не надо — пыжиться, что вся она интересной осталась «вживе».

Элитарная и созидательная

— Заметьте: ни Диккенс, ни Гюго, ни Толстой элитарными писателями не были. У них было достаточно много читателей, порой — ну совсем много. И слава была... универсальная.

— «Элитка» — явление и порождение авангарда, модерна и постмодерна. Своего рода «постлитература».

— С таким же успехом можно именовать фекалии «постедой».

— Без пошлостей! Я попрошу-ка.

— Во главу угла элитарной литературы поставлена формальная оригинальность и высокая степень трансформации реальности — на базе учета и переработки литературы предшествующей. Так проявляется высокая степень мастерства — так умелец пишет письмо на срезе рисового зерна.

— И так исчезает прицел на мысль, чувство, блеск и создание нового своего мира. По сути, вся «элитка» — это римейк, сиквел. Это переставляют мебель и переклеивают обои в доме, уже созданном до тебя и обжитом жильцами.

— Все сферы в XX веке дробились и специализировались. Элитарная литература — для профессионалов, знатоков и любителей: они ловили кайф на том, как это сделано. Расширение возможностей.

— Креативности в ней нет. Нет героев, бунтов, высоких трагедий — и комедий кстати тоже. И вообще писать занудно и невнятно гораздо легче, чем увлекательно, мощно и просто.

— Шекспиром быть не могу, Трифоновым не соблаговолу: я — модернист.

— Пусть цветут десять тысяч цветов. Но зачем объявлять вывих неповторимой индивидуальностью походки?

— Увы: модернистский балет как бы оригинален и сложен, свеж относительно классического — а по сути примитивнее, проще, беднее.

Культовое

— Этим словечком «культурологические» СМИ расписались в заведомой ориентации на паракультуру низколобых. Слово «культ» как-то в течение девяностых сменило отрицательную стилистическую окраску на положительную. Если раньше это означало примерно «бездумно и некритически превозносить до небес и религиозного

поклонения», то теперь скорее «знаменитый, знаковый, которого почитают». Культовое кино, культовая книга, культовая песня... сотворение мини-кумиров для ежедневного обихода.

— И чего, собственно, плохого? У каждой эпохи своя лексика, свой условный стиль. Cultus и означает «почитание». Ведь вправду же говорят: «Я преклоняюсь перед этим режиссером/певцом/писателем/художником» и так далее.

— Ага. Визжащие фанаты, заемные мнения, эрзац-мысли и эрзац-страсти. Это все из области субкультуры, где господствуют субэстетические субкритерии. Есть мнение: считать вещь культовой.

— Не устраивает вот что. «Культовый» означает: не надо думать — положено восхищаться.

— Вот именно. Слово емкое и характерное. Не «блестящий», или «гениальный», или «знаменитый». «Культовый» отрицает самостоятельный подход, отрицает эстетическую, моральную или какую-либо иную оценку, не обращает внимания на вклад в культуру, или что там это дает для ума и сердца. Лэйбл, этикетка, ценник на рынке потребления искусства: «культовый»? — занимает место в мозгах потребителей, место в креслах первого ряда. А почему занимает — не важно, плевать. Раскрутили, или наскандалили, или гуру так поучили, или массы сами увлеклись, — не суть. Это — в мозгах и на устах, вот и довольно информации.

— О! «Культовый» — это высокое место в информационном рейтинге. Это не оценка — это констатация частоты цитирования и обращения.

— Это еще и как-то эстетически оформленная искусственная точка приложения эмоций потребителя. Чем «культовее» вещь — тем в общем больше эмоций она вызывает у масс.

— А можно сказать иначе: тем больше эмоций толпы, нуждающихся во внешних точках приложения, прицепляются к «культовой» вещи.

— Еще вариант: «культовый» — это то, чему придают большое значение. А почему придают — уже не важно.

— Категорически не устраивает меня вот что. «Культурный», как ни верти, означает: мы это не анализируем, не критикуем, но сообщаем — это очень знаменито, и это хорошо. Присутствует момент высшей оценки вещи — но без анализа, без мысли, без самостоятельного подхода. «Культурный» — и финиш! Плевать, что творец кретин и народ дурак. Не надо думать — достаточно поклоняться.

— То есть. Оттенок похвалы, признания, поклонения — принципиально без вникания в суть. Определение эпохи массовых субкультур и информационных технологий. «Пушкин написал культурный роман в стихах» — как вам?

Тусовка и диктатура

— Я долго пытался уяснить, из кого состоит московская литературная тусовка. Она ведь во многом определяет и формирует общественно-литературные мнения и вкусы. Расспрашивал знакомых и специально посетил несколько тусовок — увидеть.

Получилось примерно следующее. Критики. Редакционные сотрудники: главные редакторы некоторых изданий и замглавные, заведующие отделами литературы и искусства. Отдельные писатели, принимающие личностное участие в «живом литературном процессе» и хэппенингах вокруг него. Журналисты про литературу и вообще культуру. Функционеры разных культурных и литературных фондов. Несколько социальных ролей часто совмещается в одних лицах. Координаторы и члены жюри разнообразных премий.

Объединяет их, кроме понятного совпадения жизненных интересов, либерально-демократическое мировоззрение и, как бы это точнее выразиться, современность эстетических представлений. То есть все это люди мыслящие, свободомыслящие, продвинутые, образованные, сторонники и отстаиватели свобод слова и мысли, и вообще всяческих свобод и прав личности. Враги тоталитаризма

и единомыслия, непримиримые противники цензуры и вообще насилия над личностью. Можно сказать — люди передовых, гуманистических, широких взглядов.

И что характерно. Широта этих взглядов категорически не включает в себя ничего инакомыслящего по отношению к ним. Инакомыслие они категорически не приемлют, отрицают, ненавидят. Инакомыслию отказано в праве на существование. Если по какому-то вопросу ты имеешь иное мнение — это не просто неправильное мнение, но мнение плохое, интеллектуально неполноценное и морально сомнительное. Вот таким диалектическим кульбитом свобода превращается в монолитное единомыслие, нетерпимое к любому диссидентству.

— Если принять во внимание, что латинское *dissidens* и означает несогласный, противоречащий, инакомыслящий — это делается забавным. То есть: мы не за любое инакомыслие в принципе — мы исключительно за наше единомысленное инакомыслие.

— Ага. «За нашу победу!»

— Такая мелочь: сказал я как-то вскользь, что по моему сугубо личному мнению не есть Фолкнер большой и гениальный писатель. Так Саша Минкин (понятия не имею, входит ли он в «тусовку», но либерал известный) потом долго белел и шипел, как облитый холодной водой самовар, что я много себе позволяю и неизвестно что о себе мню. Не смеешь ты иметь своего мнения, понял! Есть два мнения: одно наше, все приличные люди его придерживаются, — а другое неправильное.

— Милые мои... Так это в прежние времена и называлось забытыми словами «групповщина», «клановость», «кружковская идеология» и тому подобное.

— Но откуда эта нервная нетерпимость к инакомыслию? И как она может совмещаться с либерализмом воззрения? Если у человека есть догмы, кумиры, фетиши, и он не в состоянии признать за любым другим человеком любое другое — равноправное — мнение, то он же просто упертый тоталитарист! Если это иное мнение не покушается на устои общечеловеческих ценностей, но

носит сугубо эстетический или интеллектуальный характер, — ну так и кому какое дело? Ты думаешь так, я эдак, и разговаривать интереснее.

— Может, это просто зависть?

— А может, ревнивая охрана своего положения — замкнутости круга избранных, умственно-эстетически привилегированных?

— Получается, однако, так. Объявляющий себя инакомыслящим человек гордится своим положением и убеждениями инакомыслящего — а на самом деле нетерпим к любому инакомыслию. Это просто вариант тоталитарного мышления, тоталитарного мировоззрения. Как всегда: мое мнение хорошее и правильное — другое нехорошее и неправильное, и лучше бы его вообще не было.

— Как склочны и болезненно ревнивы были всегда и везде люди искусства!

— Примерно так же, как все прочие люди. От гениев до тупиц и от крестьян до генералов.

— Декларировать демократию на словах и выгрызать на деле все, что лично тебе не нравится.

ЧЕРНИЛА И БЕЛИЛА

ЛЕДОКОЛ СУВОРОВ

После «Ледокола» история Второй Мировой войны в прежнем виде не существует.

Сидели за литровой бутылкой: полковник, журналист, военный историк и писатель. Каждый предпочитал лезть не в свое, так что авторские ремарки после прямой речи бессмысленны: «кто сказал» и «что сказал» перемешались в крошку. Все — стратеги.

— Ведь ничего принципиально нового Суворов и не сказал. Помню, еще студентом читал я «Записки заместителя начальника Генерального штаба» генерала Штеменко. Шестидесятые годы, советские мемуары, военная цензура, все в порядке. И вот: сентябрь 39-го, освобождение Западной Украины и Западной Белоруссии. Входим в Польшу. Едем ночью в «эмке» к месту назначения. Кажется, сбились с пути. Стоп: начинаем разбираться в карте. Заблудиться — не стоит. Боимся заскочить за демаркационную линию к немцам.

Эге, думаю: как так? А? Еще бои идут у немцев с поляками кое-где. Еще мы с немцами не встретились, не сошлись. Еще никаких совместных советско-немецких парадов победы в Бресте не было. А демаркационная линия — уже есть!!

Значит — заранее провели? Значит — еще до встречи договорились, кому что? Значит — заранее была проведена

граница? Значит — был, что ли, предварительный сговор, тайные протоколы к пакту «Молотов — Риббентроп»? А уж так мы их отрицали!

Проколотся генерал-полковник Штеменко. Прохлопала военная цензура. Опаньки! Поделители с немцами Польшу еще до 1 сентября.

Вот тогда до меня доходить и стало — что мы точно так же, как немцы, хапали все, что могли. И верить официальным версиям невозможно.

— Дорогой мой, ну как же можно было и до этого верить официальным советским версиям? Вся Прибалтика отлично помнила, как в 40-м году происходили «революции» и «приглашались» красные войска. Берешь толстенный том «Советская Эстония», раскрываешь раздел «История», листаешь до 1940 года — и кушаешь пилюльку: ветеран вспоминает: «Мы знали, что вскоре будет революция!» Не «готовили», не «боролись», а «знали!» И как одновременно, как вовремя три эти революции произошли! А вот и фото счастливой встречи населения с попрошенными освободителями: жидкие цепочки на тротуарах, и то на один квартал лишь хватает, и кучка активистов у головного танка с транспарантом. И все яснее ясного: нормальная оккупация, прикрытая для приличия фиговым листком.

Чтобы врать — нужна голова как у лошади: большая. Обязательно всякие несуразицы наружу вылезут.

— Почему Сталин до последнего запрещал сдавать Киев? Да потому что по всем военным законам немцы не могли его взять!!! Наступающий должен иметь трехкратное численное превосходство над обороняющимся — это закон старый. Один в землю врылся, местность пристрелял, запас накопил — другой прет на него по чисту полю, уязвимый для всех видов огневого воздействия. Так преимущество по всем видам было под Киевом у нас, обороняющихся! Нас было больше, а не их! И что? Разнес нас фриц в пух и прах!.. Жуков-то уже хоть знал, что воевать мы не умеем, а до товарища Сталина все не доходило, что войск вроде много — а толку мало.

И сразу вопрос: а на хрена же собрали столько войск и чему их учили? Если наших больше, а обороняться они не умеют — для чего их столько и что они умеют?

— Погодите. Будем справедливы. Суворов — человек упертый. Во всем видит только советскую агрессию. До абсурда доходит. Вот он пишет с нажимом про БТ: «танк-агрессор». Понял, да? Агрессия уже на уровне проектирования техники. А про «танк-защитник» ты когда-нибудь слышал? Мирный советский танк с пушкой для самообороны, ага.

Да танк — любой — это в принципе оружие наступательное, оружие прорыва, взлома обороны, наступления. И Суворов это отлично знает. Но никак ему не удержаться от передергивания: смотрите — все, что было у СССР военного, было исключительно для агрессии.

— А с тяжелыми бомбардировщиками? Мол, построили бы мы тысячу «Пе-8», и могли бы одним рейдом обвалить на германские тылы пять тысяч тонн тротила, это пять килотонн, это уже атомная бомба, — и хана Германии, и подавили бы мы первой же ответной бомбардировкой немецкую мощь, и обрекли на провал немецкую агрессию: вот лучшее оружие обороны! Но Сталин отказался от стратегических бомберов — не ждал нападения, сам хотел нападать, и все средства вложил в самолеты нападения, сопровождения своей армии вторжения.

Ну, во-первых, в пятитонной бомбе тротила не пять тонн. Основной вес приходится на корпус сталистого чугуна. Да и в любой бомбе взрывчатка весит лишь меньшую часть. От силы 20%. Так что не пять килотонн понесет эшелон в тысячу машин, а только одну. Но это — мелочь.

А вот во-вторых: союзники за войну наклепали 30 000 (тридцать тысяч!) стратегических четырехмоторных тяжелых бомбардировщиков. Но «выбомбить» Германию из войны не смогли. Довоенная «доктрина Дуэ» себя не оправдала. Так что наша одна тысяча ничего бы не решила, и Сталин, получается, был прав.

В-третьих: прав он был не от избытка агрессивности,

а от недостатка мощностей, материалов и двигателей на все военные программы. Пять тысяч потребных двигателей (потому что пятый стоял в фюзеляже для наддува на высотах в остальные четыре) съела истребительная и бомбардировочная фронтовая авиация, потребность в которой была острее, настоятельнее.

— Суворов вообще — принципиальный перпендикуляр. Ищет ложь во всем, опровергает все утверждения, что были до него, и впадает сплошь и рядом в бред сам. Вот одна из устоявшихся версий: перед войной истребили свои командные кадры, поэтому воевали хуже и потери несли больше. Нет, говорит Суворов! Вот читайте дневники Геббельса от весны 45-го: «Плохи наши генералы, вот русские генералы лучше». А отстреляли бы немцы перед войной, как товарищ Сталин, четыре тысячи бездарей в генеральских погонах — глядишь, и у них бы генералы нашлись получше, говорит Суворов.

Во-первых, плохому танцору генералы мешают. Пока, значит, в 41-м — 42-м немецкие генералы били и гнали превосходящего противника — они были Геббельсу хорошие. А когда в 45-м уже не могли сдерживать многократно превосходящего противника — стали плохими. Надо же найти виноватых в поражении! Не сама же нацистская верхушка политически проиграла войну!

А во-вторых — ну не было у немцев четырех тысяч генералов. Не Россия. Все командиры дивизий, корпусов, групп, их заместители, штабные аппараты — и половины столько генералов не наберется. Это пришлось бы расстрелять всех, и еще полковников прихватить. Это большая потеря для нас, что Суворов не родился раньше и не работал до войны главным советником Гитлера.

— Раньше писалось, что у нас в начале войны техника была хуже немецкой? Ну так он пытается утверждать, что немецкая была хуже, плохой была и глупой. Оригинальность! Неожиданность! Создание скандалов, перевороты в истории, привлечение масс читателей! Да он же просто шоумен от военной истории. Жириновский сорок первого года!..

Вот сверхпушка «Дора» обстреливает Севастополь. Да: можно считать, что расходы по ее созданию, транспортировке и охране себя не оправдали. Однако знаменитую 30-ю батарею она все-таки уничтожила: снаряды прошли толщу брони и бетона и разрушили башни и казематы. Суворов это, очевидно, знает, но умалчивает.

Зато пишет другое. Во-первых, стреляли по карте, артиллеристы цели не видели, такая стрельба не может быть точной, эта пальба по квадратам неэффективна: обалдуй эти немцы! Суворов придушивается, что не знает о стрельбе с закрытых огневых позиций, об арткорректировщиках и артрязведчиках, и так далее: якобы он не слышал об азах артиллерии.

Во-вторых: и от снарядов-то «Доры» и «Карла» толку не было даже при попадании! Вот свидетельство, вот в книжке воспоминаний написано: огромная нора вглубь земли диаметром в диаметр суперснаряда, и круглая пещерка внизу: туда и ушла вся сила разрыва. Ну чудо, а не офицер разведки! Такой тип разрыва называется «камуфлет» — когда снаряд, особенно с фугасным взрывателем, замедленным, по крутой навесной траектории входит глубоко в мягкий или зыбкий грунт, гасящий разрыв. Это может быть и с семидесятипятимиллиметровой гаубицей при большом угле возвышения, если снаряд попал в мягкий луг или торфяник, скажем. Для «Доры», долбящей трехтонными фугасами железобетонный укрепрайон, попадание в мягкую землю — все равно промах, и незачем выбрасывать наверх вагон земли. А вот при попадании в укрепленную и заглубленную в землю преграду — хана бункеру с трехметровым бетонным колпаком, спрятанному на пять метров под землю. И знает это Суворов отлично — просто удержаться не может, чтоб свою линию не гнуть.

— Жаль, что подобные передергивания заставляют людей вдумчивых сомневаться вообще во всем, что Суворов написал.

— С точки зрения серьезных военных историков Суворов вообще оперирует какими-то произвольными домыслами. Достоверных, задокументированных и проверенных

фактов у него нет, вот и фантазирует по собственному усмотрению.

— Ах, с точки зрения военных историков? А кто такие эти советские военные историки? Наемные чиновники, которые за зарплату приводят историю в соответствие полученному приказу и идеологической установке. Как прикажете — напишем, так точно! Что нас было меньше, и техника была хуже. Или что нас было меньше, но техника была лучше, но вероломное нападение застало нас врасплох. Или что немецкие потери были больше. Или равные с нашими. Или наши больше в три раза. Те же люди — писали то одно, то другое, и за все получали звания и премии. Дармоеды и демагоги!..

— М-да, вышло уже несколько толстых книг, опровергающих Суворова, но интерес к ним исчез мгновенно, а Суворова читать продолжают. Книжонки опроверженцев-то вообще дешевые.

— У Суворова можно опровергнуть многое. Подтасовщик, фантазер, спорщик, нонконформист, называйте как угодно...

Но главное — остается, и оно неопровержимо! Оппоненты стараются самые неопровержимые места у Суворова обходить, умалчивать.

Ответьте: зачем в июне 41-го мы разминировали пограничные мосты?! Если сами готовились к наступлению — логично, ясно, правильно. Но никакого, ни одного другого объяснения просто нет!!!

Зачем перед войной стали ликвидировать задолго созданные партизанские базы в своих лесах?! Армию увеличиваем — а возможность партизанского движения уничтожаем. Это подготовка к чему?!

Почему было в достатке карт чужой территории — но не было карт на территорию собственную? Это предусматривает оборонительную войну?!

Почему заранее готовили и тиражировали военные плакаты, разговорники, даже песни?! Так к чему готовились? К войне? Но к обороне были не готовы? А к чему? Ага...

— Сталин справедливо полагал, что Гитлер не самоубийца, ввязываться в войну на два фронта — явное поражение. А вот Англии было куда как выгодно столкнуть Германию с СССР, и пусть истощают друг друга. Как тут верить предупреждениям Черчилля, лица крайне заинтересованного? А Гитлер рассудил, что напасть первым — единственный шанс, меньшее из зол, если Союз ударит первым — конец — быстрый и неминуемый. Все логично.

— Бросьте. Образец суворовской клюквы — «Аквариум». Книга для тех, кто ничего не знает об армии и СССР. Для западных дурачков и любителей горяченького. «В случае опасности старший группы обязан первым делом шифровальщика убить, а блокнот уничтожить». Такую информацию от всех и надолго не засекретишь. И тогда в случае опасности первым делом шифровальщик будет убивать старшего группы.

— Да. Это не документ. Это армейская романтика. Но из нее многие и о многом узнали впервые. Ведь даже аббревиатуры ГРУ раньше не слышали!

— И все-таки, и тем не менее. Суворов первый и единственный сделал удачную и всеобъемную попытку понять и объяснить, что же и почему произошло к 22-му июня 41-го года. Ни одна другая теория критики не выдерживает. Его — объясняет все. Если это неправда — почему никто другой не говорит правды, которая хоть походила бы на правду? Прикиньте все сами: конечно, так оно и было, ребята. Просто нам долго морочили головы, загаживали мозги.

А что касается его мономании — все лыка вязать в одну строку — это уже психология. Это типично для всех людей, разработавших и пустивших в мир новую и сильную идею. Идея захватывает их, и все предметы они уже видят в ее свете. Весь мир их постоянно интересует прежде всего под углом зрения их сверхценной идеи. Все, что возможно, они трактуют в ее пользу и поддержку. Тут перегибы неизбежны. И Дарвин, и Маркс, и Фрейд — все этим страдали. Это нормально. Перегибы потом отыщут и поправят последователи и изучатели.

Зато насчет главного этим частым неводом будет выловлено все, что только можно. Вот вместе с рыбешкой и мусор загребается.

— Наливай по последней за перебежчика Резуна. Предателей было много, а великая нешкурная идея нашлась пока, вроде, только у одного. Мужик не так слабо заплатил за свою славу и бабки.

СЕМЕНОВ И ШТИРЛИЦ

1

«Пинь-пинь-тарарах!» — высвистывал дед.

Это написано на первой странице «Семнадцати мгновений весны». Штирлиц вспоминает, как его дед приманивал синиц.

Звукоподражание — отдельный и сложный предмет. Передача его на письме специфична. Синичий посвист передается таким образом только еще в одном произведении русской литературы. Это «Голубая чашка» Гайдара.

Отсыл к романтико-патриотическому рассказу можно считать сознательным или бессознательным — но трудно списать на случайное совпадение. Романтик и патриот Юлиан Семенов двигался по той же дороге.

Второе совпадение уменьшает возможность случайности. «Балки солнечного света», — пишет Семенов в другом месте. Этот редкий оборот также встречается у предшественников, и также только в одном месте. В «Бегущей по волнам» Александре Грина. Чистый приподнятый романтизм.

Романтическая, литературная условность книги о разведчике и войне заявлена сразу. Посвященному указывается на многослойность и многозначность текста. Непосвященный проскальзывает незамеченные намеки без помех, они не мешают существованию и восприятию лицевого уровня.

В первой же фразе «боевика» в саду поет соловей. Соловьев в литературе мириады, и символика их общеизуче-

на. Желаящий может вспомнить и тех, которые «соловьи, не тревожьте солдат» — когда-то песню помнили все.

Книга не так проста и однозначна, как может показаться массовому читателю. Фабулой дело не ограничивается.

2

«По-настоящему» она начинается с десятой страницы фразой: «Штирлиц убил Клауса выстрелом в висок». Штирлиц не тот, за кого мы его вначале принимали. Повествование расслаивается. Все интереснее, сложнее и богаче, чем мы было подумали.

«Семнадцать мгновений» написаны в 1968 году. А четырем годами ранее вышел роман Стругацких «Трудно быть богом»: к 68-му году Стругацкие были уже знамениты. И начинается эта фантастика по-настоящему, неожиданно и многослойно, с 9-й страницы первой главы: «Ну, мертвая! — сказал он по-русски». На некой планете со своими делами некий герой дон Румата оказывается русским — в этом все дело.

Семенов вряд ли мог не читать Стругацких. Совпадение приемов можно считать бессознательным, «не специальным». Но материал сам говорит за себя: соответствующий подход диктует соответствующие приемы. У одних философско-приключенческая фантастика — и у другого то же самое.

90-е годы показали нам, что такое «чистый боевик», автор которого обычно малограмотен, а философских аллюзий не обнаружишь даже посредством буровой установки. В «Семнадцати мгновениях» кассета смысловых пластов смещена и развернута, как карточная колода смещает ровный край, являя возможность развернуться в веер.

3

В советской традиции методом изображения фашиста был шарж. Фашист был мерзок, глуп, труслив, жесток и нечистоплотен. Человеческие черты у плоского персо-

нажа отсутствовали. Показ его был «пятиминуткой ненависти».

В 1965-м году вышел неожиданный по методу фильм Ромма «Обыкновенный фашизм». Кипящие слюны сменились печальной интеллигентной издевкой. «Они» больше не были ужасными и агрессивными, и только. В их человеческих слабостях и глупостях, часто смешных, проглянули человеческие черты.

Те, кто постарше и поумнее, в чертах чужого и поверженного тоталитаризма увидели черты собственного, живого и господствующего. Парады, монументы, единомыслие и оболванивание; милитаристское мышление и беспрекословная вера во всемирное превосходство своей идеи. И наверху, и в основании пирамиды — обыкновенные люди. Вот просто прониклись такой идеологией и так устроили свое общество.

«Семнадцать мгновений» восходят к этому прогремевшему фильму. И идут дальше.

И бонзы III Рейха, и его рядовые обитатели предстают нормальными людьми со своей трудной и невеселой жизнью. Да все они — скорее положительные герои, чем отрицательные. Они умны и трудолюбивы, они устают и еле сводят концы с концами, они несчастливы в семейной жизни и страдают от неблагодарности и зависти окружающих по работе. Они человечны, отзывчивы, любят родину и выполняют свой долг в невыносимо трудных условиях. Тональность книги — сочувствующая, понимающая, а не обличающая.

Правда, они устроили Мировую Войну и пролили моря крови. Но это остается за скобками, это просто жизнь такая, работа такая. А сейчас они стоят на краю гибели — оставаясь мужественными и стойкими.

Это взгляд изнутри — глазами и сердцем человека, который сросся со шкурой одного из них. Это естественно и честно, это правда.

(Когда германский посол в Японии Отт приехал в тюрьму к своему арестованному другу Зорге — помочь, выручить, выяснить, что обвинения — неправда, и услы-

шал, что тот действительно работал на СССР — они не перестали быть приятелями и видеть друг в друге людей. Просто — работа такая...)

Книга Семенова стала вехой и ступенью в русской (советской) литературе о Войне. И более, чем он сам планировал и предполагал.

Русские восприняли и ощутили невольную ли, вытекающую ли из авторского подхода к материалу, симпатию к немцам III Рейха.

4

А потом был сериал, заслонивший книгу. И Штирлиц-Тихонов вошел в каждый дом и поселился в каждой голове. И стал фольклорным героем.

Что еще примечательнее — вторым любимым героем советского народа стал гестапо-Мюллер. Папа Мюллер в исполнении Броневого, звездный час артиста. Умен, тонок, ироничен — железный кулак в бархатной перчатке. Ах с любовью сыгран!

Эстетика СС в советском кинематографе была доведена до совершенства. Подогнанная лучшими портными форма, хорошие фигуры и профессиональная пластика актеров, жестокая непреклонность и стоицизм солдата. Таким героям хотелось подражать.

Внутренне изнуренный и осатаневший от тотальной советской лжи и всеохватного приказного патриотизма, советский зритель симпатизировал обер-эсэсманам. Во-вторых, известные и хорошие актеры играли интересных и незаурядных людей. А во-первых — из чувства протеста. Любовь к бригадефюрерам была актом свободы выбора. (В глубине души мы всегда уважали III Рейх, потому что сила — любая — всегда внушает уважение; и солдаты они были хорошие, и воровства в своей стране не было, и порядок и исполнительность на высоте — это у нас передавали десятилетия изустно.)

Женщины лучше мужчин знают, что негодяй привлекательнее положительного героя. И если режиссера не

прессует цензура — отрицательный герой перспективнее положительного, актеру есть где развернуться. Он свободен в полном диапазоне — негодяю не возбраняется быть в чем-то храбрым и благородным, его образ полнее и богаче. Актеры в сериале «оттянулись по полной», сыграв в полную силу.

А еще, а еще... о... В симпатии к сильному, стройному, храброму «кинофашисту» мы измещаем подсознательный страх оказаться его жертвой и для того ненадолго и «понарошке» отождествляем себя с ним. И это «кинозрительское» отождествление ненадолго и тоже как бы «понарошке» «освобождает нас от химеры, именуемой совестью», и подсознание выпускает в клапана излишки агрессивной энергии. И «белокурая бестия» вылезает наружу и расправляет затекшие члены.

Нам не так, собственно, важно, что Штирлиц — наш разведчик. Этим лишь залегендирована и легитимизирована его положительность. Хватит и того, что он — герой, который борется один против всех за что-то хорошее (в сериале размыто, за что именно он борется, в общем — «за нашу победу!»).

Если быть абсолютно откровенным и не заботиться о последствиях своих слов — телесериал «Семнадцать мгновений весны» идеологически вреден. В том плане, что вселяет симпатии к фигурам и отношениям германского национал-социализма. И здесь ловишь себя на вздохе, что честная рецензия иногда похожа на донос...

Феномен Мюллера-Броневого никак не был осмыслен критикой. Любовь к гестапо!!! А мы имеем героя скорее положительного, нежели отрицательного, с огромным обаянием и диапазоном разнообразных поступков. Остроумен, находчив, циничен, тонок.

И. И. И. «Враг моего врага — мой друг». Война-то за тридцать лет (прошедших до выхода фильма) несколько стерлась и подзабылась, а от советизма зритель уже озверел и над официальными идеалами издевался. Мюллер был отчасти выражением этой издевки — род вошедшего

в моду и обиход черного юмора. Чудный гестаповец, ха-ха-ха!

...На деле — смотрите фотографии и кинохроники — они были куда непривлекательнее, грубее, приземленнее. Этот мир — создан писателем и сценаристом Юлианом Семеновым. И создан не про них — про нас. Нормальные люди в нормальных отношениях нормальной жизни. Плюс романтика «про войну и про разведку». Плюс на отвлеченном материале «не здесь и не сейчас». А то, что они — ээсовцы, дополнительно щекочет.

5

И романтическая пожизненная любовь и верность. И сын, избравший ту же дорогу.

6

И густо данные реалистические детали военного Берлина, дух обыденной жизни чужой, неизвестной, враждебной страны.

7

А лексика! А терминология! Новые поколения уже не оценят этих «ветеранов партии», «товарищей по партии», «арийского и еврейского путей в науке», этих сцен игрового покаяния провинившегося младшего начальника перед осуждающим и прощающим старшим. В эпоху эзопова языка «Семнадцать мгновений» местами проблескивали, как зеркало, с беспощадной честностью показывающее читателю его собственное государство, партию, историю.

...Не то вопль души, не то фига в кармане. Шедевр эпохи рабства. Продажа мастером своего таланта, но и проданный талант остается таковым. Хотя бы частично, хотя бы в молодости.

Зачем Штирлиц читает себе Пастернака и собирается цитировать, и пишет, переводя на французский? Что за культурологические эксцессы профессионального офицера разведки? Зачем поминает то Гоголя, то Достоевского, а то Шолом-Алейхема?

Да не Штирлиц их поминает — Семенов поминает. Образование девать некуда. Культура пропадает. Он же не Василий Ардаматский, не Вадим Кожевников, он из другой корзинки и другого калибра.

При чем здесь Марика Рокк и Глен Миллер? Только штрихи времени?

Э нет. Действие посажено в культурную среду. В густой культурный контекст, вне которого нет ни истории, ни литературы. Книжки «про войну и про разведку» прекрасно без всего этого обходятся. А здесь — сознательное стремление укоренить книгу в культурную почву.

Эпизодические характеры книги — именно характеры. Плоских служебных персонажей, проходных теней здесь нет. И девятнадцатилетняя черноволосая саксонка с синими глазами, и туберкулезный прилежный шуцман, и грубый Готлиб — не просто даны скупым чистым резцом, но «прогреты»: каждый не похож на других, имеет то самое «лица необщее выражение». Знал Семенов школы Мериме и Чехова.

И он умел писать. Со словом там было все в порядке.

Он никогда не проходил по ведомству «большой литературы», «литературы вообще». Этикетка на лоб, бирка на большой палец ноги: ограничение по жанру. Детективщик, «автор военной темы», «книг про советских разведчиков» и тому подобная диспетчеризация. Обычное дело.

Но время и читатель — тоже неплохие критики.

Книга начинается со звука и воздуха. «Воздух был студеным, голубоватым, и, хотя тона кругом были весенние, февральские, осторожные, снег еще лежал плотный и без той внутренней, робкой синевы, которая всегда предшествует ночному таянию». Вторая фраза. Это не бунинская школа?

А вот конец. Вы не помните, герой какого знаменитого романа XX века лежит перед последним боем на лесной земле, ощущая усыпавшую ее хвою? Его звали Роберт Джордан.

«Он вошел в хвойный лес и сел на землю. Здесь пробивалась робкая ярко-зеленая первая травка. Штирлиц осторожно погладил землю рукой. Он долго сидел на земле и гладил ее руками».

...Вот несколько слов о большом писателе Юлиане Семенове, которые я так и не собрался сказать при его жизни. Ладно. Хорошая книга и так живет...

ГРАФОМАН ЖЮЛЬ ВЕРН

В зрелом возрасте я обзавелся многотомником Жюль Верна и радостно решил, что проблема чтения на ночь дочке решена. Заодно и сам перечитаю захватывающие с детства приключения: имею честный повод. Наконец-то вечерне-читательский ритуал обрел привлекательность и для другой стороны. Процедура укладывания в кровать прошла без скрипа и даже оживленно. Я уселся на пуфик и раскрыл «Таинственный остров». Поехали!

Через несколько страниц у меня глаза полезли на лоб. И не мог понять, в чем дело.

Вечернее чтение ребенку в постели имеет свою специфику. Читаешь страницу — а сам думаешь о своем. Дочитал — и вдруг забыл: я эту страницу только перелистнул или уже закончил?

Через две недели я чувствовал себя в положении обжоры, подписавшего пожизненный контракт на ужины тортами из крашенных опилок. Жюль Верн оказался абсолютно несъедобен и уж тем более не поддавался перевариванию.

Я стал жульничать, выдавая «сокращенные варианты» и меняя книги. Он писал не просто плохо — он писал чудовищно плохо! Он был графоман! Да он вообще представления не имел о том, как надо писать!

Все его сюжеты шиты белыми и гнилыми нитками, они фальшивы, как морковный заяц, и натужны, как улыбка висельника. Это вообще не сюжеты: это просто последовательность в изложении материала географии. Или гидрологии, или ботаники, короче — для среднего школьного возраста современной автору Франции. Серия ведь так и называлась: «Необыкновенные путешествия». Естественно-познавательная литература для подростков. Учебник, натянутый на условно-беллетристический каркас.

Разочарование уязвило меня. Еще один кумир пал. С четырнадцати лет я хранил нежные воспоминания о великом Жюле Верне — и вот держу в руках этот тухлый бред, выпучиваю глаза и зажимаю ноздри.

Перечитайте «20 000 лье под водой»! И скажите: с чего это капитан Немо ездит туда-сюда по мировому океану на своей подлодке? «В понедельник мы взяли курс на север». Зачем, почему, в связи с чем? Что он там оставил, что ищет, чего хочет? «Двенадцатого числа „Наутилус“ изменил курс: теперь мы держали на юг, к тропикам». Эсминца на вас нет с глубинными бомбами! Ну бессельные же, бессмысленные действия, которые автор даже не удосужился хоть как-то мотивировать!

А «Таинственный остров»?! «Проснувшись рано утром в понедельник, колонисты решили обследовать восточную часть острова». Это два года спустя они проснулись и решили. Ну никакой же психологической или сюжетной мотивировки, подготовки, обоснования. Это какой-то скрытый барон Мюнхгаузен: «Проснувшись однажды утром, я решил покорить Эверест». Что, чего,

почему?! А вот так. Люблю совершать подвиги, ездить туда-сюда, обследовать то-се.

Это все равно что в детективе начать так: «Однажды в понедельник утром бухгалтер Смит решил перестать ходить на работу, а лучше раскрыть какое-нибудь интересное преступление». Мы имеем дело минимум с одним шизофреником — либо Смитом, либо его автором.

То есть. Жюль Верн не удосуживается осведомить читателя, зачем или почему герои совершают те или иные действия. Жюль Верна это не заботит. Хватит и общего посыла романа: попали вот на такую подлодку или вот на такой остров. А дальше герои превращаются в фигуры условные, служебные. Они нужны для того, чтобы поведать о флоре и фауне, океанских течениях и горных ветрах, полеводстве и металлургии, жизни индейцев и жизни термитов. Автор был популяризатором, научпопником! Издательство «Знание» по нему плакало!

Но: как учебник это слабовато, давно и безнадежно устарело и никакой научно-познавательной ценности давно ни для кого не представляет. И вообще длинноты описаний юный читатель тут же пропускает, не развлекают его пути миграции морского окуня. А как художественные книги — ну глуховой же примитив!

Троица героев месяцами сидит в «Наутилусе» — а населен сей кораблик лишь капитаном и неопределенным количеством призраков. Есть помощник: как выглядит? как зовут? чем отличается? что делает? А так: иногда вдруг появляется и что-то мелкое делает, помогая кораблю. Матросы: сколько? каковы? имена? черты? привычки? намек на портрет? А на хрена! Хватит и Немо! Лодка плывет, рассказы звучат, пейзажи меняются, — все остальное дается по совершенному минимуму.

Господа. Ну любой же сносный беллетрист должен владеть минимумом приемов, позволяющих оживить изображаемую картинку. Ну дай матросу имя, ну придумай ему хоть прыщ на носу, ну пусть один вечно жует сухарь, а у другого штаны с вечной латкой не того оттенка, а третий пискляв, а четвертый добро улыбается,

а у помощника кривая рука или стеклянный глаз, и он молчалив как рыба, но всегда на страже всего, и т.п. Если Жюль Верн не умел этого делать — он вообще никакой не писатель, а графоман. Если умел, но пренебрегал, гоня по два толстых романа в год — он просто халтурщик, утомленный строчкогонством. Где и в каких условиях жила команда «Наутилуса», чем и как питалась, на каких койках спала? Я ничего не вижу, ничего не знаю!!!

А как разговаривают жюльверновские златоусты! Где не штамп — там лекция. «А как делается древесный уголь, мистер Смит?» — шар-рах! — лекция на час про изготовление древесного угля. Это, может, и познавательно, я лично такие вещи люблю, но в литературном контексте — бредово же смотрится.

Лексика бедна, эпитеты банальны, психологией не пахнет.

Я был потрясен. У меня украли великого и любимого писателя. И плюнули на это место. И растерли. О, зачем я стал слишком грамотным, зачем столько горя от ума!..

И этим приносящим горе умом я начал попытки соображать. Как же так?! Графоман-то графоман, а полтора века на коне, и книги на всех языках, и масса экранизаций, и герои превратились в мифы, и плывет атомный бомбовоз «Наутилус» под музыку группы «Наутилус», и так далее. Предположим, все идиоты. Но только гений может попасть в унисон планете идиотов. Э?

Да Паганель стал уже именем нарицательным. Капитан Немо — устойчивая мифо-фигура. Как бы ужасно ни бумагомарал Жюль Верн, он преуспел едва ли не в главном: писатель создал свой мир и миф. И мы знаем, мы помним, мы используем и цитируем!

Истинная фантастика: с точностью до километров, килограммов и часов Жюль Верн предсказал первый полет на Луну: место старта и приводнения, длительность и количество членов экипажа, размер и вес корабля, время полета! От винта. И остались в истории — той, которая вписана в наше представление «обо всем вообще» — чудо-подлодка, и кругосветка детей капитана Гранта,

и много чего еще. А вот слабости письма, натяжки и наивы — в истории не остались.

Напрашивается простой вывод. У истинного бестселлера — свои законы. Они отличаются от законов «просто высокой литературы».

Несравненная ценность Жюль Верна — в «генеральной выдумке» романа. Техническое изобретение. Маршрут путешествия. Робинзонада технического века. И т.д.

Жюль Верн укореняется в воображении и памяти читателя исключительностью, новизной, необыкновенностью, единичностью главной задумки книги. Эта задумка — суть и соль, без нее книга сразу теряет ценность и превращается в заурядное барахло. Она принципиально не вычленяется из всех прочих пластов книги, книга и пишется ради нее.

Проделаем опыт. Прибавим глубины психологизма. Пропишем стиль. Наляжем на реалистичность мировоззрения, снизим наивный романтизм. Что получим? Уильяма Голдинга или Робера Мерля. Хорошие книги! Лучше жюльверновских написаны. Написаны лучше — а книги хуже. Глубина проникновения в жизнь — увеличилась. А создание новых, неповторимых, не существовавших доселе миров почти и исчезло...

Никакой стилист, нулевой психолог, неряшливый сюжетчик, неумелый пейзажист и бездарный бытописатель — великий Жюль Верн сумел сделать главное: создать новые области нашего духовного мира, устойчивые области коллективного социопсихологического пространства, именуемого иначе культурным.

А если бы он «писал лучше»? Стал ли бы «равным Шекспиру»? Отвечаю за свои слова: нет. Когда серьезный писатель берется за детектив — получается «Преступление и наказание». Фабульная нагрузка резко уменьшается, акцент смещается на иные глубины, вечные и общечеловеческие. Уже перестает волновать сам «Наутилус», речь заходит об извечном человеческом одиночестве, борьбе каждого против всех, трагедии революционера. Сплошной экзистенциализм.

Соотношение всех элементов великой книги находится в жестком единстве. Нарушение равновесия (пусть неосознаваемого, неосязаемого) — ведет к некоторому внутреннему разрушению книги. Вроде делаешь лучше — а эффект почему-то обратный. Написано лучше — а волнует меньше, воображение поражает меньше.

Элементарно. В гоночном автомобиле все подчинено скорости. Прибавь комфорта в кабине, подними и увеличь кресло, поставь фары — а машина станет хуже.

«Усовершенствование» романов Жюль Верна уменьшит нагрузку на «главную задумку», суть и ценность этих романов. Литературный уровень Жюль Верна — необходимый минимум «литературной плавучести» книги. Верн прост, ясен, однозначен, общедоступен — при этом достаточно динамичен, романтичен, позитивен, жизнеутверждающ. Да он гений жанра, фактически им самим и созданного: приключения с необыкновенным начальным поворотом и общеинформационными подробностями, поданными под нетривиальным углом.

...Больше я Жюль Верна не перечитываю. Достаточно того, что я читал его в детстве и запомнил главное в нем на всю жизнь. В отличие от массы книг, написанных лучше, которые быстро забываются и выходят из живого обращения в памяти, истлевая и исчезая в дальних сундуках мозга.

Хорошая книга и хорошо написанная книга — вещи иногда разные.

Главное — это креативное начало. Создание чего-то качественно нового. Взлом по вертикали. (Я чувствую свое абсолютное моральное право на этот вывод. Не знаю, положил ли кто-либо в свое время столько труда, сколько я, чтобы учить себя писать хорошо.)

Первейшее качество таланта — креативность. Мощь создателя и мастерство шлифовщика и отделочника могут не совпадать: бывает.

Мы забываем блестящих и живем в мирах, созданных мощными.

КИПЛИНГ

К рубежу XX века Киплинг был самым знаменитым и самым высокооплачиваемым поэтом и писателем в мире. Одно его слово стоило шиллинг, и это слово знал весь цивилизованный мир и повторяла вся Англия. Это общеизвестно: железный стих, мужество и сила, «несите бремя белых», «я был с вами рядом под огненным градом, я с вами прошел через радость и боль», «бард империализма».

Редьярд Киплинг умер в 1936 году, пережив свою славу, сведенный с Олимпа, едва ли не полузабытый. В родной английской литературе он стал числиться в основном как автор детской «Книги джунглей»: из всех рожденных Первым Поэтом Империи героев оставили жить в читателях одного Маугли.

Мир изменился. Изменилось читательское восприятие и оценки. Прозрели? Поумнели? В чем дело?

Ты раскрываешь томик баллад Киплинга: чеканный рубленый ритм, экспрессия и жесткость, невероятный энергетический заряд, стоическая несгибаемость под любыми ударами судьбы, суровое приятие борьбы и жизни. Это что — вышло из моды? Похоже — да!

Взлет и пик Киплинга пришлись на пик славы и могущества Великой Британской Империи — конец викторианской эпохи. Солнце не заходило над пятой частью земной тверди, осененной «Юнион Джеком». Были — фарисейство, ханжество, тяжкий труд рабочих масс, великодержавный шовинизм, жестокость. А еще были — самоотверженность «винтиков и строителей империи», бесстрашие и вера в себя колонизаторов «далеких и диких стран», благородство как признак приличного воспитания, ледяное презрение аристократов к смерти — и гордость каждого своей великой страной.

Слава Киплинга стала закатываться перед Первой Мировой войной. А накануне Второй Мировой — Великобритания вплотную приблизилась к своему крушению. Еще десять лет — и гегемония в мире перешла к США и СССР. Еще десять лет — и не осталось ни азиатских,

ни африканских владений, фактически отпала Австралия и Канада, империя раскрошилась, была вытеснена, сдала позиции и ушла сама под давлением истории. Великая Британия Киплинга перестала существовать.

Хоп! Внимание? Величие Киплинга соответствовало величию Британии. Закат Киплинга соответствовал закату Британии. Понимаете?

Поэзия Киплинга не изменилась. Изменился, исчез, рассеялся в пространстве суровый, лидерский, жадный и агрессивный, превыше всего ставящий победу и мужество — британский дух.

Они любили и ценили Киплинга, когда были владыками мира. Они перестали его любить и ценить — когда подопустилась энергия нации, изготовилась катиться с горы машина государства.

Раньше, чем упадок наступает снаружи, в окружающем мире, — он наступает внутри, в мыслях и нервах людей. Внешние события нуждаются во внешнем толчке, реальный процесс долг и инерционен. А внутренняя готовность к ним, их обуславливающая — еще до набравших инерцию внешних толчков являет себя через изменения этических и эстетических представлений, через изменения мироотношения и ревизию жизненных ценностей.

Англичане перестали быть великим народом раньше, чем рухнула Великая империя. Иначе и не может быть: внешнее величие рушится только как следствие исчезновения внутреннего величия людей, составляющих народ в целом.

Англичане перестали быть великим народом раньше, чем вступили в Первую Мировую войну. В литературе следствием ее явились Д. Г. Лоуренс и Ричард Олдингтон: уничтожение ханжеской и великодержавной викторианской морали. Но эти двое, как и другие, ее не уничтожали — они лишь констатировали ее падение. А без констатации — оно произошло еще до Первой Мировой, где-то у рубежа 1910 года, немного лет спустя после англо-бурских войн.

Еще ничего не было понятно. Еще ничего не было заметно. Еще гремел имперский пир. Но оскомина похме-

ля уже предощушалась во рту, хотя глаза еще не умели сложить в слова огненные знаки на стенах.

Социалистические идеи овладевали интеллектуалами. Не вяли цветы на могиле Маркса в Лондоне. Женщины шли на курсы, а хотели — всюду. Свободы и равенства, счастье — каждому! Либеральная идея вышла, как джинн из бутылки, и этот призрачный джинн на глазах твердел, как пенобетон.

Караул устал. Винтики империи подняли головы из гнезд и захотели крутиться сами по себе. Свободной любви, никаких пут, личное счастье выше и ценнее государственных абстракций. Наелись заморскими экспедициями, двенадцатичасовым рабочим днем и рядами могил на всех окраинах света. Нет: никаких бунтов и переворотов в разумно и прочно устроенной Англии делать не пытались. Но отношение ко многим устоям миропорядка — сменилось.

Поэтому перестал быть нужным Киплинг. Его граненый и сверкающий отточенной сталью, как штык колониального пехотинца, талант больше не был желаем. Не был приятен. Не звучал в унисон новым чаяниям. Не возбуждал сердца биться сильнее — к борьбе, преодолению лишений и препятствий, самоутверждению в своей непобедимости, смерти во имя своих целей и взглядов и во имя величия Родины.

Киплинг не стал хуже. И не стал другим. Другим стал читатель. Он перестал быть — по праву сильного и мужественного, по праву труда и крови — владыкой Великой Империи. Его энергия снизилась, и услужливый ум обустроивал новое внутреннее состояние новыми симпатиями и антипатиями: в том числе новыми литературными вкусами.

От смены потребительской оценки Киплинг не стал менее великим. Оценка часто характеризует оценщика более, чем оцениваемого. Менее великим стал его народ.

Закат славы Киплинга — отражал и предвосхищал закат Великобритании, ее духа — и как следствие ее роли и места в мире.

Англичане перестали любить Киплинга, когда перестали быть теми великими, которых любил он — о которых и для которых он писал, которыми восхищался, которых уважал и был плотью от их плоти. Но тогда этого не поняли ни они, ни он. Происходящее с тобой сейчас — обычно не поддается отчету.

Потом, потом — старик понял это, понял это! Горечь молчаливого угасания была долгой.

Я иду по Лондону, этому одному из уже нескольких Новых Римов эпохи заката нашей цивилизации, полному иных народов и иных храмов, и шаги встраиваются в ритм строк вековой давности: «У северной двери хозяйка живет, у нее богатый дом. Кормит и поит она бродяка и в море их шлет потом. Иные тонут, где глубоко, иные в виду земли, и приходит весть — и она других посылает на корабли. Покуда есть у нее свой дом и место у камелька — она гонит сынов на мокрый луг, и жатва их горька. Шла рядом с конями легенда, рассказ о лишениях злых, отцы покорили равнины, а мы унаследуем их, мы сердцем своим в колыбели, в стране, где потратили труд, надежду, и веру, и гордость мы в землю вложили тут! Наполните ваши стаканы и пейте со мной скорей за четыре новых народа, за отмели дальних морей, за самый последний, на карте еще не отмеченный риф — и гордость врагов оцените, свою до конца оценив! За кровли на крышах железных, звенящих от наших шагов, за крик неподкованных мулов, за едкую гарь очагов, за риск умереть от жажды и риск в реке утонуть, за странников юга, прошедших в миллионы акров путь! За яркий очаг народа, за грозный его океан, за тихую славу аббатства (без этого нет англичан), за вечный помол столетий, за прибыль твою и мою, за ссудные банки наши, за флот наш торговый — пью! Когда ж страданий наших приблизится конец — твой тяжкий труд разрушит лентяй или глупец. И платить — то честь наша! — будем дань мы тысячу лет морям. Так и было, когда „Золотая лань“ раскололась пополам, и когда на рифах, слезя глаза, кипел прибой голубой. Коль кровь — цена владычеству, то мы уплатили

с лихвой! Я ел ваш хлеб и ел вашу соль, я пил вашу воду и пил вино, я был с вами рядом под огненным градом, я с вами прошел через радость и боль».

ШЕДЕВР ДОКТОРА КОНАН ДОЙЛЯ

Не удалось избавиться сэру Артуру от недоевшего сыщика. Умертвлял — и оживлял: читатели выли, издатели стонали — хотим-хотим!

И не считал его «литературой», и выше ставил свой исторический роман «Белый отряд», и мечтал остаться в истории серьезным писателем, хорошим стилистом, — «просто писателем», а не автором детективов. Не вышло.

Такое случается. Создал шедевр не там, где мечтал. И в раздражении отрекался — это так, поделка. А шедевр — вот. И убивался, что никто этого не видит. О потребительская чернь! Да что вы там нашли такого — ну, преступления раскрываются, но это же не литература, язык прост до примитивизма, характеры откровенно примитивны, чувства ясны, психология неглубока, все построено на одном нехитром приеме: есть преступление, ну, и оно раскрывается работой логики и вниманием к деталям. Сколько можно клевать на одно и то же, это же неинтересно, наконец!

Интересно.

Более того. Много, много более. Все сочинения о Шерлоке Холмсе отличаются редкой чертой настоящей литературы: даже зная уже почти наизусть, их все равно тянет порой перечитывать. Давно раскрыты все преступления — а читать хочется.

Наденем очки автора, сядем за его стол и взглянем на его книги его глазами. Приложим линейку «настоящей литературы» (см. три абзаца выше). Но если вторую сотню лет читают, и экранизируют, переиздают и переводят, и музей Холмса на Бейкер-стрит 221-б, — может, линейка неправильная?

Сто лет пишут детективы бесчисленные подражатели, достигая порой самостоятельности и даже славы —

а второго Холмса нет и не предвидится. И уже не читают Байрона, и полузабыт Теккерей, и редко кто открывает Диккенса — а Холмс, высокий, тощий и жилистый, в облаке табачного дыма, с лупой в руке и реже револьвером в кармане, и скрипка, и морфий, и женоненавистничество с единственным исключением, и т.д. известно всем — живет в любви народной.

Не всегда знаешь, где ждет тебя феномен истинной удачи.

Если бы Конан Дойль потратил все силы жизни на создание идеальных произведений о сыщике — он бы не написал лучше того, что есть. Рассматриваем и судим произведение по его собственным законам — внутренним, жанровым, законам самоорганизации материала (подобно законам синергетики), по тем законам, которые результатом своего действия имеют высочайший эффект литературной (и шире — вообще культурной) живучести и читаемости. И получаем забавное.

Шерлок Холмс — истинный литературный шедевр. Совершенство.

1. Тайна, которую раскрывают.

2. По личной склонности и свободному согласию, а не из служебного долга.

3. Живой быт подан скупыми точными штрихами.

4. Лаконичность! Ныне, век спустя, писатель растягивает сюжет любого такого рассказа на роман — для коммерции: льет воду, размешивая в ней лишнюю белиберду из «жизни вообще».

5. Простой точный язык. С элементами «рымантического штиля».

6. Расклад героев. И вот это тут главное, и этому невозможно подражать, потому что сразу получится откровенное эпигонство:

А). Холмс предельно привлекателен. Высок, худ, при этом на самом деле очень силен, чего внешне не видно. Флегма, ледяное спокойствие — и протуберанцы скрытого темперамента. Никогда не теряет самообладания. Абсолютный одиночка — при этом абсолютный лидер в лю-

бых контактах. Контролирует любую ситуацию. То есть: несколько замаскированный супермен. Суперменство балансируется некоторой чудаковатостью. Достоинства — балансируются такими недостатками, как склонность к наркомании, хандре вне дела, приступами ненапыщенной и даже простодушной хвастливости. Эрудиция в своем деле — и доходящее до смешного невежество в некоторых общеизвестных областях. Язвитель, ироничен, иногда валяет дурака — и всегда оказывается прав, выставляя дураком оппонента: эдакое сократовское начало. Блестящий стрелок. При этом изящное и даже неожиданное стороннее увлечение: меломан. Жизнь и людей знает, понимает, «видит насквозь» — оттенок печального многомудрого цинизма. При этом женщин побаивается, не знает, не понимает, чуждается — при своей явной привлекательности (о ней прямо не говорится ни слова, образ не переслащен, это очень важно!). Герой с горчинкой, со шербинкой. По-парфюмерски: духи горьковатые, чуть пряные, неброские, но очень стойкие, аромат очень явственный, но неназойливый, абсолютно индивидуальный и сугубо мужской. Цепок, последователен, беспощаден в деле — но справедлив и благороден превыше всего и без рекламы, невольных и по сути правых преступников отпускает. Проницателен и умен дьявольски. И вообще «характер твердый, нордический».

Черт возьми. Да создать такой образ — это уже акт литературного гения. Конан Дойль сработал так, что все прочие сыщики Холмсу в подметки не годятся!

Б). Так и этого мало! Введение Ватсона — вот гениальная удача! Сугубо положителен, честен, простодушен, верен — вторая половина по сути единого героя!

Его служебная роль неопенима. Он оттеняет все достоинства Холмса — одновременно комментируя их, критикуя или расхваливая, оценивая, пытаясь постичь и понимая не сразу. Его наличие сразу дает возможность и мотивирует любые замедления и ускорения повествования и действия. Он пропускает одно — которое всплывет потом и бросит новый свет на все происшедшее, —

и обращает углубленное внимание на другое, в угоду автору.

И едва ли не главное — это он рассказывает все истории, не будучи писателем: оправдан любой ходульный оборот, любой разговорный «рымантизм» оказывается уместным — а чистому, простому и точному литературному стилю это тоже не противоречит.

Наличие Ватсона автоматически позволяет давать экспозицию каждой вещи, настроение зачина.

Его сугубая британская нормальность подчеркивает аномальности Холмса — они предстают как под увеличительным стеклом, в которое смотрит глаз «обычного человека».

Наличие «промежуточного и действующего рассказчика» создает рассказ в рассказе, на порядок обогащая произведение. Взгляд автора, принципиально дистанцированного от него рассказчика и самого героя, сменяя друг друга и то сливаясь, но вновь разъединяясь, дают сложную трехплановую композицию.

И все это сложилось без мучительных поисков, проб и конструирований, а «само собой» у нашего доктора.

Ну, а про «радость узнавания знакомых персонажей», «получение ожидаемого» и прочее — литературоведы уже более или менее написали.

Не стоило вам гневить Господа нашего, мистер Конан Дойль, и пытаться принизить собственное детище. Иногда шедевр долго не просматривается самим автором в своем творении, так незатрудненно родившемся.

ТРИ МУШКЕТЕРА

Вряд ли мы уже когда-нибудь узнаем, какова была доля личного авторства Дюма в прославленнейшем из романов XIX века, а какова доля соавторства кого-либо из его многочисленных помощников и негров. Но любой может перечитать «Трех мушкетеров» внимательно с любого места — и убедиться, что эта книга Дюма не такая, как все остальные из-под его пера.

Она легче читается — а по толщине принадлежит к обер-размерным кирпичам. Она интереснее — а сюжет свинчен отнюдь не наилучшим образом и в узлах просто рассыпчат. Чтение ее доставляет большее удовольствие — а между тем мы не знаем даже из нее, какого цвета были плащи у мушкетеров, и сколько человек было в их роте, и в чем, собственно, заключалась их служба — кроме флианирования у дворца и мельком упомянутого хождения в караул.

Зато — зато — она насквозь иронична и легка, легка! Приподнятый романтизм подан с улыбкой скептика и мудреца, откровенно развлекающегося условностью собственного текста. Автор парит над героями и дружески подмигивает читателю: мол, мы-то с тобой понимаем, что все это романтика. Жестокий мелодраматизм ситуаций и фраз сплошь и рядом граничит с самопародией, юмор брызжет (так и хочется сказать: «как шампанское!»).

«Увидев эти яства, мэтр Кокнар закусил губу. Увидев эти яства, Портос понял, что остался без обеда».

«Разучилась пить молодежь, — с сожалением заметил Атос. — А ведь этот еще из лучших».

«Посмотрите только на эту лошадь, Арамис! — О, какая ужасная кляча, — сказал Арамис».

«Четыреста семьдесят пять ливров! — сказал д'Артаньян, считавший, как Архимед (цифра изрядно ошибочна)».

Авторский посыл радости, веселья и шутки всегда передается читателю — даже если последний не отдает себе в этом отчета.

Но речь-то в книге идет о вечных и бесспорных ценностях: дружбе, любви, чести, верности, храбрости, благородстве. И авторская неназойливая улыбка только оттеняет их; пространство между автором и его героями придает им объема.

Вот в этом воздухе, этом добром и улыбчивом пространстве авторского взгляда между ним самим и его героями — суть, ключ и секрет необыкновенной привлекательности романа.

А поскольку умный, толстый, жизнелюбивый Александр Дюма был хороший писатель — он искренне сопереживает героям, любит их и жаром собственной души делает живыми. Недаром, недаром он плакал над собственной книгой в последний месяц своей жизни. Не всегда, совсем не всегда он относится к своим героям с иронией. (Так ироничный человек, вечно прикрывающийся шуткой, иногда отбрасывает охранительные условности своих выражений — и обнажается любовь пронзительной искренности и силы. Кого люблю — над тем посмеиваюсь.)

(Рискну сказать, что «Три мушкетера» не чужды того ключа, который почти век спустя стало можно бы назвать «чаплинским».)

Вот это ироническое отношение к описываемому, отнюдь не отменяющее, но оттеняющее мелодраматизм происходящего — ни в одном другом романе Дюма не встречается. Отсутствует напрочь. Местами они даже удручающе серьезны, и сегодня начинают попахивать длиннотой и скукой.

Эта эстетическая неоднородность, неоднозначность, объемность «Трех мушкетеров» практически не отмечается читателем — но поднимает удивительную энергетику, светлую энергетику книги — живой и славной уже более полутора веков.

ЗА СЛОВА ОТВЕТИШЬ

ГУРУ

— Бесконечная мера вашего невежества — даже не забавна...

Такова была первая фраза, которую я от него услышал, — подножка моей судьбе, отклоненной им с предусмотренного пути.

Но — к черту интимные подробности.

Я всем ему обязан. Всем.

Теперь не узнать, кем он был на самом деле. Он любил мистифицировать. Весьма.

Я приходил с бутылкой портвейна и куском колбасы, или батоном, или пачкой пельменей, или блоком сигарет в его конуру. И прежде, чем мой палец касался дверного замка, из самоуверенного, удачливого, хорошо одетого, образованного молодого человека превращался в того, кем был на самом деле — в щенка. Он был — мастер и мэтр, презревший ремесло с горних высот познания. Он был мудрец; я — суетливый и тщеславный соплик.

Он презирал порядок, одежду, репутацию и вообще людское мнение, презирал деньги — но кичливую нищету презирал еще больше. Добродетель и зло не существовали для него: он был из касты охотников за истиной. Не интересуясь фарсом законных новостей, он промывал ее крупичицы, как золотоискатель в лотке.

Золотой песок своих истин он расшвыривал горстями равнодушного сеятеля направо и налево, рассчитываясь им за все.

Эта валюта имеет ограниченное хождение. Его жизнь можно было бы назвать историей борьбы, если б это не была история избиений. Изломанный и твердый, он напоминал саксаул.

Он распахивал дверь, и его дальнзоркие выцветшие глазки щурились с отвагой и презрением на меня и сквозь — на внешний мир. Презрение уравнивало чашу весов его мировоззрения: на другой покоилась отвергнутая миром любовь. Я понял это позже, чем следовало.

Он принимал мои дары, как хозяин берет покупки у посланного в магазин соседского мальчишки, когда домработница больна. Каждый раз я боялся, что он даст мне на чай, — я не знал, как повести себя в таком случае.

Пижоня старческой брюзгливостью, он молча тыкал пальцем в вешалку, после — в дверь своей комнаты: я получал приглашение.

В комнате он так же тыкал в допотопный буфет и в кресло: я доставал стаканы и садился.

Он выпивал стакан залпом, закуривал, и в бесформенной массе старческого лица проступали, позволяя угадывать себя, черты — жесткие и несчастные. Он был из тех, кто идет до конца во всем. А поскольку все в жизни, живое, постоянно меняется, то в конце концов он в своем неотклонимом движении всегда заходил слишком далеко и оказывался в пустоте. Но в этой пустоте он обладал большим, чем те, кто чутко следуют колебаниям действительности. Он оставался ни с чем — но с самой сутью действительности, захваченной и законсервированной его едким сознанием; и ничто уже не могло в его сознании эту суть исказить.

— Мальчик, — так начинал он всегда свои речи, — мальчик, — вкрадчиво говорил он, и поколебленный его голосом воздух прогибался, как мембрана, которая сейчас лопнет под неотвратимым и мощным напором сконцентрированных внутри него мыслей, стремительно расширяющихся превращаясь в слова, как превращающийся в газ порох выбивает из ствола снаряд и тугим круглым ударом расширяет воздух.

— Мальчик, — зло и оживленно каркал он, и втыкал в меня два своих глаза ощутимо, как два пальца, — не доводилось ли тебе почитать такого мериканского письменника, которого звали Эдгар Аллан По? Случайно, может?

Я отвечал утвердительно — не боясь подвоха, но будучи в нем уверен и зная, что все равно окажусь в луже, из которой меня приподнимут за шиворот, чтоб плюхнуть вновь.

— Так вот, мальчик, — продолжал он, и по едва заметному жесту я улавливал, что надо налить еще. Он выпивал, вставал, — и больше не достаивал меня взглядом в продолжении всех слов. Плевать ему было на меня. Я был — внешний мир. Я был — контактная пластина этого мира. К миру он обращался, не больше и не меньше.

— Все беды от невежества, — говорил он. — А невежество — из неуважения к своему уму. Из счастья быть бараном в стаде.

— Невежество. Нечестность. Глупость. Подчиненность. Трусость. Вот пять вещей, каждая из которых способна уничтожить творчество. Честность, ум, знание, независимость и храбрость — вот что тебе необходимо развить в себе до идеальной степени, если ты хочешь писать, мальчик. Те, кого чествуют современники — не писатели. Писатель — это Эдгар Аллан По, мальчик, — и он клал руку на корешок книги с таким выражением, как если б это было плечо мистера Э.А. По. Он актерствовал, — но прокручивая в голове эти беседы, я не находил в его актерстве отклонений от истины. Может, это мы актерствуем всякий раз, когда отклоняемся от естественности порыва?

— О честности, — говорил он, и голос его садился и сипел стершейся иглой, не способный выдержать накал исходящей энергии, — энергии, замешанной на познании, страдании, злости. — Ты обязан отдавать себе абсолютный отчет во всех мотивах своих поступков. В своих истинных чувствах. Не бойся казаться себе чудовищем, — бойся быть им, не зная этого. И не думай, что другие

лучше тебя. Они такие же! Не обольщайся — и не обижайся.

Тогда ты поймешь, что в каждом человеке есть все. Все чувства и мотивы, и святость и злодейство.

Это все — хрестоматийные прописи. Ты невежествен, — и я не виню тебя в этом. Ты должен был знать это все в семнадцать лет, хотя понять тогда еще не мог бы. Но тебе двадцать четыре! что ты делал в своем университете, на своем филфаке, скудоумный графоман?! — И его палец расстреливал мою переносицу. Я вжимался в спинку кресла и потел.

— Без честности — нет знания. Нечестный — закрывает глаза на половину в жизни.

Наши чувства, наша система познания, восприятия действительности — как хитрофокусное стекло, сквозь которое можно видеть невидимую иначе картину мира. Но есть только одна точка, из которой эта картина видится неискаженной, в гармоничном равновесии всех частей — это точка истины. Точка прозрения в абсолютной честности, вне нужд и оценок.

Не бойся морали. Бойся искажения картины. Ибо при малейшем отклонении от точки истины — ты видишь — и передаешь — не трехмерную картину мира, а лишь ее двухмерное — и хоть каплю, да искаженное, — отображение на этом стекле, искусственном экране невежественного и услужливого человеческого мозга. Эпоха и общество меняют свой угол зрения — и твое изображение уже не похоже на то, что когда-то казалось им правдой. А трехмерность, истина, — то и дело не совпадает с тем, что принято видеть, — но всегда остаются; колебания общего зрения не задевают их, они же корректируют эти колебания.

Поэтому никогда не общайся с людьми, которые вопрошают: «А зачем об этом писать?» — подразумевая, что писать надо в некой сбалансированной разумом пропорции, преследуя некие известные им цели. Такие люди немудры, нечестны и невежественны. Что ты знаешь о биополях? А о пране? о йоге? Не разряжай своей энергии,

своей жизненной силы в никуда, контактируя с пустоцветом и идиотами.

— Искусство, мальчик, — он пьянел, отмякал, отрешался, — искусство — это познание мира, вот и все. Что с того, что во mnogой мудрости много печали. Что, и Экклезиаста не читал? серый штурмовичок... крысенок на пароходе современности... Духовный опыт человечества — вот что такое искусство. Анализ и одновременно учебник рода человеческого. Это тот оселок, на котором человечество оформляет и оттачивает свои чувства — все! Весь диапазон! На котором человечество правит свою душу. Вся черная грязь и все сияющее благоухание — удел искусства — как и удел человечества. Познание — удел человечества. Счастье? Счастье и познание — синонимы, мальчик, слушай меня. Это все банально, но ты запоминай, юный невежда. Ты молод, душа твоя глупа и неразвита, хотя и чувствительна, — ты не поймешь меня. Поймешь потом.

Я пил вино и пьянел. Он попеременно казался мне то мудрецом, то пустым фразером. Логика моего восприятия рвалась, не в силах подхватить стремительную струю крепчайшей эссенции, как мне казалось, его мыслей.

— Публика всегда аплодирует профессионально сделанной ей на потребу халтуре. Шедевры — спасибо, если не отрицая их вообще при появлении, — она не способна отличить от их жалких подобий. Зрение ее — двухмерно! А остаются — только шедевры! Художник — увеличивает интеллектуальный и духовный фонд человечества. Зачем? А зачем люди на этой планете? Только невежество задает такие глупые вопросы...

Ты не слышал об опытах на крысах? Первыми осваивают новые территории «разведчики». По заселении устанавливается жесткая иерархия, а «разведчиков» — убивают. «Так создан мир, мой Гамлет...» А Икар все падает, и все летит: не в деньгах счастье, не хлебом единым, живы будем — не помрем.

Он допивал вино и, снова повинувшись неумовимому желанию, шел на кухню заваривать чифир. Он не упо-

треблял кофе — он пил чифир. Он говорил, что привык к нему давно и далеко, и произносил длинные речи о преимуществе чая перед кофе.

Чифир обозначал конец «общей части» и переход к «литературному мастерству». Он заявлял, что я самый паршивый и бездарный кандидат в подмастерья в его жизни. И, что обиднее всего — видимо, последний. В этом он оказался прав бесспорно — я был последним...

— Мальчишка, — говорил он с невыразимым презрением, и на лице его отражалось раздумье — стошнить или прилечь и переждать. — Мальчишка, он полагает, что написал рассказ лучше вот этого, — он потрясал журналом, словно отрубленной головой, и голова бесславно летела в угол с окурками и грязными носками.

— Шедевры! — ревел он. — По — писатель! Акутагава — писатель! Чехов — писатель! И выбрось всю дрянь с глаз и из головы, если только тебя не устраивает перспектива самому стать дрянью!

И заводил оду короткой прозе.

— Вещь должна читаться в один присест, — утверждал он. — Исключения — беллетристика: детектив, авантюра, ах-любовь. Оправдания: роман-шедевр, по концентрации информации не уступающий короткой прозе. Таких — несколько десятков в мировой истории.

Концентрация — мысли, чувства, толкования! Вещь тем совершеннее, чем больше в ней информации на единицу объема! чем больше трактовок текста она допускает! Настоящий трехмерный сюжет — это всегда символ! Настоящий сюжетный рассказ — всегда притча!

Материал? Осел! Шекспир писал о Венеции, Вероне, Дании, острове, которого вообще не было. А По? А Акутагава? Мысль!! — лежит в основе, и ты оживляешь ее адекватным материалом. Ты обязан знать, видеть, обонять и осязать его, — но не обязан брать из-под ног. Бери где хочешь. Все времена и пространства — сущие и несуществующие — к твоим услугам. Это азбука! — о невежество!..

Он дирижировал невидимому чуткому оркестру:

— Процесс создания вещи состоит из следующих слов: отбор наиболее подходящего, выигрышного, сильнейшего материала; организация этого материала, построение вещи, композиция; изложение получившегося языковыми средствами. Этот триединый процесс оплодотворяется мыслью, надеждой, которая и есть суть рассказа. Пренебрежение одним из четырех перечисленных моментов уже не даст появиться произведению действительно литературному.

Хотя! — он взмахивал обтерханymi рукавами, и оркестр сбивался, — хотя! — доведение до идеала, открытия, лишь одного из четырех моментов уже позволяет говорить об удаче, таланте и так далее. Но только доведение до идеала всех четырех — рождает шедевр.

Каждая буква должна быть единственно возможной в тексте. Редактирование — для распустех и лентяев, вечных стажеров. Не суетись и не умствуй: прослушивай внимательно свое нутро, пока камертон не откликнется на истинную, единственную ноту.

Не нагромождай детали — тебе кажется, что они уточняют, а на самом деле они отвлекают от точного изображения. Каждый как-то представит себе то, о чем читает, твое дело — задействовать его ассоциативное зрение одной-двумя деталями. Скупость текста — это богатство восприятия, дорогой мой.

Записывать мне было запрещено. Он — открывал себя миру и не желал отчуждения своих истин в чужом почерке.

Я жульничал. В соседнем подъезде закидывал заколючками листки блокнота, чтоб дома перенести в амбарную книгу полностью. Иногда при этом казался себе старательным тупицей, зубрящим правила в надежде, что они откроют секрет успеха.

— У мальчика подвешен язык, — язвил он. — У мальчика стоят мозги — и то ладно. Импотент от творчества не способен оплодотворить материал — он в лучшем случае описатель. Творческий командированный. Приехал и спел, что он видел. Дикари!!.. Кстати, таким был и

Константин Георгиевич. А ты не хай, сопляк, сначала поучись у него описывать чисто и красиво. Момент не достаточный, но в общем не бесполезный.

Он затягивался, втягивал глоточек чифира и выдыхал дым. И высекал:

— Первое. Научись писать легко, свободно — и небрежно — так же, как говоришь. Не тужься и не старайся. Как бог на душу положит. Обычный устный пересказ — но в записи, без сокращений.

Второе. Пиши о том, что рядом, что знаешь, видел и пережил. Точнее, подробнее, размашистее.

Третье. Научись писать длинно. Прикинь нужный объем и пиши втрое длиннее. Придумывай несуществующие, но возможные подробности. Чем больше, тем лучше. Фантазируй. Хулигань.

Четвертое. А теперь ври напропалую. Придумывай от начала и до конца; начнет вылезать и правда — вставляй и правду. Верь, что это так же правдоподобно, как и то, что ты пережил. То, что ты нафантазировал, ты знаешь не хуже, чем всамделишное.

С демонстративным отвращением он перелистывал приносимые мной опусы, кои и порхали в окурочно-носочный угол как дохлые уродцы-голуби, неспособные к полету.

— Так. Первый класс мы окончили: научились выводить палочки и крючочки. Едем дальше, о мой ездун:

Пятое! Выкидывай все, что можно выкинуть! Своди страницу в абзац, а абзац — в предложение! Не печалься, что из пятнадцати страниц останутся полторы. Зато останется жилистое мясо на костях, а не одежды на жирке.

Шестое. Никаких украшений! Никаких повторов! Ищи синонимы, заменяй повторяющееся на странице слово чем хочешь! Никаких «что» и «чтобы», никаких «если» и «следовательно», «так» и «который». По-французски читаешь? Ах, пардон, я забыл, каких садов ты фрукт и продукт. Читай «Мадам Бовари» в Роммовском переводе. Сто раз! С любого места! Когда сумеешь подражать — двинешься дальше.

В голосе его мне впервые услышалось снисхождение верховного жреца к щенку на ступеньках храма.

Началось мордование. Я перестал спать. Болело сердце и весь левый бок. Я вскакивал ночью от удушья. Зима кончалась.

— Отработка строевого шага в три темпа, — издевался он. — Что, не нравится писать просто, а?

Я преступно почитывал журналы и ужасался. Я хотел печататься и заявлять о себе. Но течение несло, и я не сопротивлялся: туманный берег обещал невообразимые чудеса — если я не утону по дороге.

В апреле я принес четыре страницы, которые не вызвали его отвращения.

— Так, — констатировал он. — Второй класс окончен. Небыстро. Не совсем бездарь, хм... задатки прорезались...

Наверное, я нажил нервное истощение, потому что чуть не заплакал от любви и умиления к нему. Старый стервец со вкусом пукнул и поковырялся в носу.

Допив портвейн, он поведал, что сейчас — еще в моей власти: бросить или продолжать; но если не брошу сейчас — человек я конченный.

Я, почувствовав в этом посвящение, отвечал, что уже давно — конченный, умереть под забором сумею с достоинством, и сорока пяти лет жизни мне вполне хватит.

В мае я принес еще два подобных опуса.

— Не скучно работать одинаково?

— Скучно...

— Элемент открытия исчез... Ладно...

— Седьмое! — он стукнул кулаком по стене. — Необходимо соотношение, пропорция между прочитанным и прожитым на своей шкуре, между передуманным и услышанным от людей, между рафинированной информацией из книг и знанием через ободранные бока. Пошел вон до осени! И катись чем дальше, тем лучше. В пампасы!

Я плюнул на все, бросил работу и поехал в Якутию — «в люди».

Память у него была — как эпоксидная смола: все, что к ней прикасалось, кристаллизовалось навечно:

— Восьмое, — спокойно сказал он осенью. — Наляжем на синтаксис. Восемь знаков препинания способны сделать с текстом что угодно. Пробуй, перегибай палку, ищи. Изменяй смысл текста на обратный только синтаксисом. Почитай-ка, голубчик, Стерна. Лермонтова, которого ты не знаешь.

Я налегал. Он морщился:

— Не выпендривайся — просто ищи верное.

Продолжение последовало неожиданно для меня.

— Девятое, — объявил он тихо и торжественно. — Что каждая деталь должна работать, что ружье должно выстрелить — это ты уже знаешь. Слушай прием асов: ружье, которое не стреляет. Это похитрее. Почитай-ка внимательно Акутагаву Рюноскэ-сан, величайшего мастера короткой прозы всех времен и народов; один лишь мистер По не уступает ему. Почитай «Сомнение» и «В чаше». Обрати внимание на меч, который исчез неизвестно куда и почему, на отсутствующий палец, о котором так и не было спрошено. Акутагава владел — на уровне технического приема! — величайшим секретом, юноша: умением одной деталью давать неизмеримую глубину подтексту, ощущение неисчерпаемости всех факторов происходящего... — он закашлялся, сломился, прижал руки к груди и захрипел, опускаясь.

Я заорал про нитроглицерин и, перевернув кресло, ринулся в коридор к телефону. Вызвав «скорую» — увидел его землисто-бледным, однако спокойным и злым.

— Еще раз запаникуешь — выгоню вон, — каркнул он. — Я свой срок знаю. Иди уже, — добавил с одесской интонацией, сопроводив подобающим жестом.

С приемом «лишней детали» я мучился, как обезьяна с астролябией. Безнадежно...

— Не тушуйся, — каркал наставник. — Это уже работа по мастерам. Ты еще не стар.

И подлил масла в огонь, уничтожающий мои представления о том, как надо писать:

— Десятое. Вставляй лишние, ненужные по смыслу слова. Но чтоб без этих слов — пропал сак фразы. На стол клади «Мольера» Михаила Афанасьевича.

И жезлообразный его палец пустил несправедное движение моей жизни в очередной поворот, столь похожий на откос. По старому английскому выражению, «я потерял свой нерв». В марте, через полтора года после начала этого самоубийства, я пришел и сказал, что буду беллетристом, а еще лучше — публицистом. И поднял руки.

— Одиннадцатое, — холодно вымолвил мой Люцифер. — Когда решишь, что лучше уже не можешь, напиши еще три вещи. Потом можешь вешаться или идти в школьные учителя.

Все кончилось в мае месяце. Хороший месяц — и для начала, и для конца любого дела.

— Молодой человек, — обратился он на «вы». — У вас есть деньги?

Денег не было давным-давно. Я стал люмпеном.

— Мне наплевать. Украсьте, — посоветовал он. — Придете через час. Принесите бутылку хорошего коньяку, двести граммов кофе, пачку табаку «Трубка мира» и самую трубку работы лично мастера Федорова, коя в лавке художника стоит от тринадцати до сорока рублей. Не забудьте лимон и конфеты «Каракум».

Восемь книг я продал в подворотне букинистического на Литейном. Камю, Гамсуна и «Моряка в седле» я с тех пор так и не возместил.

Лимон пришлось выпрашивать у заведующей столом заказов «Елисейского».

— Вот и все, молодой человек, — сказал он. — Учить мне вас больше нечему.

Я не сразу сообразил, что это — он. Он был в кремовом чесучовом костюме, голубой шелковой сорочке и черно-золотом шелковом галстуке. На ногах у него были бордовые туфли плетеной кожи и красные носки. Он был чистейше выбрит и пах не иначе «Кельнской водой № 17». Передо мной сидел аристократ, не нуждавшийся в подтверждении своего аристократизма ежедневной публикой.

Благородные кобальтовые цветы на скатерти блее горного снега складывались из буковок «Собственность муниципала Берлина, 1900». Хрустальные бокалы зазвенели, как первый такт свадьбы в королевском замке.

— Мальчишкой я видел Михаила Чехова, — сказал хозяин, и я помертвел: я не знал, кто такой Михаил Чехов. — Я мечтал всю жизнь о литературной студии. Не будьте идеалистом, мне в высшей степени плевать на все; просто — это, видимо, мое дело.

Не обольщайтесь, — он помешал серебряной ложечкой лимон в просвечивающей кофейной чашке. — Я не более чем дал вам сумму технических приемов и показал, как ими пользуются. Кое на что раскрыл вам глаза, закрытые не по вашей вине. Сэкономил вам время, пока еще есть силы. С толком ли — время покажет...

В его присутствии сантименты были немислимы; уже потом мне сделалось тоскливо ужасно при воспоминании об этом прощании.

Сколько породы и истинной, безрекламной значительности оказалось в этом человеке!.. Он мог бы служить украшением любого международного конгресса, честное слово. Эдакий корифей, снизошедший запросто на полчаса со своего Олимпа.

Он потягивал коньяк, покачивал плетеной тупфлей, покуривал прямую капитанскую трубку. И благодушно давал напутственные наставления.

— Читайте меньше, перечитывайте больше, — учил он. — Четырех сотен книг достаточно профессионалу. Когда классический текст откроет вам человеческую слабость и небезгрешность автора — вы сможете учиться у него по-настоящему.

— Читая, всегда пытайтесь улучшать. Читайте медленно, очень медленно, пробуйте и смакуйте фразу глазами автора, — тогда сможете понять, что она содержит, — учил он.

— Торопитесь смолоду. Слава стариков стоит на делах их молодости. Возрастом пика прозаика можно считать двадцать шесть — сорок шесть; исключения редки. Вот

под пятьдесят и займетесь окололитературной ерундой, а раньше — жаль.

...Позже, крутясь в литераторской кухне, я узнал о нем много — все противоречиво и малоправдоподобно. Те два года он запрещал мне соваться куда бы то ни было, натаскивал, как тренер спортсмена, не допускаемого к соревнованиям до вхождения в форму.

— Умей отгаскивать себя за уши от работы, — учил он. — Береги нервы. Профессионализм, кроме всего прочего — это умение сознательно приводить себя в состояние сильнейшего нервного перевозбуждения. Задействуются обширные зоны подсознания, и перебор вариантов и ходов идет в бешеном темпе.

(— Кстати, — он оживлялся, — сколь наивны дискуссии о творчестве машин, вы не находите? Дважды два: познание неисчерпаемо и бесконечно, применительно к устройству человек — также. Мы никогда не сможем учесть — а значит, и смоделировать — механизм творческого акта с учетом всех факторов: погоды и влажности воздуха, ревматизма и повышенной кислотности, ощущения дырки от зуба, даже времени года, месяца и суток. Наши знания — «черный ящик» — ткни так — выйдет эдак. Моделируем с целью аналогичного результата. Начинку заменяем, примитивизируя. Шедевр — это нестандартное решение. Компьютер — это суперрешение суперстандарта, это логика. Искусство — надлогика. Другое дело — новомодные теории типа «Каждый — творец» и «Любой предмет — символ»; но тут и УПП слепых Лувр заполнит, зачем ЭВМ. Нет?)

— Художник — это турбина, через которую проходит огромное количество рассеянной в пространстве энергии, — учил он. — Энергия эта являет себя во всех сферах его интеллектуально-чувственной деятельности; собственно, сфера эта едина: мыслить, чувствовать, творить и наслаждаться — одно и то же. Поэтому импотент не может быть художником.

Он величественно воздвигся и подал мне руку. Все кончилось.

Но на самом деле все кончилось в октябре, когда я вернулся с заработков на Северах, проветрив голову и придя в себя. Неделью я просаживал со старыми знакомыми часть денег, а ему позвонил второго октября, и осталось всегда жалеть, что только второго.

Тридцатого сентября его увезли с инфарктом. Через сорок минут я через справочные вышел по телефону на дежурного врача его отделения и узнал, что он умер ночью.

Родни у него не оказалось. В морге и в его жилконторе мне объяснили, что необходимо сделать, если я беру это на себя.

Придя с техником-смотрителем, я взял ключ у соседей и с неловкостью и стыдом принялся искать необходимое. Ничего не было. Все, что полагается, я купил в ДЛТ, а на Владимирском заказал венок и ленту без надписи. Вряд ли ему понравилась бы любая надпись.

Зато в низу буфета нашел я пачищу своих опусов, аккуратно перевязанную. Они были там все до единого. И еще четыре пачки, которые я сжег во дворе у мусорных баков.

А в ящике письменного стола, сверху, лежал конверт, надписанный мне, с указанием вскрыть в день тридцатилетия.

Я разорвал его той же ночью и прочитал:

«Не дождался, паршивец? Тем хуже для тебя.

Ты не Тургенев, доходов от имения у тебя нет. Профессионал должен зарабатывать. Единственный выход для таких, как ты, — делать халтуру, не халтура. Тем же резцом! Есть жесткая связь между опубликованием и способностью работать в полную силу. Работа в стол ведет к деградации. Кафка — исключение, подтверждающее правило. Булгаков — уже был Булгаковым. Ограниченные лишь мифологическими сюжетами — были, однако, великие художники. Надо строить ажурную конструкцию, чтобы все надолбы и шлагбаумы приходились на предусмотренные свободным замыслом пустоты: как бы ты их не знаешь.

А иначе приходит ущербное озлобление. Наступает

раскаяние и маразм. «Он бездарь! Я могу лучше!» А кто тебе не велел?... Раскаяние и маразм!»

Несколько серебряных ложек, мейсенских чашек и хрустальных бокалов оказались всеми его ценностями. Потом я долго думал, что делать с тремя сотнями рублей из комиссионки, не придумал, на памятник не хватило, и я их как-то спустил.

Ночью после похорон я опять листал две амбарные книги, куда записывал все слышанное от него.

«Учти „хвостатую концовку“, разработанную Бирсом».

«Выруби из плавного действия двадцать лет, стыкуй обрезы — вот и трагическое шемление».

«Хороший текст — это закодированный язык, он обладает надсмысловой прелестью и постигается при медленном чтении».

«Не бойся противоречий в изложении — они позволяют рассмотреть предмет с разных сторон, обогащая его».

«Настоящий рассказ — это закодированный роман».

«Короткая проза еще не знала мастера контрапункта».

И много еще чего. Все равно не спалось.

День похорон был очень какой-то обычный, серый, ничем не выдающийся. И он лежал в гробу — никакой, не он; да и я знаю, как в морге готовят тело к погребению...

Звать я никого не хотел, заплатил, поставили гроб в автобусе и я сидел рядом один.

Северное кладбище, огромное индустриализованное усыпальнище многомиллионного города, тоже к размышлениям о вечности не располагало в своем деловом ритме и в очередях у ворот и в конторе.

Мне вынесли гроб из автобуса и поставили у могилы. Я почему-то невольно вспомнил, как Николай I вылез из саней и один пошел за сиротским гробом нищего офицера; есть такая история.

Прямо странно слегка, как просто, обыденно и неторжественно все это было. Будто на дачу съездить. Но когда я возвращался с кладбища, мне казалось, что я никогда ничего больше не напишу.

ПОЛОЖЕНИЕ ВО ГРОБ

Усоп.

Тоже торжество, но неприятное. Тягостное. Дело житейское; все там будем, чего там. (Вздых.)

Водоватов скончался достойно и подобающе: усоп. Как член секретариата, отмаялся он в больнице Четвертого отделения, одиночная палата, спецкомфорт с телевизором, индивидуальный пост, посменное бдение коллег, избывающих регламент у постели и оповещающих других коллег о состоянии. Что ж — состояние. Семьдесят четыре года, стенокардия, второй инфаркт; под чертой — четырехтомное собрание «Избранного» в «Советском писателе», двухтомник в «Худлите», два ордена и медали, членство в редколлегиях и комиссиях, загранпоездки, совещания; благословленные в литературу бывшие молодые, дети, внуки; Харон подогнал не ветхую рейсовую лодку, а лаковую гондолу — приличествующее отбытие с конечной станции вполне состоявшейся жизни.

Газеты почтили некрологами; Литфонд выписал причитающиеся двести рублей похоронных; и гроб, в лентах и венках, выставили для прощания в Белом зале писательской организации.

К двенадцати присутствовали: от правления, от секции прозы, от профкома, месткома и парткома, от бюро пропаганды и Совета ветеранов; посасывали валидолычик одышливые сверстники, уверенно разместились по рангам и чинам сановные и маститые; подперли стенку пер-

спективные из Клуба молодого литератора, привлекаемые в качестве носителей гроба (лестница). Родня блюла траур близ изголовья бесприметно и обособленно.

Минуты твердели и падали; в четверть первого выступил вперед и встал в головах второй (рабочий, так называемый) секретарь Союза, Темин, с листком в руке. Склонением головы обозначив скорбь, он выдержал паузу, давая настояться тишине, явить себя чувству, и профессионально открыл панихиду:

— Товарищи! Сегодня мы прощаемся с нашим другом, коллегой, провожаем в последний путь замечательного человека, большого писателя и настоящего коммуниста Семена Никитича Водоватова. Всю свою жизнь, все силы, весь свой огромный талант и щедрую душу Семен Никитич без остатка отдал нашей Родине, нашему народу, нашей советской литературе.

Семен Никитович родился... («Совсем молоденьким парнишкой впервые переступил он порог редакции», — взглядом сказал один маститый другому. — «Я хочу, чтоб к штыку приравняли перо», — ответил взгляд.) ...В сорок девятом году Семен Никитович выпустил свой первый роман — «Стальной заслон», тепло отмеченный критикой, и был принят в ряды Союза писателей СССР...

И еще пять минут (две страницы) освещал Темин творческий путь покойного, завершив усилением голоса на вечной памяти в сердцах и высоком месте в литературе.

Следом поперхал, оперся тверже о палочку Трощенко и в мемуарных тонах рассказал, каким добрым и интересным человеком был его старый друг Сема Водоватов и как много и упорно работал он над своими произведениями. И такое возникло ощущение, что Трощенко словно прощается ненадолго с ушедшим, словно извиняется перед ним, что из них двоих не он первый, и слушали его с сочувствием, отмечая и ненарочитую слезу, и одновременно инстинктивное удовлетворение, что он переживает похороны друга, а не наоборот.

Некрасивая, условно-молодая поэтесса Шонина вцепилась коготками в спинку ампириного стула и продекла-

мировала специально сочиненные к случаю, посвященные усопшему стихи; стихи тоже были некрасивые, какие-то условно-молодые, со слишком уж искренним и уместным надрывом, но все знали, что Водоватов ей протежировал, звонил в журналы, даже одалживал деньги — из меценатства, без оформленной стариковско-мужской корысти, и это тоже производило умиротворяющее, приличествующее впечатление.

И долго еще проповедали о человечности и таланте Водоватова, о трудной, непростой и счастливой его жизни, о замечательных книгах, несвершенных замыслах и признании народом и государством его заслуг.

Церемония двигалась по первому разряду. Как причитали некогда кладбищенские нищие, «дай Бог нам с вами такие похороны».

Полтораستا человек надышали в зале, совоя и мякнув от элегических мыслей о смерти и вечности, от сознания, что достойно отдают человеческий и гражданский долг покойному, выискивая и лелея печально-светлые чувства в извитых душах деловых горожан; время панихиды рассчитали грамотно, чтоб не успели перетомиться скукой, — но, как вечно ведется, речи затянулись, прибавлялось ораторов сверх ожидания, намекалось на сведение старых литературных счетов — перетекало в разновидность обычного и беспредметного собрания; по шестеро натягивая на рукава черные повязки, в шестую уже смену менялись в почетный караул у гроба, а в задних рядах поглядывали украдкой на часы, и все соображали, когда вернуться с кладбища и не сорвутся ли вечерние планы...

Уже вытирали пот и завидовали тем, кто толпился перед входом на лестничной площадке, не поместившись в зале, и там теперь имели возможность курить и тихо переговариваться.

И уже поднимался снизу водитель одного из автобусов и со спокойной грубоватостью человека рабочего и профессионала спрашивал у распорядителя похорон очеркиста Смелгинского, когда же наконец поедут, и уже председатель похоронной комиссии пышноусый

научно-популяризатор Завидович кивнул коротко Темину и собрался показать рукой, чтоб разбирали нести венки, а молодым литераторам поднимать гроб, когда из настроенной к шевелению толпы выделились двое и подступили к Завидовичу с интимной деловитостью посвященных.

Тот, что помоложе, в официальном костюме и с официальным лицом, отрекомендовался нотариусом и известил вполголоса, что имеет место завещание покойного, и воля его — огласить в конце панихиды письмо-прощание Водоватова к коллегам. В доказательство чего открыл номерные замки дипломата и предъявил заверенное завещание.

Второй же, старик в черной пиджачной паре со складками от долгого пребывания в тесном шкафу, на вопрос: «Вы родственник... входите в число наследников?» — ответил не совсем впад: «Нет, я его друг... по рыбалке, и на Шексну ездили, и везде... говорили обо всем... много». Дискант старика срывался, выглядел он волнующимся, неуверенным...

Темин приблизился, также ознакомился с завещанием и сразу выцелил, что старику, Баранову Борису Петровичу, отказывается две тысячи рублей, при условии, что он выполнит неукоснительно последнюю волю покойного и прочтет над гробом его последнее обращение к коллегам.

Н-не хотелось Темину это разрешать... но и отказать было невозможно, да и причин не было; он повертел плотный желтоватый конверт, запечатанный алым сургучом с Гербом СССР, вручил Баранову и разрешающе кивнул: давайте, мол, но скорее, время поджидает.

Старик подержал конверт и стал ломать сургуч, кроша.

Темин, выдвинувшись, объявил:

— Товарищи! Семен Никитич, помня обо всех нас, перед смертью попрощался с нами. Есть его прощальное письмо. Прочсть его он поручил своему другу, личному другу... (выслушал подсказку нотариуса за спиной) близкому, старому другу Борису Петровичу Баранову. — И отступил.

Старик шевельнулся на пустом пространстве, помедлил, посмотрел в спокойное мертвое лицо с натеками подле ушей и протянул руку, коснулся плеча покойника живым, отпускающим и успокаивающим жестом.

Развернул бумагу, моргнул, неловко одной рукой принялся извлекать очки из очешника и пристраивать на нос.

И наконец, прерывисто вздохнув, вперившись в строчки, спертым пресекающимся голосом произнес невыразительно:

— «Поганые суки.

Ненавижу вас всех. Ненавижу.

Подонки. Бездари. Грязь.

Чтоб вы сдохли скоро и в муках.

Воздаст Господь каждому по его делам, воздаст».

Разверзлась пропасть, весь воздух вдруг выкачали, и далекий рассудок бил на дне агонизирующей ножкой.

Кучка молодых забыла считать стотысячные гонорары усопшего, чем занимала себя последние полчаса.

Старик Баранов капнул потом на лист, выровнял дух и продолжал чуть громче:

— «Покойник здесь я. Я здесь сегодня главный. А потому будьте любезны слов моих не прерывать: даже у дикарей последняя воля покойного священна. Надеюсь, даже вашего непревзойденного хамства и легендарной подлости не хватит на то, чтобы сейчас заткнуть мне рот. Хотя вам не привыкать затыкать рты покойникам, да и вкладывать им, теперь уж абсолютно беззащитным, ваши подлые и лживые слова. Но посмотрите друг другу в глаза, коллеги: кто же еще скажет вам правду вслух?»

Возникло краткое напряжение неестественности: простое желание переглянуться с соседом противоречило неуместности следовать глумливой указке.

— «Как не хотелось продаваться, коллеги мои по грязи и писательству. Как не хотелось писать дерьмо и ложь, чтобы печататься и быть писателем. Как не хотелось молчать и голосовать за преступную и явную всем ложь на ваших замечательных собраниях. Как не хотелось быть в унисон, да не с волками — с гиенами, пожирающими

падаль. Как не хотелось соглашаться с тем, что бездарное — якобы талантливо, а талантливое и честное — ошибочно и преступно.

Да — я играл в ваши игры. Потому что тоже не лишен тщеславия и честолюбия, и хотел писать и быть писателем, хотел известности, денег и положения, потому что были у меня и ум, и силы, и энергия, и Богом данный талант — был, был! и я видел, что могу писать много лучше, чем бездарные и спесивые бонзы вашего вонючего литературного ведомства, раздувшиеся, как гигантские клопы, в злой надменности своего величия. Величия чиновников, сосущих соки собственного народа и душащих всех, кто талантлив и непохож.

Ненавижу этих хищных динозавров соцреализма, на уровне своего ящериного мозга обслуживающих последние постановления партии — в любом виде, в любой форме, когда постановления эти издавались бандитской шайкой, тупыми карьеристами, ворами и растлителями.

Что за гениальная мысль — создать Союз писателей! С единым уставом и единым руководством. Штатных воспевателей государственной машины. А еще гениальнее — дома творчества. Вот тебе комната, стол, кровать, горшок, четырежды в день кормят по расписанию, в обед продают водочку, а вечером крутят кино. Гениально! Странно только, что не ходят строем и не поют утром и перед сном Гимн Советского Союза.

Из гроба плюю я на ваш Союз, на ваше правление во главе с мерзавцем товарищем Маркиным, на ваш устав, на ваши гадские спецкормушки и спецсанатории!»

Хрустнула перевернутая страница. Старик проникся текстом и декламировал с выражением. Нетрудно было догадаться, что на своих рыбалках они не раз толковали, отводя душу, глушили водочку и кляли все и вся.

При упоминании Маркина Темин, Завидович и еще ряд руководящих выказали явные признаки беспокойства. Они как-то сориентировались друг к другу, обмениваясь каменными движениями век. Молодежь внимала с вдохновенным счастьем. Скандал перешел последнюю грань:

акция требовала пресечения. Утопления, смазывания, торпедирования, спуска на тормозах. Толпа дышала с выражением готовности осудить.

— «Прошу нотариуса предъявить свидетельства психиатра и невропатолога, что сие написано в здравом уме и твердой памяти. А то с наших ухарей станется объявить это предсмертным бредом больного, я их знаю, негодяев, опыт у них большой».

Дьявольская предусмотрительность покойника смутила руководящих товарищей; Темин растерянно опустил руку, протянутую было к письму, и сделал вид, что говорить ничего не собирался.

В кучке молодых гробоносителей ахнули в восторге.

«Когда государство превращается в мафию, то все государственные институты — отделения мафии. Живущие по законам мафии. Одни прорвались к пирогу и защищают его, как двадцать восемь панфиловцев — Дубосеково, другие рвутся к нему, как танки Гудериана к Москве. Да здравствуют советские писатели — продажные шакалы диктатуры бандитов! Ура, товарищи!»

— Да что же это такое!! — вознегодовала детская писательница Воробьева, взмахнув черными кружевными манжетами. — Александр Александрович! что же вы молчите?! это же политическая диверсия! Откровения двурушни...

— Товарищи, — офицерским непререкаемым голосом скомандовал Темин, кроя гул, — лица, не обязанные по своему служебному долгу присутствовать на панихиде, могут покинуть зал.

Возникло броуновское движение литературных молекул, не пересекающее, однако, черты порога; никто зала не покинул. Скуки не было в помине, глаза горели, интерес глодал, все хотели слушать дальше и досмотреть, чем все это кончится.

Старичок гвоздил:

— «Писатели по работе своей — одиночки, писателей нельзя собирать в кучу, каждый писатель имеет свое мнение обо всем, а если нет — дешевый он писака, а не пи-

сатель. А если партийный билет и партийная дисциплина заставляют вас писать то, что велит вам партия — так называйте это партийной пропагандой, но не называйте литературой!

Да, поздно я понял, что писательство — это крест, а не пряник. Не хватило мне мужества пойти на крест, не хватило! Не смог отправиться в дурдом, в лагерь, в камеру к уголовникам, к стенке: боялся! Боялся быть как бы случайно сбитым грузовиком или оказаться выгнанным отовсюду безработным, которого возьмут разве что грузчиком в магазин.

Ну что, больше всех небось радуется кучка молодых, которых призвали мой гроб тащить?»

Все взоры сфокусировались на молодых. Молодые поперхнулись.

Молодые одеревенели скорбно и оскорбленно даже, тшась стереть с лиц пред начальством приметы преступного веселья. За спинами кто-то пискнул и захлебнулся, словно рот себе зажал ладонью.

— «Уже давным-давно я не хотел жить здесь. Понимаете? — не хотел!!! Я мечтал жить в тихом городке в Канаде, мечтал провести несколько лет в Париже, в Нью-Йорке, увидеть Рим и Лондон, Токио и Рио-де-Жанейро — не из окна автобуса, не на десять дней с группой Союза писателей вашего долбанного, а сам, сам по себе, сколько хочу и как умею. Почему я не уехал, не сбежал? а потому же, почему еще многие — из-за родных. Мы же все в своем любимом отечестве обязаны иметь заложников и оставлять их дома, чтоб не дай Бог не удрали из нашей первой в мире страны социализма! Все прут от нас туда, а от них сюда — один шпион в три года, так его еще по телевизору показывают.

Я не хотел ваших дрянных постов и должностей, я хотел писать то, что я хочу, и посылать рукописи своему литагенту, и не знать никакого их пробивания. А если не возьмут? заработаю на жизнь ночным портье в отеле и издам тиражом пятьсот штук за свой счет...»

Раздался звучный вздох, произвольный и печальный.

— «Я вообще не ваш, если хотите знать! Да, был я когда-то комсомольским вожачком, был партсекретарем редакции, обличал врагов народа и врачей-убийц... но сявка я был, шестеренка, винтик безмозглый! А потом поумнел... но на апостольство решиться не смог. Но понял, все понял! Я не принимаю ваш строй, вашу партию, и нечего на одного Сталина валить все грехи — диктатура рождает диктаторов! Не Сталин — с самого начала начались концлагеря и расстрелы без суда и следствия, и затыкание ртов несогласным, и разорение умеющих работать; до Сталина начали убивать детей, и попирали закон, и бесстыдно лгать народу для достижения своих политических целей и... какого черта, Солженицына вы и сами читали в самое запретное время, а потом шли на собрания и клеймили его.

На меня плевать, сдох — и ладно, я свое пожил. А вот книги, умершие со мной, ненаписанные, я вам не прощу. Унижений не прощу, когда улыбался, льстил, хлопотал, услуживал, задницы лизал — а иначе не пробиться. Кто пробился иначе, а, дорогие друзья? Кто не подслуживался, не заискивал, не устраивал всячески дружбы с нужными людьми, даже если людей этих презирал и ненавидел? Ну-ка, кто такой благородный — вытряхните меня из гроба! Ну! Пауза».

На последних словах все не то, чтобы задумались... Старичок-Баранов с разгону, видимо прочитал ремарку в этом тексте-сценарии: паузу, наверно, следовало сделать ему и, наверно, посмотреть в зал: не найдется ли, в самом деле, такой благородный, который вытряхнет бесчинствующего покойника из гроба. «И следовало бы, честно говоря!» — неслышно повисло в воздухе над начальствующей когортой.

Взлетевший Баранов честно и теперь даже вдохновенно выполнял свой последний дружеский долг, — или, если подойти иначе, отрабатывал две тысячи рублей, — весьма весомая сумма для пенсионера, да и не только пенсионера.

— «Хотите знать, что нам нужно? Только одно —

многопартийная система. А честнее говоря — отмена запрета под страхом концлагеря на любые политические партии кроме КПСС. Партия, совершившая такие преступления против своего народа, не имеет права, не должна, не смеет оставаться у власти. Сколько было у нас путей — и все ленинские! удивительная геометрия, любой топограф с ума сойдет. И только тогда будет демократия, свободное предпринимательство, открытые границы и конвертируемая валюта. И не будет сволочного Госкомиздата, благодаря координирующей деятельности которого одна и та же книга набирается и редактируется двадцать раз в двадцати издательствах... чтоб он сгорел во главе со своим председателем, держимордой и иудой».

(«Ого! дошел и до общей политической программы!» — «Завещание съезду, а». — «Фига в кармане...» — «Милое, однако, устройство, при котором только мертвые и могут себе позволить... да и то...» — «М-да — уж им терять нечего», — прошелестели шепоты.)

Но оказалось, что мертвому терять очень даже есть чего.

— «Будь прокляты ваши кастрирующие редакторы, ваши анонимные цензоры, ваше страшное и кровавое НКВД-КГБ — вечное проклятие палачам Лубянки! — ваши нищие магазины и за жиревшие холуи во князьях, ваше рабское бесправие и всесильная ложь. Я жил среди вас, все делал так, как делаете вы, добился ненужных благ и почестей, которых добиваетесь вы... — но уж хоть после смерти лежать среди вас не хочу я.

Похорон, могил, памятников и речей над свежим холмиком не будет. Хватит фиглярства.

Завещаю свое тело анатомическому театру Первого медицинского института.

Нотариуса прошу предъявить товарищу Темину, второму секретарю писательской организации, — он, я полагаю, возглавляет этот цирк, — если не сбежал еще, бродяга, — ау, Сашок, ты здесь?..»

Темин побагровел, чугуinea массивно. Несколько человек — от входа, из безопасности — заржали откровенно и бессердечно.

— «...предъявить расписку в получении мною от упомянутого театра ста пятидесяти девяти рублей за мои бранные останки и письменное согласие родственников, заверенное нотариально. Ничего, пусть живут счастливо на мои гонорары и смотрят на мой портрет, незачем таскаться вдаль к камню над моими костями, которые мне уже отслужили, пусть теперь хоть медицине послужат.

Панихида окончена, всем спасибо.

А теперь пошли все вон отсюда, к трепаной матери. Я устал, знаете, за семьдесят четыре года, пора и отдохнуть от вас».

Старик Баранов опустил локти, растопыренные предохранительно над письмом, как крылья наседки над цыпленком, письмо аккуратно сложил и поместил в конверт, а конверт перегнул пополам и спрятал во внутренний карман.

Наступила совершенно понятная заминка, неловкая и неопределенная. Вроде и нельзя расходиться, и надо расходиться, и... нет, ну безобразная, идиотская, невыносимая ситуация. И что теперь делать? чем все должно кончиться?

Баранов утирал лицо и шею над размокшим воротничком. Темин гнал блиц-переговоры с Завидовичем. Хоть теперь следовало брать инициативу в свои руки, и немедленно. Естественно, никому не хотелось принимать ответственность за беспрецедентный скандал.

Верх взял, само собой, старший по должности, закончив неразборчивые дебаты категорическим приказанием. Завидович вытянулся «смирно»:

— Товарищи! Ввиду всех обстоятельств и необходимости уточнения деталей всех просят покинуть зал. Просьба покинуть зал! Церемонию считать оконченной, — брякнул он.

Помедлили, и потекли на выход. Оглядываясь, предвкушали перекурить сейчас происшедшее, посмаковать, переложив рюмкой в баре, обсудить и дождаться конца. Не каждый день, знаете!

— Насколько вообще все это законно? — допрашивал Темин нотариуса.

— Абсолютно, — подтвердил тот с некоторым даже удовольствием. — Медицинская экспертиза, заверенное завешание. Все соблюдено.

В затылок руководящий взгляд обкомовского товарища гнул Темина в подкову.

— Вы понимаете, что это подпадает под уголовную статью? И виновным придется ответить, я вас уверяю!

— Отнюдь; есть заключение юрисконсульта. Никакой пропаганды насилия, свержения, клеветы и нецензурных выражений.

— А публичное оскорбление гражданской церемонии? Этот чтец-декламатор сядет, есть кому позаботиться.

— Судом над Барановым вы раздуете всеобщее посмешище. Прикиньте последствия. Как юрист гарантирую его неуязвимость, максимум — сто рублей штрафа и предупреждение.

— А сколько вы получили за эту мерзость?! — не выдержал Темин.

— Отчеты о гонорарах я подаю в коллегия.

— Но можно в чем-то изменить его волю?.. это же нонсенс...

— Я обязан проследить и настоять на исполнении закона.

Товарищ из обкома броненосно подплыл и увлек нотариуса в сторону — втолковать.

Белые лепные двери в опустевшем зале распахнулись — по паркету протопали двое ребят в синих коротких пальто с какими-то шеvronами.

— Сюда сейчас нельзя, товарищи!

— Санитары из морга, — заурядно представился один, а второй ткнул мятую справку. — За трупом... вот.

— Не требуется. Кто вас прислал?

— Нас? Начальство. Распорядилось.

Завидович ворковал родственникам. Родственники слушали замкнуто. «...только посмейте... последнюю волю

отца...» — злобно отвечал желчный худой мужчина, сын, с ненавистью озирая доброхотов литературного мира. Семья в этой расправе обнаружила подготовленное единство. (Заговор! Группа!)

— Вот что, — объявил позабытый на отшибе старик Баранов. — Если вы его сейчас не отдадите согласно завещанию, то у меня заготовлены письма во все инстанции и газеты, и в западные консульства. С указанием фамилий и деталей, и текстом письма. И есть человек, который перешлет. Устраивает?

Похоже, это было правдой, черт ему сейчас не брат, чего ему бояться, пенсионеру, как его прищучишь?..

Матерый литературный волк, опытный интриган и предусмотрительный боец Водоватов с треском выигрывал свой посмертный раунд.

— А вам бы помолчать, — брезгливо уронил Темин. — Продались за две тысячи и теперь счастливы, что их получили. О вашем поведении сообщат куда следует, придется отвечать. Продажный циник...

Старичок коротко просеменил к Темину и с чудной ловкостью всадил ему пощечину. По массивной выскобленной щеке шлепнуло сыро и звучно.

Темин выдохнул и закрыл щеку.

Старичок любовно потрепал покойнику плечо, рек:

— Молодец, Сенька! По Сеньке шапка! Прощай. До встречи! — и поцеловал в губы. От дверей бросил санитарам: «Давайте, ребята, давайте! Ну!»

На лестнице попыхивало, побулькивало обсуждение: что плюнул в лицо, подлец; что двурушник, главное зло, не разглядели, гнать надо было; нет, все-таки сошел с ума, а экспертиза липовая, да и знаете же наших горе-психиатров; но как допустили, не прервали, гипноз какой-то, растерялись; что а все-таки молодец, но так высказывались немногие малоосторожные, малоопытные; а больше народ все был тертый, осмотрительный, и фразы преобладали нейтрально-неодобрительные.

Поглядывали на двери и часы.

Санитары вынесли гроб. Им помогали сын и нестарый родственник.

Все внимательно проследили в стрельчатое окно на площадке, как гроб задвинули в больничный «рафик» и укатили.

Баранов-старичок отдулся, раздернул воротничок с галстуком и покрутил шеей. Он был здесь сам по себе, отдельный, как бы и не обращающий на себя ничего внимания.

У перил курила своим кружком шестерка «молодых». Старичок примерился взглядом к лысеющему, лет тридцати пяти, вполне простецкого обличья.

— Эй, мальчик, — сказал он, — выпить хочешь?

— С вами? — немедленно откликнулся тот. — С огромным удовольствием.

Старичок извлек четвертную.

— Тогда сбегай, голубок, возьми литр, — сказал он. — Как раз уже открылись. Помянем!

РАНДЕВУ СО ЗНАМЕНИТОСТЬЮ

1. Парад

Торжественный зал. Люстра, кинохроника, смокинги, блики фотовспышек на лысынах. Неудержание лесты: симфония славословий.

— ...за величайшее достижение в области литературы двадцатого века. И, может быть, литературы вообще!..

Не помыслить в искусстве (и в науке!) свершения большего, чем ответы на все вечные вопросы. Дерзновенна уже одна мысль о постановке подобной задачи.

Эта задача не только поставлена — она решена.
(*Овация.*)

Сегодняшняя Премия, слава, богатство — суетный прах, запоздалая тень заслуженной награды, которой по праву мы чтим Его. Слава и честь покорителю высочайшей из вершин, чей подвиг не будет превзойден в веках.
(*Бурная овация. Чествуемый промакивает лоб платком.*)

— Путь на вершину — это восхождение на Голгофу, а не на пьедестал. И чем выше вершина — тем тяжелее крест. Пьедестал памятника сделан из плахи таланта.

Ум его не знал запретов, а воля не ведала преград. Отказ от карьеры, сгоревшие страсти, погибшие способности, годы унижений и нищеты, непереносимых сомнений, разъедающих кислотой душу и мозг, годы метаний и мук,

когда обретение оборачивается миражом, и непостижимость миража заворачивает сумасшествием и баюкает самоубийством — такова плата за гений: бесценное сокровище, открытое человечеству. *(Зал слегка пришиблен.)*

Выжженная земля остается за спиной того, кто один на один уходит в погоню за истиной. *(Нерешительные аплодисменты.)*

— ...пример неколебимой стойкости духа. Юность и страсть, здоровье и мудрость, честность и сила переплавились в сжигающем жаре вдохновения, являя невиданный сплав — ту человеческую сталь, для которой возможно даже невозможное.

Вера и мужество, интуиция и расчет, труд и талант, целеустремленность и нечеловеческая выносливость — малая часть качеств, необходимых для написания истинной Книги. Той, что открывает человечеству новую страницу в познании. *(Чествуемый уже тихо тоскует.)*

— ...венец величественного здания литературы, созданного гением земной цивилизации! Пока существует человечество — оно будет читать эту Книгу и свято чтить это имя. *(Жарко; клюют носами, поглядывают на часы.)*

2. Реверанс

Ответная речь. Кукушка хвалит петуха. Чествуемый с невозмутимым лицом Будды утверждается на кафедре, как адмирал — на мостике рыбацкой шхуны. На всех лицах изображается именно то чувство, что они лицезреют величайшего из людей. Звон тишины служит увертюрой к речи.

— ...незаслуженные почести. *(Поклон залу. Овация.)*

Если человек любит свое дело — величайшей для него наградой является возможность свободно заниматься этим делом — так, как он хочет и видит, понимает нужным.

Иногда я чувствую себя не автором Книги, столь высоко оцененной вами, а лишь ЕЕ представителем, подчиненным, гидом, что ли. *(Дружелюбный смех в зале.)*

На мою долю выпал редкий и счастливый случай: полное понимание при жизни, признание современников. В каждом ли солдатском ранце лежит маршальский жезл — но за каждой солдатской спиной стоит смерть. Охотник за истиной должен быть всегда готов к тому, что удача застигнет его вдали от людей, и голос не успеет покрыть пройденную даль, покуда он жив. В моем ремесле победа не любит свидетелей.

Я был всегда готов к забвению и смерти: таковы условия игры. И когда ты принимаешь их, то получаешь шанс выиграть. Если не побоишься передернуть в верный момент. (*Шевеление и звуки в зале.*)

Удостоенный сегодня за мою работу высшего из всех возможных отличий... (*поклон; орация*)... я хочу напомнить: писатель не существует без читателей, как не существует магнит с одним полюсом. Необходимы все те, кто читает, и все те, кто не читает — тоже: ибо основание держит весь груз горы, венчаемой пиком.

Книга начинает свою жизнь после прочтения. До тех пор созданное писателем может быть завершено и совершенно — но еще не живет. Первое прочтение читателем — это тот шлепок, который акушерка дает младенцу, вызывая первый вдох.

Я благодарю вас за жизнь, которую вы вдохнули в мою Книгу. (*Орация.*) За труд, которым вы завершили мою работу, не имевшую бы смысла, не будь всех вас. (*Бурная орация.*)

Я благодарю моих отца и мать, которые родили меня, вырастили и воспитали.

Моего брата, любящего и верящего в меня всегда.

Мою жену, разделившую со мной небезбедную жизнь безоглядно и верно.

Моих учителей, живых и мертвых, у которых я научился всему, чему мог.

Моих друзей, чье тепло, доброта и понимание помогли мне выжить.

Моих врагов, которые научили меня быть сильным, не бояться и побеждать.

3. Знакомство

Пресс-конференция. Помпезная процедура разбавляется привычным профессионализмом журналистов.

— Что Вы чувствуете сегодня, в этот знаменательный для Вас день получения Высшей Премии?

— Ничего особенного. Приятно, разумеется. И слегка презираю себя за то, что приятно: надо быть выше атрибутики и суетных наград.

— Но Премия — знак признательности современников. Вы нашли дорогу к их сердцу и уму — это не может быть безразлично автору?

— Любому хочется, чтоб его понимали — причем так, как он сам считает правильным. Но это практически исключено: автор понимает одно, читатель другое, критик третье, журналист четвертое — если вообще читал то, о чем говорит.

— Вы не уважаете читателей?

— Я рад каждому, кто меня как-то понимает и кому я могу что-то дать. Но нельзя корректировать свою работу в зависимости от читательских отзывов. Кто делает что-то в искусстве — должен быть принят теми, кто в нем менее компетентен, чем автор. Следуя пожеланиям и взглядам читателей, я низведу свою компетентность до уровня людей некомпетентных, непрофессионалов, — что же нового я смогу им тогда дать, если стану писать так, как они уже знают (коли советуют)? Понимание писателя читателем обогатит читателя; следование писателя за читателем обеднит обоих. Увы — мы пережевываем сейчас эту банальную истину только по дилетантству задавшего вопрос. *(Смешки и сомнение в зале.)*

— Присуждение Премии явилось для Вас неожиданностью?

— Нет. Еще в двадцать лет я знал, что получу ее. И не ошибся в сроке.

— Вы приписываете это своему таланту? случаю, воле, удаче? гениальности?

— Я не знаю, что такое «талант», и что такое «гений»

я тоже не знаю. Для себя я оперирую понятием «работать хорошо». Я работаю хорошо.

Удача? Судьба благосклонна к тем, кто твердо знает, чего хочет. Воля? Вид пропасти заставляет строить мост. Произошло лишь то, что должно было произойти.

— Хорошо: что Вы почувствовали, только узнав о присуждении Премии?

— Вам нужен восторг, счастье, необыкновенный подъем? Нет; лишь легкую тоску оттого, что ничего этого я не почувствовал... «Он один был в своем углу, где секунданты даже не поставили для него стула». И все-таки было знание: я сделал то, что должен был сделать. Видите ли: мало написать Великую Книгу — надо добиться признания ее таковой.

— Вы верите в неизвестных гениев?

— Бесспорно. Ведь гением признается тот, чей труд был раньше или позже признан. Понят, принят. Оказал влияние на умы, на развитие идей, науки, деятельности, — на человечество. Макрокосм нашей культуры, расширяясь, развивается и движется в каком-то преимущественном направлении. Разведать и проложить дорогу, пробить выход на нее — вот работа гения.

Но:

Человечество может быть не готово к этому открытию.

Может не заметить его.

Может избрать один из ряда аналогичных вариантов.

Или открытие может опоздать.

Гений — это творец, застолбивший участок на золотой жиле истории. На той дороге, по которой пойдет человечество. Ее трудно знать наверняка. И она может иметь боковые, параллельные пути — на которых безвестные гении лишены признания в веках: история мчит мимо у горизонта, воздавая хвалу удачливому их собрату.

То есть. Гением нужно быть, но, будучи гением, можно являться таковым пред человечеством, а можно не являться.

Самоучка-портной создал дифференциальное исчисление — давно известное математикам.

Законы Максвелла за сорок лет до него открыл и сформулировал забытый английский профессор: он не сумел привлечь к себе внимание.

Колумб не первый открыл Америку — он первый открыл ее вовремя.

Гений — это именной указатель (часто посмертный) на столбовом пути прогресса. Для прогресса хватит одного пути, а для указателя — одного имени.

В искусстве же, которое условно, и система условностей которого не есть абсолют, особенно часто со всей дерзостью, оригинальностью, глубиной — отклоняются от столбового пути в забвение. Иногда — чтобы быть на указателях когда-нибудь вновь. Был век забвения Шекспира. Посмертная слава художников. Доисторические пещерные росписи, открытые сто лет назад, воспринимались поначалу как несовершенный примитивизм, а позднее — как блистательные стилизации.

Какая бездна смысла и красоты открывается японцу в крошечном садике, ничтожном на взгляд поверхностного и грубого европейца! Так вот: на свое гениальное творение надо заставить людей смотреть столь же внимательно и углубленно, как тот японец.

— На что Вы намерены потратить Премию?

— Деньги всегда сами найдут, куда уйти. (*Пожатие плеч. Смех в зале.*)

— Но ее сумма играет для Вас роль?

— Десять лет назад это могло бы сделать мою жизнь полней, смягчить трудности, позволить больше работать. Сейчас — это не важно.

— Вы из тех, кто презирует богатство?

— Я из тех, кто ненавидит нищету.

— Если верить прессе, Ваши доходы ныне очень высоки?

— Верить ли прессе — тут виднее вам. Пожалуй, у меня есть сейчас чуть больше, чем я когда-то хотел. Но я не жалею. (*Смех.*)

— Что помогло Вам выстоять в лишениях?

— Неизбежность победы. Наслаждение борьбой. Счастье работать свободно и в полную силу: не гнуть

спину и совесть за деньги. В общем все пережитое соответствовало моим желаниям. Если ясно видишь обстановку и сам делаешь выбор — то уж стой и не падай. Я знал, что свое сделаю.

— У Вас бывали приступы отчаяния?

— Бессильного бешенства — да.

— Вам случалось терять веру в себя?

— Отменная глупость. Нет.

— Ваш девиз?

— Не было — так будет. Сделай или сдохни.

— Как зародился замысел Вашей Книги?

— Моя любимая притча — «Ворота» Кафки: «Они были предназначены для тебя одного...»

Мне было тридцать два года, и я писал рассказ, где было сказано о любви все — «Соблазнитель». Я рассуждал о счастье и анализировал психологический механизм отказа от него — извечный парадокс, решение которого дает богатейшие следствия.

И как-то ненастным мартовским вечером я настолько удалился от начала по проявляющейся паутине следствий, что вообще отложил рассказ, вернувшись к нему четыре года спустя.

Уловленная нить логики уводила в глубины буквально всех основных вопросов бытия. Я стал искать основной принцип, могущий как-то объединить все аспекты бытия, спроецировать их на некую одну плоскость: искать единую систему отсчета, насколько мог ее представить на основе собственных знаний.

Вроде получилось. До странности легко получилось...

И уже в темноте, в постели, в третьем часу ночи, затуманенный хаос открытия дрогнул в воспаленном мозгу, и ясное знание прорезалось четко, как бронзовый чекан.

И жутковато повеяло: не может смертный постигнуть то, что открылось мне. Открылось с абсолютной непреложностью...

Шли дни: я холодел в возбуждении. Я не сомневался в очевидном, но суеверие покалывало: неужели — Я?..

Я трезво прикидывал исходные данные: исторический момент, свою личность и судьбу... и утверждался в том, что действительно создал новое, универсальное учение, приложимое ко всем аспектам бытия, объемлющее все известные основы наук и объясняющее все сущее — от особенностей человеческой психики — на одном полюсе учения, и до Судьбы Вселенной — на другом.

Ну что ж, сказал я себе. Почему бы тебе и не быть чуть-чуть умнее, чем царь Соломон. В конце концов, у тебя лучшие условия для спокойной работы.

А дальше осталось только детально разработать приложение Метода ко всем основным вопросам.

— Но Ваша Книга вредна: она отняла у людей веру в будущее?

— Знание истины не может быть вредным, ибо истина существует независимо от того, знаем мы о ней или нет. Знание — необходимо для выбора верных действий. Я дал людям знание будущего. Они могут им распорядиться. Если смогут. Разве те, кто отнял веру в Бога, не дали знание и не повысили ответственность человека? Отгораживаться от истины — значит лишать себя перспективы; и это возможно лишь на время.

— Но Вы отрицаете перспективы!

— Отнюдь. Юноша знает, что состарится и умрет: это не мешает ему наслаждаться жизнью и строить судьбу, цenia время.

— Вы пессимист?

— Нет. Скорее стоик. Истина вне пессимизма или оптимизма, вне добра и зла и вообще оценочных категорий антропоцентризма.

— Вы верите во что-нибудь? Во что Вы верите?

— «Надежда в Бозе, а сила в руке». Мне симпатичен взгляд норманнов: вера в судьбу прекрасно сочеталась у них с верой только в силу собственного оружия. Я не знаю, что такое вера. Продленное желание? Экстраполяция знания, замешанная на энергии, желании, — пусть даже вопреки кажущейся очевидности, кажущемуся здра-

вому смыслу и банальным полуистинам: ощущение высшей истины... Но меня больше устраивает определение: знание.

— Что самое трудное для Вас в работе писателя?

— Нервное истощение. Настоящая работа делается на большом нервном перенапряжении: первое следствие — бессонница; становишься вял, сер, безмерно раздражителен и чувствителен. Запускаешь все, опускаешься физически. Забываешься горячечным сном под утро, урывками спишь весь день, неспособен отвлечься ни на что: мысль о каких-либо обязательствах, делах — несносно изматывает, гонишь ее. И лишь в сумерки обычно садишься за стол свежим и собранным, чтоб три — пять часов работать в полную силу.

— Вы считаете истинное служение искусству схимой?

— Отдаться страсти — это не схи́ма. Разве влюбленный, живущий одной любовью — апостол? Просто — прочие ценности отходят, исчезают, нет на них ни желаний, ни сил, ни особого интереса.

— То есть литература должна захватывать писателя целиком?

— Нет рецептов. Но если чутко прислушиваться к себе — работать в наилучшей форме, в наилучшее время, — то график работы начинает ползть по суткам непредсказуемо; твоя коммуникабельность делается как бы полупроводниковой: хочешь видеть кого-то только по собственному настроению, сам заранее не зная когда. Превращаешься в деспота, эгоцентриста (психически нездорового, в сущности, человека). Здесь не каприз, — это подчинение господству той силы, что делает тебя творцом... Рвутся дружеские связи, рушатся деловые: ты не в состоянии сделать ничего в заранее обещанное время, ничего, к чему не лежит душа, — раб своего состояния и своей работы, счастливый и сильный свободный раб; любая отвлекающая в перспективе надобность мешает, приводит в злобу, изгоняется вон...

Ведь писать имеет смысл только максимально хорошо. Значит, нужны оптимальные условия. Хотя помехи

могут помогать: успешнее сосредоточиваешься на работе при возможности.

— А что, для Вас, самое скверное в работе писателя?

— Ничего нового: зависть и злоба коллег. Они неизбежны и естественны. Человек стремится к самоутверждению. И мерит себя относительно других. Большой писатель своим существованием затеняет меньших. Быть вершинами хотят многие. Можно подняться выше всех — а можно выкосить всех, кто выше или вровень с тобой. Чаще используют оба способа. Здесь та же борьба за выживание, и побеждает сильнейший. Большой талант должен поддерживать себя большой жизненной силой и устойчивостью. Недаром официальных постов и почестей добиваются обычно заурядные писатели, но стойкие, цепкие, умелые борцы в жизни.

— Кого Вы считаете первым писателем двадцатого века?

— Говорят, когда Гюго спросили, кого он считает первым поэтом Франции, он долго кричал, морщился и наконец пробурчал: «Вторым — Альфреда де Виньи». *(Легкий смех в зале.)*

— Хорошо: Ваши любимые писатели?

— Чем больше знаешь, тем менее категоричен... В первую очередь — Эдгар По и Акутагава Рюноскэ. Из современных мне ближе прочих был Уайлдер. Есть еще один автор гениальной прозы о средневековом Востоке, но его фамилия вам мало скажет. Вообще я традиционен во вкусах: предпочитаю классику.

— Ваш любимый роман?

— «Война и мир».

— Что Вы в основном читаете?

— Я мало читаю. В основном перечитываю. Учиться надо у великих, и соперничать с ними.

Вообще не причисляю себя к интеллектуалам: чужое знание — исходный продукт и топливо для собственной работы. Что толку знать много, если не создашь ничего достойного сам.

— Но так можно создать деревянный велосипед?

— Минимум знаний необходим. Но я не хочу посвятить жизнь исчерпывающему изучению форм и видов шестеренок вместо создания велосипеда.

— Если взять Ваши вещи — они такие разные?.. А каково же Ваше лицо? Читателю хочется это знать.

— Читатель что, жениться на мне собрался? Или только читать? Творчество, человек, жизнь — многолики. И если ты умеешь видеть — каждый лик находит в тебе собственное соответствие. Нельзя изобразить лик Истины, утвердив примат одной ипостаси и отвергнув остальные.

— У Вас есть любимый жанр в литературе?

— Роман — это авианосец литературы. Рассказ — торпедный катер. Мощность разная... Но катер проскочит по рифам и мелководью, где нет хода судам крупнее. Он может решить многое; а свое искусство, скорость, риск — хороший катерник не променяет. Я люблю рассказ...

— Чем же Вы объясните свою литературную эволюцию?

— С годами размышление преобладает над чувством; накапливается опыт, утишаются страсти, нервы не тянут прежних нагрузок. Стихи — эссенция страстей в мастерстве условной формы — уступают место прозе; лаконично-многозначный, стилистически напряженный рассказ — переходит в более спокойные, описательные и рассуждающие повесть и роман. Так ищут приключений и открытий в молодости, свершений и достижений в зрелости, покоя и преемников знаний — в старости.

Конкретно же — в двадцать лет я решил, что рассказ как таковой пора завершать. В тридцать я свел каркас купола, венчающего новеллистику, и позднее обшил его полностью. В тридцать два я решил, что основные представления обо всем на свете — что вообще несколько выше литературы — тоже пора завершать. Что и сделал.

— Вопрос от рекламы: Ваш любимый напиток?

— Чай.

— Да нет, спиртной! *(Смех в зале.)*

— Русская водка. Иногда. Когда не работаю.

— Ваше любимое блюдо?

— Мясо. Много. Хорошее. Жареное.

— Сколько раз Вы были женаты?

— А вы? Я не кинозвезда: рост, вес, талия не интересуют?

— Есть мнение, что Ваши произведения излишне усложнены. Предмет литературы — в первую очередь душа человека, так? Не лучше ли без формальных ухищрений просто открыть душу, сказать свое, собственное, сокровенное, затронуть читателя до глубины сердца — чего ж еще? Лучше кого-то или хуже, оригинально или обыкновенно — не важно!.. главное — свое выразить.

— Выражаю свою скорбь: всю жизнь слышу этот смешной вопрос.

Чтобы выразить свое, надо а) иметь свое; б) суметь его выразить. Хрестоматийная истина: всякое искусство условно. Чувства и мысли выражаются условными средствами искусства. Читатель «не замечает, как это сделано», если уровень читательской культуры совпадает с уровнем писательской — т.е. они говорят на одном языке. Иначе — ярлыки «примитив» или «заумь».

Является ли индийская киноmelодрама, вышибающая у зрительного зала слезы из слезных желез (или из души, если вам угодно), высоким искусством? Или кинокоммерцией для масс?

Для одного — трагедия, для другого — банальность. Для одного — шедевр, для другого — смутная ерунда.

Школьный тезис: форма и содержание едины: содержание воплощается в форме. Буквы, слова, язык — уже условная форма для выражения информации. Но язык литературы несколько сложнее языка букваря. За фразой «Не важно, какая форма! чтоб и не замечать ее!» обычно подразумевается форма, естественная для высказывающегося — банальная, наиболее легко доступная. Забывают: некогда и такая форма была новаторством, революцией в искусстве, поводом к схваткам. В чем преимущество банальной формы над блестящей?

— Одна — для знатоков; другая — для всех. Почему Ваша беллетристика — для избранных, а Книга — для всех?

— Одно — искусство в его системе эстетических законов; другое — философия, очищенная от шелухи терминов и внутринаучных нагромождений: она задумана именно как проповедь для всех, отмытая и приготовленная к употреблению мысль.

— Оправдывает ли себя оригинальничанье любой ценой?

— В искусстве, как и во всем, остановки нет. Злоупотребление формой — это та часть пути в тени и низине, которую литература неизбежно должна пройти, если хочет выйти на новые вершины. Отказ от поисков новых форм — это лишение литературы перспектив ради сиюминутной прикладной выгоды: денег, рекламирования, успеха.

— А чем плохи старые вершины, чтоб от них уходить?

— А чем плоха молодость, что от нее уходят в старость? Есть один способ не стареть — умереть молодым. Эпигоны создают в литературе юноподобные трупы, которых водят за ниточки наподобие марионеток. Старея, рожают детей: с ними придет молодость.

— Вы приветствуете то, что именуется «модернизм»?

— Нет. Ошибочное не есть новое. Но не ошибается тот, кто не живет. Живая мышь лучше мертвого льва.

Какая бы система символов ни была принята в искусстве, каков бы ни был в нем «коэффициент условности», с которым писатель отражает жизнь, трансформируя изображение через свою творящую личность, — остается понятие, которое я называю «уровень хлеба».

«Уровень хлеба» — это буквальное отображение жизни в формах жизни, с копированием один к одному: это та линия отсчета, от которой развивается искусство и от которой оно не оторвется, как бы ни удалялось. Слезы и смех, счастье юности и скорбь старости, любовная страсть и ужас смерти — изображенные фотографически, безыскусно скопированные с природы, — всегда будут в общем понятны и окажут какое-то воздействие на человека, даже вовсе темного и неразвитого эстетически.

Жизнь первична, искусство — производная от нее. Натурализм — голая земля, на которой возводятся дворцы искусства: они надстраиваются и совершенствуются,

выходят из моды, оставляются и рушатся — сменяясь другими, возводимыми на той же земле.

Достижение литературой натурализма — это познание себя. Возвышение литературы над натурализмом — это совершенствование себя. Натурализм — та печка, от которой танцует литература: приемы меняются, жизнь остается. Натурализм — жив всегда. И нужен.

— Почему Вы тогда не натуралист?

— Потому что по достижении натурализма сущность искусства в том, чтобы преодолевать натурализм условными приемами — обогащающими, изошряющими, осмысляющими его. И пусть художника занесет до ненужных ребусов и наивной пачкотни — но таков путь...

— Вы постоянно противоречите себе?!

— Не более, чем любящая мать, которая наказывает ребенка для его же блага и после плачет от боли за него. Чтобы увидеть и понять предмет во всех его противоречиях, необходима смена ряда точек зрения. Иначе вы уподобляетесь тем трем слепцам, которые пощупали слона за хвост, ногу и хобот и устроили жаркую дискуссию: на что похож слон.

— Так все-таки изошренность и блеск формы мешают содержанию?

— Этот вопрос принадлежит мещанину, узнавшему, что он всю жизнь говорит прозой. А рифма и размер не мешают поэзии? Вот уж условная форма, без которой это искусство не существует. Не кастрируйте прозу до уровня обыденного трафарета.

— Вопрос для нашего еженедельника: Ваше хобби?

— Хобби — для тех, кого не устраивает их работа. Меня моя работа устраивает. Если я люблю женщин и путешествия, это нельзя считать хобби, верно? Наверное, я просто люблю жизнь.

— У Вас бывали творческие кризисы?

— Постоянно: я не успеваю отрабатывать и половины замыслов, которые постоянно возникают.

— Вам знаком пресловутый страх перед чистым листом бумаги?

— Бред. Всегда рад его испачкать. Я люблю писать. Не понимаю тех, кто «за уши тащит себя работать». Не хочешь — так и не пиши. Мне всегда приходится за уши оттащить себя от работы — чтоб восстановить до завтра силы работать дальше.

— В Вашей бурной биографии, очевидно, Вы почерпнули много сюжетов, идей, случаев; какие наиболее характерно отразились в Вашем творчестве?

— Пустое... Если меня мотало по свету, по разным работам, — это просто жажда жизни. Старая истина: приключения, любовь, творчество — это одна и та же жажда, просто утоляемая разными напитками.

Я никогда не ездил «за материалом», «за сюжетами». Жил, зарабатывал на жизнь, познавал что-то новое. Метод «приехал — увидел — спел» не заслуживает серьезного разговора: я не уважаю импотентов от творчества, чьи мозги неспособны выдать замысел.

Произведение рождается из диалога ума и сердца. Писатель — это блуждающая фаза, обнаженный высоковольтный провод: достаточно малейшего контакта с чем угодно — и вспыхивает дуга. Есть напряжение — годится и щепка, нет его — не поможет и железная гора, один шпик выйдет. А внешние события могут послужить лишь толчком — но никогда не основой той коллизии идей и чувств, которая есть суть произведения. Кроме того, при физической работе в тяжелых условиях интеллект как бы закукливается, притупляется чувствительность, размышления уходят, уступая место действиям.

Вот когда идея, внутреннее построение вещи родились — то ищешь адекватный материал для воплощения идеи в форме. Тут опыт помогает: среди знакомых реалий и находишь землю обетованную, которая становится родиной для твоего произведения.

— Ваши творческие планы?

— Завидую Шекспиру: писал в лучшие свои годы, а после умер на покое достойным частным лицом... Работать надо.

— Традиционный вопрос: почему Вы пишете?

— Это моя форма существования. В этом я нахожу максимальное применение всем силам ума и души. Знаниям. Желаниям. Это удовлетворяет мое честолюбие, в этом я самоутверждаюсь. К этому я, видно, наиболее пригоден. И еще это мне здорово нравится.

— Над чем Вы сейчас работаете?

— Никогда не спрашивайте о трех интимных вещах: с кем он спит, на какие деньги живет и что пишет. Если кто болтает об этом сам — дело его. (*Чье-то ржание в зале.*)

— А как Вы сами оцениваете свое творчество?

— Это один из тех вопросов, на которые не существует верного ответа.

— Критики находят у Вас много недостатков; как Вы к этому относитесь?

— Есть старая цыганская поговорка: «Удаль карлика в том, чтобы высоко плюнуть».

4. Оценка

Гудение в кулуарах: дым сигарет, решение вопросов, бар, приветствия, мелькание лиц.

— Видал я высокомерность, но такую...

— Какова самоуверенность! Пророк Господен!

— Для самоуверенности есть другое имя — знание.

— Он в эстетике дикарь! Важно нам вещал букварь.

— Ну, критики дикари точно такие же; тот же уровень...

— Знаем мы это проведение кампании по добыванию Премии... этот у самого черта рога вытянет: умеет обдѣлывать дела.

— ...нет ничего в его книгах, по совести-то говоря.

— Просто ловкий шарлатан. Он же смеется над всеми!..

— Венчайте индюка королем — и получите портрет этого парня.

— И умрет он не от скромности.

— А кто от нее умирал?

— Э, сегодня у него День головокружения от успехов; пусть потешится.

— Да он всегда такой — нагл, как фараон.

— Не-е, когда-то он держался таким скромнягой. Тихоня ползучий, где — тихой сапой, а теперь — так просто танком прет. Вовремя его придавить надо было. Хитрюга поганый.

— Я помню, как он втирался к сильным мира сего. Без мыла! Виртуоз! Под-донок...

— Чего ты пыхтишь — он что, чье-то съел? И правильно делал. Теперь он — герой на белом коне, а мы — шавки.

— Меня попрошу с обществом не смешивать.

— Есть какие-то рамки приличий, нет? Одно самолюбование!..

— А, все писатели мнят себя гениями, так этот хоть не лицемерит. От собратьев он отличается лишь честностью. Дает заглянуть в их душу, открывает ее без прикрас и кулис: смотри, знай! В чем его обвинять — в откровенности?

— Знакомство-то полезно, да самообнажение неприлично...

— Привет ханжам и конформистам!

— Интересно, какую жену он благодарил: первую, вторую или третью?

— «Соблазнитель», видите ли... Он основательно предавался изучению описываемого предмета, говорят...

— Ему хорошо... Когда он писал все это — нищета, видите ли! — семью-то кормить не надо было...

— Вот в этом ему можно позавидовать.

— Но что удивительно: умудрился связать воедино все давно известные вещи и создать впрямь новую Библию. Которую читают — все! И черт знает какая мудрость в ней; душу он за нее продал, что ли?..

— Удачлив, сволочь. Только и всего. Где другие всю жизнь пахали — он пришел, копнул в сторонке, и пожалуйста. Дуракам всегда везет.

— Широкий успех — признак банальности общедоступной книги.

— Все понимаю — но почему он? Есть же действительно хорошие, настоящие писатели...

— М-да, не талантом входят в литературу, а пробивной силой...

— А куда входят не пробивной силой?

— А я вот никогда не умел идти по головам! И не хотел!

— Ну так и молчи теперь, чего ты дергаешься.

— Но как он многословен! Покрасовался, болтун. Самоучка.

— Так он ведь к самоучкам и обращался.

— Слишком заумно все это для газеты и читателей.

— Отредактируешь, адаптируешь, причешешь: а ты на что.

5. Кумир

Толпа у входа. Бездельники в жизни — возбуждены страстью престижного зрелища: молодежь, взвинченные женщины, дамы старой полубогемы, пестро и буйновато.

— Как жить?

— Ходить по путям сердца своего: счастливо.

— А что такое счастье?

— Жить в полную силу своей души. Ничего не боясь.

— А Вы чего-нибудь боитесь?

— Нет. Мудрый человек может лишь чего-то хотеть, а чего-то не хотеть.

— Ваш главный жизненный принцип?

— Лучше сделать и раскаяться, чем не сделать и сожалеть.

— Каким должен быть идеал человека?

— Идеал человека — ангел... Наверное — нормальный здоровый человек, уверенный в себе, который хорошо делает все, за что берется, и никогда не хнычет. Вообще я вполне приемлю людей, какие они есть: правда жизни истиннее оценок и схем.

— Тогда почему Вы так высокомерны? (*Замирает от дерзости.*)

— Я был скромн: мне норовили наступить на голову.

— Вы злой! Почему Вы злой? (*Пытаются оттащить нахалку.*)

— Злой лучше работает. Злость помогает выстоять, она — резерв энергии, ищущей выхода. Злость — это запас силы.

— Разве доброта не лучше злости?

— Доброта — умение проникнуться нуждами другого; она позволяет понять другого. В действии она не способна преодолеть встречное сопротивление, подавить чужой враждебный интерес, не поддавшись ему: это отсутствие сильных страстей и целей, слабость и безразличие души. Доброта — чтобы понять, злость — чтобы совершить.

— Писать ли мне?

— Если вы спрашиваете об этом — то нет.

— А Вы правда все знаете?

— Правда. Я говорю о качественном знании, а не о количественном. Как печь хлеб — расскажет любой пекарь, но смысл и всеобщие связи этого процесса ему неизвестны.

— А не скучно все знать? Не тяжело?

— Отнюдь. Необычайно интересно. Тяжела скорее чужая тупость.

— А Вы бы хотели снова стать молодым?

— Я достаточно уважаю себя, чтобы не желать ничего изменять в своей жизни.

— А в каком возрасте Вы бы остановились, если бы пришлось выбирать?

— Тридцать два. Уже все знаешь, еще все можешь и хочешь.

— У Вас есть неисполненные желания?

— Нет. Но постоянно возникают новые.

— Вы во что-нибудь верите?

— В победу.

— Любой ценой?

— А разве бывает победа иной ценой?

— Вы сомневаетесь в себе когда-нибудь?

— Нет. Иногда сомневаются другие. Пусть не сомневаются.

— Как стать великим? Таким, как Вы?

— Кто спрашивает — не станет. Перечтите «Если...» Киплинга.

— Вы что, железный? Без слабостей и привязанностей?

— Да — так и тянет ответить в ваши восторженные глазки. Ерунда это все... Творят кумира, услаждая возбужденное воображение — это доступней и приятней, чем понять просто человека. Я из сплава покрепче, только и всего.

— Вы верите в любовь?

— Только убогий душой не знает ее.

— А что делать от несчастной любви?

— Добиться взаимности. Умереть. Хранить ее. Влюбиться снова. Но никогда не спрашивать совета.

— Вам нравится современная молодежь?

— Мне нравится и не нравится в ней то же, что и в обществе в целом: просто в молодежи все это ярче проявляется.

— А современные моды?

— Природа моды исключает споры: престижный момент, вечное обновление, условность дозволенного; все красиво по-своему.

— У Вас есть враги?

— Я не так ничтожен, чтобы не иметь их — и много.

— Что вы о них скажете?

— Дадим им копоти!

— Прощать ли врагам?

— Не считать их за людей. Давить при надобности и забывать. И обращать их действия себе на пользу.

— А нужно возлюбить врага?

— Сильного и умного врага уважаешь. Понимаешь его. Учишься у него. Можешь ему сочувствовать и даже его любить. Но это не должно помешать переступить через него — а лучше через его труп.

— А друзья у Вас есть?

— Поклонение не дает права на бесцеремонное копанье в душе.

— А что, если друг стал врагом?

— Горе побежденным.

— А если побежден ты?

— Не скули и готовь реванш.

— Вы циник! (*Настроение толпы меняется — она уязвлена.*)

— Я просто честен и умен.

— Вы жестоки!

— Я честен и силен.

— Вы эгоист!

— Я обязан делать свое дело. Кроме меня его не делает никто.

— А кому оно нужно?

— Мне. Но и вам: у нас одна культура и история на всех...

— Ваше самолюбование мерзко.

— Так зачем вы на меня смотрите? Я не стыжусь себя: честно говорю то, что другие ущемленно и спесиво лелеют в тени своих липких душонок, боясь обнажить их хилое уродство.

— Что такое труд?

— Деятельность, имеющая результатом материальные блага.

— Благословите меня!

— Не блажите: рад бы в рай, да грехи не пускают.

— На Вашей совести есть грехи?

— Для начала тут надо иметь совесть... Есть. И много. Я не боюсь их. Хотя для таких, как я, грехи не существуют. Я прагматик. А истина вне морали. Есть лишь суть вещи, действие, следствие и плата.

— Как Вам удалось выстоять?

— Удары сыпались на меня со всех сторон, пока однажды я не обнаружил, что откован в клинок.

— Какой возраст Вы считаете лучшим для писателя?

— Для прозаика — двадцать девять — сорок шесть. Взгляните в мировую литературу: исключения единичны.

6. Свой парень

Дым коромыслом: компания в ресторанчике, куда она перебралась после помпезного банкета: веселый цинизм, хмельная откровенность, дружеские издевки.

— Итак ты велик, богат и знаменит. Комнаты для гостей есть?

— Как обещано. В любое время. Условие одно: никаких умных разговоров.

— Ты не безнадежен: узнаешь старых друзей. (*Хлоп по плечу.*)

— Вся эта никчемная ерунда хороша одним — можешь что-то сделать, доставить удовольствие тем, кому хочешь...

— Ну ты порезвился! Дал им копотить!

— А, пустой триндеж. Если б господь бог не хотел, чтоб им хамили, он бы не создал их холуями.

— Напишу мемуары: «Мой друг — Зевс». (*Чокаются.*)

— А, иначе лакеи станут и Зевса учить величественным манерам.

— Не притворяйся, что тебе это все неприятно. Ты ведь с юности мечтал об этом.

— Кто не мечтал. И денег, и женщин, и любви, и славы, и благополучия, и приключений. И при всем еще счастья. (*Хмыкает.*)

— Ну, вот ты все и имеешь. Прорвался. Со стальной ложкой.

— И уплатил цену нищеты и унижений.

— Червями ползут многие, а вот доползти, чтобы взлететь орлом... Пардон, молчу. Зато теперь ты испытал все.

— Привычки нищеты въедливы, уродуют. Приниженность, зависимость от имущих, крохоборство, заикленность на деньгах — на грошах.

— Не ты ли проповедуешь полноту жизни? фарисей.

— Все одно — горе не мед. Его память обсахаривает.

— Тебя уже коллеги официально обсахарили, как марципан.

— Хочешь пососать? (*Хохот.*) Они уже вылизали.

Шайка идиотов. Когда-то мне хотелось купить вагон картош — чтоб эти наглые холуи носили их за мной в зубах.

— Так купи теперь. Понесут!

— Потом я научился не воспринимать их как людей.

Шахматные фигурки. Самоходное удобрение для моей грядки.

— Все?

— Нет. Нескольких я действительно уважаю.

— Ты гнусный карьерист; хочу брать у тебя уроки.

— У пирога одна верхушка, а у каждого едока по ножу. Чтоб занять свое место, нужно многих поставить на их места.

— А помнишь, ты говорил: «Стану когда-нибудь отъявленным негодяем»?

— Обещано — сделано! (*Хохот.*) Ребята, так охота быть добрым.

— Кто тебе не дает?

— Руки на стол! — дайте мне заплатить, ладно?

7. Милый-дорогой

Люкс в отеле: ночное окно, смятая постель, пустая бутылка, два силуэта.

— Я хочу знать о тебе все...

— Всего я сам о себе не знаю.

— А как ты начал?

— Кому это интересно... В тринадцать лет с лучшим другом мы болели «Тремя мушкетерами»; размышляли о жизни в развалюшке на задворках — школьным мелом написали на ней «Бастион «Сен-Жерве». Он и высказал: хорошо изобрести машину, чтоб видеть человека насквозь... А я сказал — ха: вот видеть человека насквозь без всякой машины...

С детства хотел я понимать каждого. И я стал понимать. И душа моя прониклась душой любого человека, его бедами и нуждами.

— Ты добрый. А в глубине злой. А в самой глубине совсем добрый...

— Я был добр. Совесть мучила меня всегда: в малейшей несправедливости, в каждой боли мира — была моя вина. Вина причастности и бессилия изменить.

Каждому отрезал я от любви моей.

И остался в ничтожестве. Своим мясом всех собак не накормишь.

— Неправда. Ты прожил настоящую, красивую жизнь.

— Многое кажется красивым, если это не с тобой сейчас. А когда болят зубы, и воняет изо рта, и нет денег на врача... Когда нечего жрать, и в долг никто уже не дает: «Ты знаешь, старик, я сам сейчас на мели...» — и глаза в сторону. Крадешь объедки в закусочных, кланчишь мелочь на улицах — «на метро», «на телефон». Когда готов отдать любимой женщине жизнь, но не можешь купить ей цветок.

— Как ты смог все это вынести...

— Мне было двадцать восемь — когда однажды ночью я перешагнул.

Я жил в конурке с окном на мокрые крыши, жрал один хлеб и писал. Я смеялся над нищетой в романах: «Бутылка молока», «кусочек колбасы!» Хлеб, кипяток, дешевое курево, — месяцами; годами. Но я писал то, что хотел! И не мог писать так, как хотел. По три дня искал слово! Три недели делал страницу. Был здоров, как колокол — а сердце болело. Если к концу рабочего дня оно не ныло — я ощущал себя самообманщиком.

И вот ночью, в осень, бродя под дождем в поисках фразы, я не то чтобы сказал себе, нет: внутреннее чувство оформилось в решенное осознание: я сдохну в дерьме под забором, но я буду писать так, как я хочу и должен.

И перевалив этот рубеж — стало легко. Просто. Не осталось в жизни ничего страшного. Я спокойно отыгрывал любой, малейший шанс — из глубины падения, куда я мысленно уже лег сам, добровольно. Мне было нечего терять. Путь мог быть только наверх.

Там, ночью, на дождливой площади у гранитной колонны, была моя настоящая победа. Остальные пришли сами.

8. Гамбургский счет

Рассветное шоссе, летящий «мерседес», руки на руле, сигарета в сжатых зубах. Смесь пьяного полубреда с не то аутотренингом, не то головокружением от успехов: приступ мании величия.

«Суровое величие

Высеченный гранит

Железный чекан

Надменность и сталь

Сила и победа

Уверенность и спокойствие

Жестокость и непреклонность

Холодное пламя успеха сжигало меня

Я супермен

Я железный

Я все могу

Я делаю невозможное

Ну что, загнули мне рога? Фигу вам всем! Мелочь пузатая. Не верю в экстравертов. Что болит — того не трогают. Сокровенного не выставляют. Слез моих хотели? души? хрен! Ничто меня не волнует. Ничто не трогает. Ни в чем не дрогну.

Да! — и плакал, и молился, в черном отчаянии гибнул, самое дорогое терял — да не надломился ни в чем. Не в том дело, чтоб не падать, а в том, чтоб тысячу раз упав — встать тысячу один.

Я уплатил по всем счетам. Все ухабы на дороге пересчитал собственной мордой. Эти шрамы — моя биография.

Я въехал на белом коне! — пусть это Конь Блед. Тяжелы мои глаза, жестоки мысли, тверда и безжалостна душа. И истина мира ясна мне, и впору мне ее груз.
(Прибавляет газ — спидометр на 130.)

Да! — я прошел с хрустом по головам, шелкая людей, как орехи. Прочь с пути, — я шел за своим: добыча тигра не по зубам шакалу. Нет преступления и нет подвига, которых я не совершил бы и не пережил в душе моей. Нет доблести и порока, неизвестных мне. Душа моя выжжена. Холодное пламя успеха выжгло ее. Стальной клинок на ее месте. И кровь не пристала к нему. (140 км)

Умом и напором, волей и хитростью, жестокостью и любовью, делая все возможное, а потом еще столько, сколько надо. Воля и страсть. Не отступать.

Опасно? — шаг вперед!

Сомнение? — шаг вперед!

Риск? — шаг вперед!

= (Визжат шины на вираже.)

Чертовы друзья, заявляющие на тебя права, лезущие когда надо и не надо с услугами и требующие близости взамен. Безмозглые любовницы, постельные трутни, лелеющие выдуманное чувство, урывающие денег, или тела, или души, или жизни, несущие себя в подарок именно тогда, когда тебе этот подарок — как булыжник в стекло. Сявки, паразиты! Если я вам нужен — приходите тогда, когда я сам позову вас. (Вихрем проносится встречный грузовик.)

Мощное, ровное, неотвратимое движение вперед.

Был я человек. А стал — инструмент в руках божьих и дьявольских. Душу продал, кровью расписался — в ту дождливую ночь.

Для таких, как я, справедливости не существует. Жрут, как могут. Так сломай зубы гадам. Да! — тысячу раз я умирал, стиснув зубы на глотке врага. (180 км)

Я должен был — и я дошел. Я смог. Один из всех. Супермен. Авантюрист. Танцующий убийца. И только по-моему. Только так может быть. Не могло быть иначе. Только так».

ЗА СЛОВО ОТВЕТИШЬ

Я начал писать в городе Ленинграде, и благодаря Ленинграду, и никуда уже от него не денусь. Произошло это на канале Грибоедова, угол Гривцова переулка, в средней школе № 253. Полгода я проучился там в пятом классе, а классной у нас была Надежда Александровна Кордобовская, и лучшей учительницы в жизни быть не может. Мы в ней души не чаяли, хулиганы и отличники, с ней жить лучше было, она умела каждому так показать лучшее в нем, что получивший кол за диктант мог заплакать от благодарности, что она в него верит и сегодня ошибок уже меньше. И Пушкина мы по малости лет учили из любви к ней, а не к Пушкину.

Читатель превращается в писателя постепенно, хотя скачок происходит сразу. Мое поколение росло на ясном перечне книг. Барто-Маршак-Михалков-Чуковский, Гайдар-Носов-Катаев, сказки всех народов мира и Джанни Родари с его классовой борьбой фруктов и овощей. То было время хороших книг! Классика еще жила и светила. Луи Буссенар, Майн Рид, Фенимор Купер, Жюль Верн — и в нарушение ряда ономастики кэптен Питер Блад. Дюма, Гюго, Диккенс и Джек Лондон входили в нас неким параллельным потоком, где никто никому не мешал.

Первой книгой, которую однажды утром в воскресенье я прочитал самостоятельно, был «Мальчиш-Кибальчиш». А первая прочитанная книга — это лишение литературной невинности; это отпечатывается навсегда; это

немало задает вектор литературного мировоззрения. О нашем активном коммунистическом мировоззрении родное книгоиздание заботилось; хотя вышло из этого не то, на что они рассчитывали.

А Надежда Александровна наша, лит-ра и русск.яз., вдыхала в нас литературу как главное в жизни. Новый год был морозный, а на каникулы мы получили задание: написать стихотворение о зиме. О таких заданиях вспоминают только вечером накануне.

Я знал, что напишу это плевое стихотворение легко и быстро. И, сев за стол, придумал рифму «морозы — березы». Через час, ничего больше не придумав, я впал в панику от неожиданной и полной бездарности.

За окном, вдоль Садовой, с железным воем пикировщиков летели ночные трамваи. Родители не обращали на мои муки внимания, дед посмеивался, но спать меня не погнали. В два ночи, уплывая в витые дали, я домучил свой шедевр. Правда, в первой строфе было четыре строчки, во второй — пять, в третьей — шесть, а в четвертой — семь. Однако в этом безумье была своя система, согласитесь. Не все строчки рифмовались, но «дичи — добычи» я помню.

Если первым чувством от соприкосновения с творчеством явилось тоскливое бессилие, то вторым было чувство безысходного позора. Я нес свой позор в класс.

Вот с этого дна начался путь вверх. Во-первых, потому что положения ниже и провала полнее все равно уже быть не может. Со дна воронки любой путь ведет вверх. А во-вторых, кроме меня никто в классе вообще ничего не стихосложил. Хотя клялись, что пробовали.

А пятых классов в том космически далеком 1959-м году в нашей школе было пять, и в каждом — по 45—47 человек. Время было такое. Победители вернулись с войны и родили детей. И вот во всех пяти пятых классах наша Надежда Александровна читала мое, с позволения сказать, стихотворение. Как лучшее. И почти единственное. Там еще штуки две набралось, так они были вообще. Ну не Лицей. Что делать. Дворян нет.

Много лет спустя, вспоминая, я вдруг перевел свой успех в конкурсный формат и получил первое место из двухсот тридцати (выпуска кадетов Вест-Пойнта, как же). Навара нет, но осадок остался.

...И ты думаешь о будущем, прикидываешь кем быть, и профессия писателя (потому что поэт — это слишком негарантированно оказалось) представляется подходящей. Вот Шолохов, говорят, много зарабатывает. Не надо каждый день вставать рано на работу. Слава. И за границу пускают. Определенно это хорошая профессия.

Ты еще не читал Достоевского и не знаешь, что любовь вспыхивает в сердце — а голова в это же время прикидывает социальное соответствие и размер приданого. Но когда голова обсчитывает и одобряет то, что сердцу хочется — значит, желание искреннее. Не смейтесь над простодушным детством — его мудрые инстинкты не маскируются.

...Школьные стихи были отроческими виршами, а первый рассказ был классикой начинающего идиота. Я был круче Бухова. Главный герой был итальянец, и он приехал в Нью-Йорк чистить обувь, но прекрасную родину бросил, а миллионером не стал: тоскует страшно. В этом опусе было все, чего я не знал — то есть ничего я не знал; но книги читал и мнение о жизни имел. Много позже я понял причину типичности подобных литературных дебютов: автор нутром чувствует, что искусство должно отличаться от жизни, это жизнь трансформированная, условная. А как сделать — не знает. И идет по простейшему пути: действие происходит не здесь, не сейчас, не с нашими людьми.

А школу я кончил со своей золотой первым из опять двухсот тридцати же, но классов было уже не пять пятых, а три одиннадцатых и четыре десятых, и школа совсем другая совсем в другом городе. 1966-й год, двойной выпуск, очередная реформа, 1948–49 года рождения, демографический пик. И поступил на русское отделение филфака ЛГУ — исключительно и только сюда и хотел. На тот момент — я и сейчас полагаю — это было лучшее от-

деление русской филологии в мире. Конкурс у нас был четырнадцать на место, половина принятых — медалисты.

С чего я вообще это пишу? Кому нужны анкеты? Пройдет еще пять лет — и анкеты станут так нужны и важны, что важнее некуда. В школе моей последней мы учились по очень жесткой программе, и всех медалей с серебром было семь на двести тридцать рыл, плюс одну умную свезли в дурдом от переутомления. А на первом нашем филфаковском курсе, триста рыл стационара, я был один такой с нетитульной фамилией неприветствуемого образца. Евреев не брали. Идеологический факультет. Все объясняли: меня не примут. И однако.

Это я к тому, что когда потом меня десять лет закатывали в асфальт — вместе со всем поколением — я их всех в гробу видал. Я не считал их выше себя и не считал их вровень с собой. Весь их официально-редакторский, литературно общественный и союз-писательско-кэзэбэшный государственный институт имени Игнатия Лойолы. Они были — тяжелая глина на сапогах, просто нужны терпение и силы пройти дорогу.

Литературных способностей, таланта — писателю мало. Нужна неколебимая вера в себя. Готовность пробить стену головой, и еще нужна уверенность, что ты ее пробьешь. Да и время было — по всем самодеятельствам только и читали: «Гвозди бы делать из этих людей». Ох нужно перед стартом ощутить ноздрей запах удачи — хоть раз. Потому что выжить в семидесятые годы тому, кто только входил — было практически невозможно.

Мы ездили в стройотряды на Мангышлак и Таймыр — и это давало характеру больше, чем чтение книг. Когда потом меня мотало по Союзу, по разным работам с разными людьми — тюрьма-то он был тюрьма, да стен за горизонтом не видно, — жизнь входит через ободранные бока, и внутри что-то затвердевает еще незнакомыми формами. И я часто думал потом, что не прошел бы я с гуртом весь скотоперегон от Монголии до Бийска, с мая до октября в седле по горам — не издать бы мне в Союзе книгу. Потому что только в работе с нормальными

мужиками ты понял закон: «Не сдох? Ну так паши дальше, нормально».

В университете, общажными ночами с бутылками и свечой, мы соглашались, что писать надо только так, как никто еще не писал раньше. А потом ты много месяцев угрызаешься, что годы идут; а потом наконец садишься за стол, чтобы написать рассказ, какого никто никогда не писал. И тогда оказывается, что ты не только писать — ты и читать-то не умеешь. Вот тогда в четвертом часу ночи охватывает тихий ужас: неужели ты бездарь? и все надежды — пустые? и жизнь — псу под хвост, не будет у тебя ничего!..

Мне было двадцать пять лет, когда я начал читать всерьез. Такой умный, такой образованный, такой начитанный, ай-яй-яй, дурак дураком! Я начал читать не как просто читатель, и не как студент по программе, и даже не как журналист, пишущий рецензию. Я стал читать по слову, по словосочетанию, по обороту, по фразе. Пять, десять, пятнадцать минут на предложение, на короткий абзац. Прогревая текст внутри себя. Чтобы проступили невидимые швы между словами. Чтобы стали читаемы кусты опущенных смыслов и ассоциаций. Чтобы пытаться постичь законы прозосложения.

Боже, сколько гениев оказалось в мировой литературе! Как они были мудры, остроумны, блестящи; как замечательно, как невообразимо неожиданно и точно они умели стыковать слова!.. Что ты читал раньше, куда ты смотрел, хрен с тобой!.. И видишь благородную скупую изысканность «Хроники времен Карла IX» в переводе Кузмина, и мощь Бальзака в «Полковнике Шабере»... в общем, видишь все, что надо, и что мало кто видит на самом деле: потому что ты-то всерьез вознамерился писать так же, но иначе. Ты примеряешься к их фразам, ловишь в мозгу их интонацию.

А если ты хочешь писать короткую прозу — я сам для себя придумал это выражение году еще в 72-м, потому что все рамки и каноны рассказа были размыты совершенно — так ее же надо знать! Были чудные антологии

американского рассказа, французской, австрийской, итальянской новеллы. Был полубезумный гений Эдгара По и непостижимый гений Акутагавы Рюноскэ. Был Амброз Бирс, Шервуд Андерсон и О. Генри, Бабель и Зощенко; Борхес еще не добрался до нас, но Юрий Казаков, Аксенов и Шукшин были на слуху; а вот книжки такой, учебника, курса лекций, единой антологии, семинара, — не было в природе. Фигня была разная, и той не много. К тридцати годам я был первым специалистом в мире по короткой прозе. Звучит скромно, но опровержения я пока по жизни не встречал.

Прав был Лем: чтобы проследить и открыть все истоки одного стихотворения поэта, придется исследовать и понять Вселенную. Сущность государства и взаимоотношения художника и власти — вечная тема. Застой семидесятых — огромная тема. Удушение советской литературы в застое — отдельная трагическая тема. Разбивание «молодых-начинающих» мордами об стену — тоже отдельная тема. Как объять необъятное, если его не хочется обнимать, а хочется проклясть и забыть?..

Я писал категорически «нестандартные» рассказы. По композиции, по устройству, по оборотам идеи — непривычные, неоднозначные, ни на кого и ни на что не похожие. И все они были разные. Какой смысл писать два, устроенных одинаково? Я был так девственно наивен, что ожидал редакторских фанфар: смотрите, что он нам принес! И одновременно знал, что новое поначалу обычно отвергают, понимание приходит не сразу. Терпения у меня было море, и упрямства тоже.

Кафку я не люблю, но он был гений. Советские редакторы 70-х оказались милейшие люди. Умные, образованные и доброжелательные. Вспомните мемуары Сансона: славный был человек, а палач — это просто работа.

«Застой» обозначал в литературе следующее. Во-первых, бюджет страны резали, и издательский пирог становился все меньше — а едоков с билетами Союза писателей СССР плодилось все больше: ряды уплотняли оборону, росла конкуренция на опубликование! Во-вторых, любой

новый автор рассматривался как возможный источник неожиданных проблем: а вдруг родственник за границей, или негласные претензии КГБ, или задерживался милицией, или официально нигде не работает, или дружит с диссидентом — а в рукописи его скрытые намеки на наши недостатки. А уж укоренившийся член СП точно бенз закатит, если вместо него напечатать молодого.

Из этого следовало, что «самотек» самозванных рукописей сразу предназначался в отбой. Часть его отдавали для подкормки знакомым на рецензию: для того был фонд. Отказ писался, почти не читая, формы были: комплиментарная («хорошо, но увы, не наша тема»), отшибная («большие недостатки»), советующая («а вы вот так улучшите»), покровительственная («печататься рано, автор в поиске»). А большая часть лежала, потом выкидывалась, нередко и возвращалась (на то были почтовые средства и ставка зав.редакцией).

«Мартин Иден» был знаковой книгой молодых. Слово «пробиться» не имело отношения к военной или горнорудной теме. Устойчивость на удар, выносливость на давление, стойкость к любым соблазнам и верность своему делу — были качеством необходимейшим и главнейшим. Без этого — литературные способности и амбиции вели к депрессии, алкоголизму, деградации и суициду.

Никто не сосчитает, сколько нас спилось, опустилось, сошло с круга, исчезло. Спивались неинтересно, неопратно, истерично. Я помню «Сайгон» с его поэтами, гомосексуалистами, наркоманами и стукачами; еще пили кофе на втором этаже над кассами «Аэрофлота», Невский угол Герцена. И Конференции молодых писателей Северо-Запада помню: это была защитная псевдодеятельность отделов культуры и пис. организаций по нейтрализации молодых и сливе их в слепое русло. И самое высокопоставленное ЛИТО города — студию рассказа при журнале «Звезда»: там прошупывали тридцатипятилетних «молодых» перед впуском в литературно-публикабельную жизнь; и как там разнесли отличную повесть Бори Дышленко «Пять углов»: почуяли запах некоммунистического мировоззрения.

А вот богемной жизнью я не жил совсем. Во-первых, меня интересовал только уровень шедевров. Во-вторых, меня не интересовало жаловаться и читать друг друга: «внутрилитературной жизни» я не понимал. В-третьих, меня интересовали публикации и общее признание, а ничьи личные мнения были вообще не нужны. И в-четвертых я жил с осени до весны на пятьдесят копеек в день, редко на рубль, летние заработки всегда пролетали быстро, пить на халяву неизвестно с кем и зачем я не мог.

Это уже срабатывал инстинкт. Я мог быть последним неудачником — но я не мог войти в клан неудачников. Один — я делал что хотел. Социальная группа — это уже признание своего статуса и судьбы. Это признание своего сегодняшнего положения возможным и терпимым: другие же живут. Это шаг к смирению и озлоблению, к маргинализации как эскалатору судьбы.

Господа: важная деталь! Литературное дело в тоталитарном государстве — производная от политики, да? 1967 год — это израильско-арабская война и разгром наших друзей: следствие — усилить борьбу с сионизмом, а сионистов в литературе окопалось до черта, и ни один не разделял любовь к арабам. 1968 — год великий: это Пражская весна и наши танки, а в Париже и в США — студенческие бунты, революция ЛСД, хиппи, сексуальная, пацифистская и что угодно, но все тлетворно. Вот тогда гайки стали закручивать по периметру.

Но! Даже в 76-м году мы еще не понимали, что мрачное N-летие давно наступило и идет в полный рост! Уже и Кузнецов остался в Англии, и Бродского выдавили, и Солженицына лишили всего и выслали, и Гладилин уехал, — а мы все еще дышали ветром оттепели из шестидесятых, нам все еще казалось, что все наши трудности и беды — это частное, а в общем — мы пробьемся!

Да не писал я ничего антисоветского! Более того: рассказов пять были даже скорее патриотические. Я так представлял. На что через двадцать лет в Штатах один русский журналист хмыкнул: «Прочитав твоего «Дворника», я и решил валить: у тебя там была антисоветской

каждая запятая, каждая интонация, ты что, правда не понимал?..»

Мой интимный патриотизм был там абсолютно честен. Нужно быть самоубийцей и идиотом, чтобы писать не абсолютно честно. Потому что в прозе честность, ум и талант — это смежные понятия. Скривил правду — мир скривил, так кому ты нужен, и самому мерзко.

Ни нынешние поколения, ни будущие нас никогда уже не поймут. Когда печататься было так трудно, так непередаваемо трудно, и так мучительно долго, — писать хуже, чем ты вообще способен, вложив все, что можешь, по самому верху, разбившись в лепешку, — писать хуже этого не имело смысла. Уж если что-то пойдет, что-то останется, что-то издадут потом — так только шедевры. Писать не шедевры просто не имело смысла.

Известность авторов тогдашних молодежных повестей и рабоче-патриотических романов была презираема.

Нашего поколения не было без Хемингуэя. Культ честности. Культ голой честной фразы. Дай нейтральную деталь одним обычным словом — чтобы встал весь подтекст.

Будучи максималистом, я исповедовал старую французскую максимум единственно верного слова. Да и Свифт говорил, что стиль — это нужное слово в нужном месте. Узоры и красоты презирались. Плетение словес — украшение дикаря побрякушками.

Делается чертовски жалко красивых фраз! Изысканных, точных, эффектных, штучной работы. Но! Если надеть стильный галстук, дорогой пиджак, брендовые брюки и туфли ручной работы — ты еще не одет хорошо. Ты можешь оказаться попугаем, манекеном, плебеем. Важен ансамбль. Стиль. В одежде это ясно всем.

При этом. Писатель иногда полагает, что произведение — это набор красивых, хороших, мастерских фраз. Десять страниц — рассказ, триста — роман. О нет. Вещь имеет смысл только целиком. Достоевский писал плохо, а романы великие. Мериме писал блестяще, а Стендаль шероховато-коряво — так у кого осталась книга лучше?

Слово работает на фразу. Фраза на абзац. Абзац на весь текст, будь то рассказ или роман. Поэтому, скажем, ритм и дыхание плотной короткой прозы не годится для романа — густо, дышать нечем, от метафор не протолкнуться.

Куб из расписных изразцов — это еще не архитектурный шедевр!

Иногда стилистом считают декоратора и инкрустатора. Являет читателю изящные изыски. Тогда Хемингуэй и Бабель — не стилисты? Да нет. Стил — это родниковая вода, от которой вдруг пьянеешь. Сработать простую фразу так, чтобы читатель повторил ее про себя и запомнил — вот верх стиля. Когда фраз не замечаешь — а от книги закачало: примерно так надо.

Молодой писатель, если он добросовестен, максималист — переоценивает читателя. Он ставит плуг на слишком большую глубину. Он работает с текстом вначале как каменотес — а в конце как ювелир. Он еще не знает, что читатель глотает текст блоками и проглотит все, поэтому работать можно мазками крупными, как Тернер или Ван Донген: цвета и линии совместятся в желаемую картину в процессе восприятия.

Но! Короткая проза имеет смысл только как закодированный роман! В этом ее отличие от небрежной и необязательной миниатюры-зарисовки. Короткая проза — это «Станционный смотритель», «Легкое дыхание», «Бумажные шарики», «В чаще», «Соль».

Когда ты пишешь короткую прозу — в голове у тебя роман, и из этого романа ты выбираешь крупницы, пробуя на вкус и цвет и подгоняя друг к другу, чтобы маленькая, но объемная и многоцветная мозаика, голограмма, миниатюра — содержала в себе отзвуки и оттенки всего огромного романа, послем которого, синопсисом которого она является. Будучи при этом самостоятельной вещью в собственной эстетической системе.

Через все это и многое другое в первые годы необходимо пройти. Предъявлять себе невыносимые, невообразимые требования. Можно заикнуться на фразе и неделю ее крутить, ничем больше не занимаясь. Можно

сокращать черновик и в два, и в десять раз. Презируя при этом мелкость и необязательность окружающей беллетристики.

Да, я мог без труда выстукивать из любимой трофейной «Олимпии Элиты» пятнадцать страниц в день, и друзья — разумные молодые люди, университетские гуманитары — радостно кричали, что это и есть настоящая проза. То есть верить нельзя никому.

Пройдет тридцать лет, и обычный журналистский вопрос будет: «Для кого вы пишете? Каким вы видите своего читателя?». И еще вопрос: «Почему вы пишете?»

Если писатель не коммерсант с конкретным прицелом — ответ всегда один: «Для себя — и для Господа Бога. Который во мне и в котором я и весь мир. А читатель — любой человек, любого возраста, профессии, образования, взглядов — которому это понравится и который поймет это так же, как я сам». Вот люди разные, сложные, многогранные, и в натуре каждого может найтись такая маленькая площадочка, которой он соприкоснется, совместится с такой же площадочкой моей книжки. Так что человек, который идет по улице без моей книги под мышкой, идет в сущности зря.

А вот почему писатель пишет — это равносильно вопросу о причинах и смысле существования искусства. В сорок лет я читал об этом лекцию в Иерусалимском университете, она потом переиздавалась в нескольких моих философских сборниках. Суть в том, что в процессе жизнеобеспечения все животные создают посредством центральной нервной системы прогностические информационные модели. Стая волков составляет план, как загнать и перехватить добычу. Человек с его мощнейшим мозгом оторвался от собратьев на порядки. У человека высочайшая энергетика, он потребляет на единицу своей массы и на единицу производимой работы в четыре-пять раз больше энергии, чем любое животное сходного веса. Его мозг потребляет до трети всей глюкозы организма. Его способность к созданию информационных прогностических моделей действительности, по мере роста

культуры, в тысячи раз превосходит необходимую для простого выживания. А разделение функций в усложняющемся социуме резко упрощает жизнь, выживание уже не зависит жестко от единственно верного твоего решения, все подсказано и определено.

Огромная и избыточная способность человека к созданию информационных моделей начинает все дальше отходить от удовлетворения насущных потребностей. И приобретает самостоятельную значимость, становится самостоятельной информационной системой среди прочих, обеспечивающих выживание и развитие человека. Прикладная необходимость исчезает. Обряды охотничьей магии станут через тысячелетия скульптурой, живописью и хэппенингами.

А выкрики для координации действий в охоте или сражении и сообщения об опасности или добыче — превратятся в байки у костра, в мифы, Гомера и великие литературы. Для выживания это не нужно! — но развитые способности и возможности требуют реализации. А сложный многофункциональный социум стирает для автора и адресата разницу между реальным действием и его информационной моделью.

Для массового потребителя д'Артаньян осязаемее и значительнее Дюма, а зритель «Шерлока Холмса» может сегодня не знать имени Конан Дойла. Писатель богаче шахтера и знаменитее солдата, хотя создает только информационные модели, никак напрямую не связанные с жизнью.

А уж в наше электронно-компьютерное время фейков и сенсаций — не важно, что ты сделал, важно, что я написал/снял/изобразил.

Непосредственное преобразование окружающей реальности все больше сменяется преобразованием информации, связанной с реальностью очень косвенно или никак вообще.

Доля и назначение человека во Вселенной — действовать, и любыми своими действиями, фактом существования, преобразовывать мир, окружающую реальность,

энергоматерию. Литература — это преобразование информационных моделей реальности. В основе ее лежит инстинкт жизни и действия. Тысячелетия культурного нарастания опосредовали и окультурили этот глубинный первоинстинкт.

На языке синергетики: литература — это структурирование сильно неравновесных вербальных систем из аморфной словарной массы с предельным уровнем языковой энтропии. То есть. Словари дают весь запас слов по алфавиту, скажем. Где каждое отдельное слово имеет свои значения — и только. Литература строит из этой огромной кучи кирпичей стройные здания на разные случаи.

Еще раз. Работа автора-детективщика отличается от работы грабителя банков тем, что: оба создают добросовестную модель ограбления — но грабитель грабит банк и берет деньги с риском сесть, а писатель несет подробный план издателю и получает гонорар, а люди платят деньги за погружение в условную информационную модель.

Вспомните «1984». Журналист создает героя О'Гилви — и людям будет все равно, реальный герой или вымышленный: они адекватны в информационном пространстве.

В аспекте социопсихологии литературное творчество — это самореализация, самоутверждение, стремление к статусу, славе и деньгам.

В аспекте вселенской эволюции — это вкладывание личных усилий в эволюционный процесс на уровне его обеспечения эволюцией информационной.

И тогда понятней становятся аспекты традиционные. Эстетический — как стремление двинуть процесс вперед, создать нечто новое, потребность в создании гармонии и достижении идеала. Этический — как служение этой идее и потребность достичь идеала (что недостижимо в принципе) — потому что стремление к идеалу обеспечивает напряжение всех сил и возможностей, обеспечивает максимум результата, на который ты вообще способен.

А моя любимая Флэннери О'Коннор ответила на этот сакральный вопрос — «Почему вы пишете?» — проще

всех: «Потому что у меня это хорошо получается».

Все это — часть устройства мира, и задумался впервые я об устройстве мира, вернее — ощутил некое смутное влечение постичь его во всех связях — тоже в Ленинграде, я помню этот момент, осенью на четвертом курсе, я ехал в трамвае в Университет, вышел на Дворцовой, вместо занятий закурил и пошел по желтой мокрой аллее Александровского сада: пытаюсь поймать эту зыбкую паутину, которая связывала трамвай, Зимний, историю Петербурга и Ленинграда, весь студенческий Университет, все любви и дружбы, Советскую Власть с наукой и связь танковых колонн с русской литературой; больше я никогда не переставал думать об этом, а через семь лет я купил во дворе «бука» на Литейном «Домой возврата нет» Томаса Вулфа за пять номиналов, за пятнашку у холодняка, и когда начал читать в своей комнатке восьмиметровой на Желябова, Вулф поразил меня тем самым, томительным стремлением постичь все связи всего в жизни как общее, единое, мировой узор.

Не знаешь ты наших старожилков, сынок, сказал Мэйлмют Кид. Он всю ночь будет поить тебя, лишь бы ты сидел и слушал его рассказы. Кому вы расскажете, глупец, коменданту Бастилии? Класе в девятом меня поразили «Мои скитания» Гиляровского. Это был супермен. И заповедь серьезных ребят я запомнил: «Видел — молчи. Слышал — молчи. Знаешь — молчи». Это не о писателях? Это о том, что любые понты — дешевка. Сколько встречал я реально крупных людей — атрибутирование профессии в обиходе, любое шеголянье профессией и намеками на особые возможности — презирается как дурной тон, дешевка. «Он талантлив в жизни, во всем, что делает» — означает неполноценность и компенсаторную функцию свистка вместо двигателя. Мне доводилось знать салонных болтунов (каков банальный оборот, прошу оценить, но это именно о них).

В тридцать один год, имея две сотни отказов из всех мыслимых редакций и издательств, с тридцатью рассказами, которые... в общем, не было больше таких рассказов,

я уехал в Таллин готовым человеком. Книга выходила около четырех лет: выкидывали, писали донос, слали на отшибную рецензию в Москву, грозили рассыпать набор из Комиссии по эстонской литературе при Правлении СП СССР, урезали тираж и переносили сроки. Это было нормально. Я только знал: пока книга не в магазинах — ничего не считается.

И вскоре после смерти Брежнева, книга с названием «Хочу быть дворником», с заголовками рассказов «Свободу не подарят», «А вот те шиш» и прочее, где на обложке была рука с задраным большим пальцем — с Новым 1983 Годом вас!

Мне выплатили 1600 рублей (нормальная зарплата за год). Я купил 500 экземпляров — рассылать и дарить всем. И пил до июня. Тихо, один, закусывая, тупо глядя в окно. Я ничего не чувствовал и ничего не хотел. Меня пробивало на бессмысленную слезу. Я повторял Лондона: «Он один был в своем углу, где секунданты даже не поставили для него стула».

Вообще — это было невозможно. И я это сделал. И, может, потому, что я абсолютно честно готов был содохнуть, но сделать свое, ни капли пара в свисток, боясь дыхнуть на тень удачи, — Тот, Кто Наверху, милостиво протянул мне палец.

Дважды в те невыездные годы мне снился Нью-Йорк. Один раз голубые призрачные небоскребы таяли в небе, в другой — длинные деревянные молы выдавались далеко в серый океан, и волны перехлестывали через них. Я мечтал, как поднимусь по трапу самолета с легким кейсом в руках, никакого багажа, достану из кармана белый носовой платок, отряхну с тужель пыль родины и пушу его на бетон.

Может, и зря не уехал. Во-первых, в России всегда любили несчастных, бедных, гонимых, слабых, неудачников. Я никогда, никому, ни в каких условиях не позволял сделать себя несчастным; озлобленным, загнанным. Во-вторых, Господь Бог не создал Россию для философии, теософская эссеистика начала XX века названа

«философским ренессансом» из самообольщения; моя философская система, соединяющая здание мировой философии, здесь редко нужна и понята толком.

...Сейчас, за порогом семидесятилетия, я удивляюсь, как много я прожил до тридцати семи и как много у меня переиздавалось книг после пятидесяти. Сорок лет я писал в среднем по одной книге в полтора года, ничем больше не занимаясь. Но когда два десятка твоих книг в разных обложках стоят в магазине рядом, ловишь себя на пожелании английского кровельщика, пролетающего мимо седьмого этажа: «Господи, хоть бы это подольше не кончалось».

Судьба одарила меня высшими наградами. Когда на встречу с автором приходит издательский корректор, или таможенник ночью в поезде бросает обход, садится напротив и говорит, как ему помогла твоя книга, или книжные лотошники на Трех Вокзалах (тогда еще не уничтожили книготорговлю) сбегаются все за автографом, мешая с другом выпить пива — остается сказать спасибо Наверх.

Это был он, законодатель жизни юных лет наших, Хемингуэй: «И именно потому, что писать хорошо трудно, так невыразимо трудно, награда, когда она приходит, бывает очень велика».

Всю жизнь я делал что хотел, избегая вообще соприкасаться с тем, что «надо» — процентов на 95. Привет Эмерсону: «Нужно что-то — возьми, и уплати положенную цену».

2001–2012 годы были Золотым Веком нашего книгоиздательства. Российское книгоиздательство было лучшим в мире. Нигде массовая книга не издавалась так хорошо, так быстро, и забивала тиражами от полумиллионных до полутысячных все щели спроса, и не стоила так сравнительно недорого.

Мы вступили в тяжелый, страшный, чреватый катастрофическими переменами период. Российская ментальность — где даже в литературе не стыдятся травить инакомыслящих и категорично превозносить своих — гарантирует авторитарное самоустройство государства,

какими бы оптимистичными ни были переходные периоды между культурами. А на Западе левацкий либерал-социалистический истеблишмент не желает понимать, что строит будущий «англсоц», ГУЛАГ и Кубинскую модель.

Да — Искусственный Интеллект все полнее заместит наш, киберы всех видов все полнее заместят нас на рабочих местах, кочевая элита будет править глобальным миром, а массы плебса без разницы между расами, полами и интеллектами будут вымирающими ненужными нахлебниками.

И все, что нам остается — это как всегда. Писать максимально хорошо, даже если не прочтет вообще никто. Думать только честно, как бы тяжело это ни было. Говорить только правду, всю правду, и ничего, кроме правды. Быть верным себе и своему делу, чем бы это ни грозило.

Да, я понимаю: пафос, патетика, выпренность и высококий штиль. Но время всеохватной иронии кончилось, и время игры в бисер тоже. Наступил страшный век конца нашей цивилизации. В начале ее было Слово, и кроме тебя некому будет за него ответить.

Содержание

ЖИЗНЬ СОЧИНТЕЛЯ

Легенда о кадете	5
От Пушкина до Путина	32

АККОРД ЕЩЕ РЫДАЕТ

Ножик Сережи Довлатова	45
Не ножик не Сережи не Довлатова	107
Рыдание аккорда	246

КУХНЯ И КУЛУАРЫ

Кухня и кулуары	257
Прихожая и отхожая	297
Чернила и белила	311
Ледокол Суворов	311
Семенов и Штирлиц	318
Графоман Жюль Верн	325
Киплинг	331
Шедевр доктора Конан Дойля	335
Три мушкетера	338

ЗА СЛОВА ОТВЕТИШЬ

Гуру	343
Положение во гроб	358
Рандеву со знаменитостью	372
За слово ответишь	398

Любое использование материала данной книги,
полностью или частично без разрешения
правообладателя запрещается.

Литературно-художественное издание

Веллер Михаил
Звон теней

Компьютерная верстка: *Р. Рыдалин*
Технический редактор *Т. Полонская*

Подписано в печать 30.10.18. Формат 84x108^{1/32}.
Гарнитура Newton. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 21,84. Тираж 8000 экз. Заказ №10954.

Произведено в Российской Федерации
Изготовлено в 2018 г.

Изготовитель: ООО «Издательство АСТ»
129085, Российская Федерация, г. Москва, Звездный бульвар, д. 21, стр. 1,
комн. 705, пом. I, этаж 7

Наш электронный адрес: www.ast.ru. Интернет-магазин: www.book24.ru
E-mail: neoclassic@ast.ru. ВКонтакте: vk.com/ast_neoclassic

Общероссийский классификатор продукции ОК-034-2014 (КПЕС 2008);
58.11.1 — книги, брошюры печатные

Өндіруші: ЖШҚ «АСТ баспасы»

129085, г. Мәскеу, Звёздный бульвары, д. 21, 1 кұрылым, 705 бөлме, пом. 1,
7-кабат

Біздің электрондық мекенжаймыз: www.ast.ru

Интернет-магазин: www.book24.ru. Интернет-дүкен: www.book24.kz

Импортер в Республику Казахстан и Представитель по приему претензий
в Республике Казахстан — ТОО РДЦ Алматы, г. Алматы.

Қазақстан Республикасына импорттаушы және Қазақстан Республикасында
наразылықтарды қабылдау бойынша өкіл — «РДЦ-Алматы» ЖШС, Алматы қ.,

Домбровский көш., 3«а», Б литері офис 1. Тел.: 8(727) 2 51 59 90,91,
факс: 8 (727) 251 59 92 ішкі 107; E-mail: RDC-Almaty@eksmo.kz, www.book24.kz

Тауар белгісі: «АСТ» Өндірілген жылы: 2018

Өнімнің жарамдылық мерзімі шектелмеген.

Отпечатано с готовых файлов заказчика
в АО «Первая Образцовая типография»,
филиал «УЛЬЯНОВСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ»
432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

